

ИОН
КРЯНГЭ

Избранно

ИОН
КРЯНГЭ

СКАЗКИ

РАССКАЗЫ

ВОСПОМИНАНИЯ
ДЕТСТВА

НРАВОУЧИТЕЛЬНЫЕ
СКАЗКИ

ПИСЬМА

MI
K 85

K $\frac{70303-59}{M756(12)-77}$ 289-75 (Картя Молдовеняскэ)

ИОН
КРЯНГЭ

Избранно

ПЕРЕВОД С МОЛДАВСКОГО

ЛИТЕРАТУРА
АРТИСТИКЭ

КИШИНЕВ

1977

ХУДОЖНИК ИЛЬЯ БОГДЕСКО

Составление и примечания
Л. ЧОБАНУ

Предисловие
доктора филологических наук
В. П. КОРОБАНА

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Произведения Иона Крянгэ — классика молдавской и румынской литературы — переведены на многие языки и известны в разных уголках земного шара.

Большой популярностью они пользуются в нашей стране благодаря переводам на русский и другие языки братских народов.

На русском языке вышло несколько изданий. Многие переводы произведений И. Крянгэ вошли также в разные сборники и антологии.

В Москве в 1955 г. были изданы «Воспоминания детства». Том «Избранных произведений» вышел в Кишиневе в 1957 г. Кишиневское издательство «Лумина» выпустило в 1966 г. на русском языке «Сказки. Воспоминания детства. Повести», а в 1971 г. выходит еще одно такое издание общим тиражом в 200000 экземпляров.

Данное, наиболее полное издание предлагает русскому читателю избранные произведения. Книга составлена по хронологическому принципу. Кроме отдельных пересмотренных переводов, читатель ознакомится с новыми переводами, сделанными на уровне требований сегодняшнего дня.



ИОН КРЯНГЭ

1

Ион Крянгэ родился 1 марта 1837 года в селе Хумулешты, уезда Нямц. Родители писателя были крестьяне. Отец — Штефан, сын Петры Чуботарул — происходил из податных крестьян, отчего всю жизнь страдал. По матери, однако, Крянгэ происходил из сословия свободных крестьян, относительно зажиточных и имевших, как об этом говорит Давид Крянгэ, отец Смаранды, — матери писателя, небольшие семейные традиции грамотности. Разумеется, детство и отрочество писателя не были такими безоблачными и праздничными, какими предстают в бессмертных «Воспоминаниях детства».

Несомненно, что маленький Ион познал упорный и тяжелый труд, как водилось в крестьянских семьях села Хумулешты. Трудолюбием, ставшим его характерной чертой еще в детстве, будет и в дальнейшем отличаться вся его жизнь, особенно колоссальный труд педагога и писателя, не знавшего покоя в стремлении достичь совершенства в своем мастерстве.

Как бы то ни было, но труд, к которому Крянгэ приобщился еще с малолетства, оставил глубокий след в душе писателя. Именно этим объясняются замечательные страницы, посвященные усердным рукам: идет ли речь об обездоленной дочке старика, или малыше Кирикэ из сказки «Про Стана, человека бывалого», или о невестках, угнетаемых свекровью. Усердие в труде стало для Крянгэ высшим достоинством человека.

Из «Воспоминаний» известно, что маленький Ион учился в Хумулештах, Броштенах, Тыргу-Нямц и Фэлтиченах. Благодаря «Воспоминаниям» его приключения получили широкую известность. Но в данном случае не следует придавать значение подлинного документа страницам, в которых автор даже себя оговаривает, утверждая, что не слишком был прилежен в учении.

В школе катихетов в Фэлтиченах, которую он называет «фабрикой попов», он впервые значится под именем Иона Крянгэ. Здесь Крянгэ проявляет старание в учении, получает хорошие отметки. Когда он переходит в духовную семинарию в Соколе, ему засчитывают год учебы в богословской школе и принимают сразу во второй класс. В семинарии он находится с 1855 по 1858 годы, оканчивает ее с хорошими отметками и получает относительно приличный багаж знаний, особенно по истории. Здесь же он изучает латынь и греческий.

Но Крянгэ вынужден прервать учение. Отец его, Штефан Чуботарул, умирает 28 июня 1858 года вдали от родного села, в Пригоренах, куда отправился на заработки. Ион, старший в семье, становится опорой своих братьев и сестер. Это заставляет его спешно искать себе невесту и принять в 1859 году сан дьякона. Семейная жизнь его была несчастлива из-за тирании тестя.

К концу 1867 года Крянгэ оказывается покинутым женой, и о периоде своего супружества говорит, как о времени, когда «он был ослеплен бедностью, угаром и женщиной». Константина, своего сына от этого брака, он воспитывает сам. Вероятно, в 1869 году Крянгэ приобретает хибарку в Цыкэу (пригород Ясс), «который еще называют Долиной плача». Здесь он проживет до конца своих дней. «А хибарка, в которой проживаю уже 18 лет, саманная и, наверно, развалилась бы давно, если бы не 24 дубовых подпорки, поддерживающие ее, хотя и те уже гнилые», — пишет он Т. Майореску в 1887 году.

Эта жалкая «крепость», служившая прибежищем для крупнейшего эпического писателя нашего народа, была знакома только 3—4 лицам из литературного мира, «в особенности, бедняге Еминеску». Ни малейшего понятия о ее существовании не имели ни Титу Майореску, ни остальные заправилы из общества «Жунимя».

Поначалу Иону Крянгэ было не по душе положение дьяка, и он подумывает о том, чтобы проложить себе иной путь в жизни. Когда в 1864 году при институте имени Василе Лупу открывается школа подготовки учителей, Крянгэ посещает ее (1864—1865 гг.) и успешно заканчивает. Он выделяется по всем предметам. В 1867 году Крянгэ начинает преподавать в начальной школе, но по-прежнему остается дьяком.

Примерно в это время возникает авторский коллектив, который начинает создавать учебники для начальной школы в свете новых педагогических требований. Душой этого коллектива был Крянгэ: он редактирует большинство книг.

Однако это устремление писателя вскоре было подавлено жестокой и несправедливой действительностью. Крянгэ любит драматическое искусство и посещает театр. В то же время он сменяет камилавку на шляпу и отказывается носить длинные волосы, к чему его принуждали церковные каноны. Этот поступок сочли в митрополии, куда на него донесли недоброжелатели, кощунством. От него требуют объяснений, но Крянгэ не собирается отказываться от дальнейшего посещения театра: «Я бывал изредка в Национальном театре, — пишет он в митрополию в 1868 году, — и не нашел в нем ничего неприличного и пагубного; напротив, я увидел в нем способ борьбы со всяческим злом и заступничества того, что правильно в смысле человеческого долга перед богом и обществом». Ответ свидетельствует о том, что молодой Крянгэ прекрасно понимал воспитательную роль театра в жизни общества, однако церковные власти придерживались иного мнения.

Отношения Крянгэ с митрополией продолжали ухудшаться, потому что он все более подчеркнуто демонстрирует стремление придерживаться светских норм поведения, пренебрегая изолировавшими его от жизни канонами. Серьезным поводом к лишению Крянгэ сана дьякона стали случаи, выходящие, по мнению церковных властей, за рамки приличия. Дьякон стреляет ворон на колокольне церкви, в которой служит, к тому же стрижет волосы и продолжает посещать театр. Таким образом, после многочисленных столкновений и упорного отказа дать объяснение по поводу совершенных проступков митрополия осенью 1871 года издает указ о лишении дьякона Иона Крянгэ церковного сана.

Бывший дьяк не стал огорчаться. Он сам стремился избавиться от бремени, которое ограничивало его в элементарных человеческих проявлениях и в общественной деятельности. Однако вскоре на него свалилась более тяжкая беда. В июне 1872 года его отстранили от учительства под тем предлогом, что дьяк-расстрига не может быть воспитателем молодого поколения и не достоин значиться в учительском сословии. На этот раз несправедливость была не только явной, но и чрезвычайно жестокой.

В 1872 году Крянгэ получает патент на табачную торговлю. Продавая табак, он достаточно зарабатывает на жизнь, однако от педагогического труда не отказывается и продолжает работать над учебниками. Его по-прежнему не покидает стремление вернуться в школу. Но в правах его восстанавливают лишь в 1874 году и назначают учителем в школу на улице Пэкурарь, где он работает до выхода на пенсию. Будучи приглашенным Яковом Негруци в 1875 году писать для журнала «Конворбирь литераре», Крянгэ жалуется на то, что он болен, и в то же время говорит о своем тяжелом труде: «Поверьте, что тридцать часов занятий в неделю в начальной школе плюс ходьба туда и обратно два раза в день бог весть в какую даль, в дождь и в грязь, в стужу и в зной, как уж придется, — дело не простое для человека малоподвижного и в годах». Безусловно, в таких трудных условиях не оставалось времени для творчества, требующего глубокой сосредоточенности.

До 1872 года Крянгэ участвует в политической жизни. Он убежденный сторонник «свободной и независимой фракции», антифеодальной и антиклерикальной

политической группировки, не лишенной в то же время шовинистического духа. Фракция боролась за справедливый раздел земли между крестьянами, а формой государственного устройства признавала республику. Во время избирательных кампаний Крянгэ решительно занимал позицию, направленную против консерваторов и либералов. Во всяком случае, как свидетельствуют рассказы про моша Иона Роатэ, опубликованные значительно позднее, писатель был на стороне крестьянства с его печальями.

Знаменательным событием в жизни Крянгэ явилось знакомство в 1875 году с великим поэтом М. Еминеску, который, будучи школьным инспектором, заприметил острый ум учителя. Между ними устанавливается крепкая дружба, которая никогда не нарушалась. Люди, разные по темпераменту, культуре и воспитанию, они тем не менее находят полное взаимопонимание, когда долгими летними днями бродят в окрестностях города и без конца обсуждают как свои личные невзгоды, так и несправедливости социального устройства.

Благодаря рекомендации М. Еминеску, уже в первый год их знакомства Крянгэ вступает в общество «Жуниция». Разумеется, на учителя-крестьянина члены этого общества, получившие образование за границей и отличавшиеся хорошими манерами и умением вести беседу, поначалу произвели сильное впечатление. Но трезвый ум Крянгэ мешал ему целиком подчиниться первым впечатлениям. Вскоре он начинает отдавать себе отчет в поверхностности этих людей и характерном для них отсутствии связи с действительностью. И поскольку в «Жуниция» иногда читались сказки, переложенные членами общества, Крянгэ сразу же понял свое превосходство как рассказчика и поделился своими замыслами с Еминеску, который, будучи восхищенным его планами, побуждает Крянгэ поверить бумаге все, что его волнует.

На страницах журнала «Конворбирь литераре» начинают появляться сказки Крянгэ: «Свекровь с тремя невестками» (1875), «Коза и трое козлят» (1875), «Кошелек с двумя денежками» (1876), «Данила Препеляк» (1876), «Сказка о поросенке» (1876), «Сказка про Стана, человека бывалого» (1877), «Сказка про Белого Арапа» (1877), «Дочь старухи и дочь старика» (1877), «Иван Турбинка» (1878), «Мош Никифор Коцкарул» (1877) и «Сказка про лентяя» (1878). Всего за три года мастерство Крянгэ поднимается до больших художественных высот. Достаточно сравнить, например, простую сказку «Кошелек с двумя денежками» со сложной психологической новеллой «Сказка про Стана, человека бывалого» или с драматической историей Ивана Турбинки. Заложенное в Крянгэ огромное самобытное дарование, как только он берется за перо, проявляется стремительно и с растущей художественной силой.

Словно возмущенная этим натиском, природа вмешивается в судьбу великого сказочника: в 1877 году, согласно одним данным, или в 1879 году — по другим, с ним случается первый припадок эпилепсии. Болезнь настолько быстро прогрессирует, что, по свидетельству одного из современников, в 1883 году сорокашестилетний писатель выглядел смертельно усталым и преждевременно постаревшим.

После опубликования «Сказок» в творчестве Крянгэ наступает перерыв. И именно в это время его произведения приобретают известность, и различные журналы приглашают его сотрудничать. Последний взлет творчества писателя относится к 1880—1883 годам, когда он публикует «Мош Ион Роатэ и Объединение» (1880), «Отец Духу» (1881), «Мош Ион Роатэ и Водэ Куза» (1883) и сказку «Пять хлебов» (1883). Эти рассказы, если сравнивать их со «Сказками», уступают им и по художественной силе, и по мысли. Вся любовь, все пламя таланта писателя фокусируются в «Воспоминаниях детства», написанных в 1880—1882 годах и, к сожалению, незавершенных, так как последняя глава представляет собой скорее наброски, нежели развернутые эпизоды.

Скорбными были последние годы жизни писателя. Крянгэ живет в глубоком одиночестве, которое не в силах утаить, как это видно из некоторых его писем.

О Крянгэ — человеке написано много. Некоторые писатели, как например, Я. Негруци, Г. Пану и другие, правда, частично, но все же признают талант «на-

родного» писателя, хотя и не скрывают определенную неприязнь к этому простолюдину, утверждая, что он якобы был натурой примитивной и грубой.

Подобных порочащих мнений было немало, но время смело их в мусорный ящик истории. И если ничтожность тогдашней среды не могла допустить мысли, что под простым обликом Крянгэ скрывался великий талант, время отмело эту несправедливость, поместив человеколюбивого хумулештянина в один ряд с титанами мировой литературы.

Крянгэ, объединивший в себе самые прекрасные духовные и художественные черты народа, не мог не быть натурой простодушной, постоянно расположенной к веселости, к радости, любви к человеку. Однако отсюда не следует вывод о том, что в душе его не было и приглушенных страданий. Лучшую характеристику его природе дал, пожалуй, М. Садовяну: «Непосредственно из народа выходит и Крянгэ, неподражаемый Крянгэ, живой, остроумный, скептический, улыбчивый в страданиях, простой с виду и все же сложный, как народ».

Весть о смерти Еминеску глубоко потрясла Крянгэ.

После великих страданий и мучений Ион Крянгэ уходит из жизни 31 декабря 1889 года.

II

Творчество Иона Крянгэ полностью соответствует понятию народности. Десятками и сотнями нитей его творения связаны с борьбой народа за социальную справедливость и свободу, любым способом писатель отвергает все жизненные проявления, допускающие подавление и унижение человека темными силами. Как и в народном творчестве, у Крянгэ добро побеждает зло, свет — тьму, благородство — подлость. Такие же идеи социальной справедливости читаются в подтексте всех его сказок и на страницах «Воспоминаний».

У Крянгэ не было ясных программных политических идей, поскольку их не было даже у демократической «свободной и независимой фракции», к которой он тяготел. В тогдашней политической обстановке в ходу были бессовестная демагогия, злоупотребление властью, привилегии; о свободе мысли и речи быть не могло. И все же нельзя отрицать наличие у Крянгэ политических убеждений, если принять во внимание его знаменитые рассказы о мош Ионе Роатэ. Выходец из крестьянства, писатель сохраняет также некоторые его представления о роли социальных слоев общества. Устами мош Иона Роатэ он утверждает, что единственным производительным классом, который кормит все остальные, является крестьянство. Возмущенный тиранией землевладельца-боярина, мудрый крестьянин говорит прямо: «Но позволь, барин, ежели не угодно было вашей милости, чтоб и мы разумели кое-что из ваших речей, зачем же было звать нас сюда на посмешище? Эх, барин, барин! Силен ты, и сосед я тебе как рэзеш. Знаю, не сладко мне придется, когда домой вернусь, где ждут меня заботы. Но не во гнев твоей милости, эти-то ладони наши мужицкие, терном исколотые, мозолями покрытые, кормят вас уже сколько времени, от них как сыр в масле катаетесь».

Эти слова отнюдь не ораторская выдумка Крянгэ или его героя. Именно в таком духе они повторялись на каждом шагу обездоленным крестьянством. И никогда не становились они понятными подверженным глухоте совести боярам. Высказываясь с такой смелостью, бедный крестьянин желал, чтобы такое положение дел кончилось. Положение, которое Крянгэ изображает в своем рассказе «Мош Ион Роатэ и Водэ Куза», чудовишно и невыносимо.

Политика претендующей на демократизм либеральной партии наглядно изображена в рассказе «Мош Ион Роатэ и Объединение». Идея родины, равного вклада всех классов общества в благоденствие страны предстает в виде абстракции, в которой великая стена, разделяющая эксплуатируемого крестьянина и боярина-эксплуататора, не принимается во внимание. Крянгэ подтрунивает над прекраснодушными притчами и баснями об объединении, о свободе, равном вкладе и т. д., которые остаются мертвой буквой, пока существует непреодолимая пропасть между классами и людьми.

И все же Крянгэ, выступающий как горячий защитник обездоленного крестьянина, не свободен от определенных предрассудков и от обмана, насаждавшегося в умах идеологией господствующего класса. Писатель верит в существование некоего патриархального боярства, живущего в мире с крестьянином: «В молдавский Диван (ad hok), — писал он, — входили всякие бояре — познатней и поплоче, постарше и помоложе, и более ученые, и менее ученые — как, кого захватило время. В числе последних находились старый Алеку Форэску, по прозвищу Тололой, Григоре Куза и несколько других, державшихся дедовских обычаев и в любой праздник благочестиво выстаивавших от начала до конца церковную службу, певших и читавших с клироса заодно с церковными певчими и священниками. По большим праздникам, дабы веселье впрок пошло, делили они хлеб с сиротами, вдовами и другими бедняками, как повелось от дедов».

Все это не более чем тщетная иллюзия писателя. Уступка, сделанная Крянгэ мысли о возможности существования некоего сроднившегося с крестьянином боярства, относится к идеологическим противоречиям писателя, затушевывает отчасти идею о существовании пропасти между классами, которую он так хорошо изобразил в обоих рассказах.

Однако подобные уступки не встречаются в «Сказках». Рассказы о мош Иоане Роатэ и «Сказка про Белого Арапа» имеют общие интонации, схожие мысли о притеснении, об угнетателях и угнетаемых. Землевладелец-боярин угрожает мош Иоану Роатэ: «А кому это надо, чтобы и ты понимал, мужицкое отродье! Заткни глотку, коль уж пришел сюда; вот разъедемся по домам, тогда держись! Прочучу тебя! Ишь, грубиян какой! У меня, может, имение — восемьдесят тысяч фалч, а он, смерд с клочком земли, голос подымает рядом со мной». А Безбородый говорит своим дорогим двоюродным сестрицам: «...еще вам неведомо, что на свете творится. Если диких зверей не держать в узде, давно бы они человека растерзали. Да будет вам известно, что большая часть людей — тоже звери, которых укрощать надобно, если хочешь чего-то от них добиться».

Как видим, оба персонажа имеют почти одинаковую программу угнетения, унижения бедных и честных, подавления любой попытки восстановить справедливость в пользу притесненных. Поскольку излагался подлинный исторический случай с подлинным историческим персонажем — мош Иоаном Роатэ, было естественно сохранить реальные факты: обидчик боярин остается безнаказанным. В действительности того времени еще не существовали социальные силы, способные добиться хотя бы малейшей социальной справедливости.

В «Сказке про Белого Арапа» Безбородый был обращен «в пыль и прах». Как и фольклорные герои, герои Крянгэ, пройдя через великие испытания, через «муки», в конце концов торжествуют над злом, нравственным или социальным. Именно эти победы героев, олицетворяющих самые высокие духовные качества народа и являются наиболее драгоценным элементом в творчестве Крянгэ. Действующие лица и их поступки отличаются необычным размахом как по сравнению с действительностью, так и по сравнению с миром народной сказки.

О Крянгэ по разным поводам говорилось, что он «мыслит мифологически и эпически». Крянгэ был одержим могучим чувством справедливости и человечности. В то же время он понимал, что этим чувствам невозможно, не суждено стать действительностью в его время; все они могли осуществиться лишь в будущем, в справедливом обществе. По этим же причинам он был склонен идеализировать родную среду, в которой прожил, возможно, самые счастливые дни своей жизни.

Если проследить все творчество Крянгэ, то оно безусловно является попыткой вырваться из серой действительности и ее проклятых противоречий, из порочного круга буржуазно-помещичьего самодовольства и тупости, с которыми он сталкивается на каждом шагу. Крянгэ чувствует себя чужим как в обществе «Жуни-мя», так и в городской среде. Поэтому он создает свой мир, способный соперничать с миром богов и великих эпических героев, мир, который, в отличие от ничтожной буржуазно-помещичьей реальности, несправедливой и подлой по сути

своей, основан на самом сильном человеческом чувстве — любви к жизни. Человек пришел в мир, чтобы радоваться всему, что могут дать красота и богатство земли.

И в то же время человеку предназначено трудиться. Труд в творчестве Крянгэ предстает как самое главное в жизни. Выходец из народа, Крянгэ не только любит тех, кто добывает хлеб своим трудом, но и создает подлинный культ труда, культ человека-умельца. Труд — вечное, божественное предназначение, облагораживающее человеческую душу.

Пожалуй, нет ничего проще с точки зрения фольклора, чем сказка «Дочь старухи и дочь старика». Героиня подвергается на своем пути трудным испытаниям, которые она преодолевает только потому, что сперва побеждает самое себя, свою неприязнь не только к обременительной, но и отвратительной, отталкивающей работе, как уход за драконами и разными тварями. Добрая и справедливая по природе, дочь старика не чурается никакой работы и за это она щедро вознаграждена богатством. А ленивую старухину дочку и ее мамашу пожирают драконы.

Как видим, сказка не лишена назидательного элемента: усердие всегда вознаграждается. В этом фольклорный смысл сказки.

Но Крянгэ придает фольклору новые измерения, простая сказка «Дочь старухи и дочь старика» становится подлинной поэмой о труде. Ведь всюду, где проходит дочка старика, горе и запустение. Однако благодаря ее трудолюбию все расцветает вокруг, все преобразуется. Этот контраст писатель подчеркивает лаконичными и выразительными деталями: колодец, «до краев полный воды, чистой и прозрачной, как слеза, студеной, как лед», ухоженная девушкой груша «усыпана желтыми, как воск, и сладкими, как мед, грушами» и т. д.

Девушка проникнута сознанием необходимости трудиться, «она знала, что от работы еще ни у кого не отсохли руки...» Такая поговорка встречается в фольклоре. Эти благородные качества души девушки, выраженные в пластических образах, преобразуют народную сказку из анонимной притчи в глубоко оригинальное художественное произведение.

Фольклорные персонажи сказок Крянгэ, как и усердные жители Хумулешт в реальном мире, не жалеют рук своих для украшения мест, где они проходят. Белый Арап встретил на своем пути пчелиный рой, который кружился, метался, как ошалелый, не зная, куда опуститься. «Сжалился Белый Арап над пчелками, снял с головы шляпу, положил на землю; а сам отошел в сторонку. До чего же обрадовались пчелы! Вмиг слетелись они и всем роем собрались в шляпе. Белый Арап, очень довольный, не успокоился, пока не отыскал трухлявую колоду, выскоблил в ней для летка отверстие, как сумел; колышков потом понатыкал, протер изнутри мятой, желтым донником, Melissa, вьюнком и другими пахучими травами, приятными для пчел, взвалил колоду на плечи, высыпал осторожно пчел из шляпы в колоду, опрокинул улей отверстием вниз, накрыл его лопухом от дождя и солнца и, оставив его посреди поля, меж цветов, поехал дальше».

Своим трудолюбцем Белый Арап сродни дочери старика.

Реалистические детали в атмосфере сказочности усиливают смысл «Сказок», поднимают их до эпических высот, отражая человеческие судьбы.

Крянгэ пользуется и обратным приемом: он таким образом описывает конкретную действительность в своих «Воспоминаниях», что персонажи и их человеческие качества приближаются к сказочным, приобретают эпические черты. У хумулештян те же качества мастеров-умельцев, что и у героев сказок. Крянгэ чрезвычайно гордится промыслами, которыми занимаются жители его родного села: «Этим-то и живут по большей части хумулештяне — безземельные потомки резешей. Промышляют они еще крупным рогатым скотом, лошадьми, свиньями, овцами, брынзой, сыром, шерстью, подсолнечным маслом, солью, кукурузной мукой, сермягами, армяками и куртками, ицарами, шароварами, длинными рубахами и цветастыми коврами; выносят полотенца из шелка-сырца и другие шелковые ткани, которые обычно распродают по понедельникам на базаре или по четвергам — в женском монастыре, так как монашкам ходить на базар не с руки». То-

же самое делает и дочка старика, «когда на посиделках не теряла времени, полное решето веретен нарядала...»

У Крянгэ заметна большая любовь к инструментам, которыми люди пользуются в труде. Павел-сапожник, хозяин дома в Фэлтичанах, «день и ночь работал, царствуя на печке среди колодок, рантовых ножей, верстаков, железных лап, рашпелей, клещей, молотков, дратвы, вара и других сапожных принадлежностей». Такое стремительное перечисление инструментов и предметов, их множество создают впечатление чего-то сложного и значительного, управлять которым могут только ловкие руки и острый ум человека достойного. И таким предстает перед нами Павел-сапожник.

Если рассматривать всех героев Крянгэ подряд, мы заметим, что они отличаются образцовым трудолюбием, источником которого является их внутренний мир, чувство правды и справедливости. Вспомним в этой связи о Василе из «Воспоминаний», или об обездоленных невестках, или о матери писателя — и сразу же станет ясно, какой глубокой была любовь Крянгэ к человеку и его труду.

Несомненно, любовь к труду, сноровка и трудолюбие не являются исключительными качествами отдельных персонажей сказок или «Воспоминаний». Для Крянгэ способность трудиться и творить — это качество, присущее народу. Труд — это благородная и возвышенная черта человека из народа, и этим он отличается от поработителей и эксплуататоров. Даже если эта идея не проходит методически и сознательно через все его творчество, она присутствует почти повсеместно, вплетена в суть вещей, объективно воссозданных художником.

III

Как писатель-реалист, Крянгэ в значительной мере близок к некоторым великим писателям эпохи французского классицизма. Особенно часто его сравнивали с Лафонтеном. Для молдавского писателя интерес представляют не столько социальные конфликты, сколько само многообразие человеческих типов, а в социальном плане — бесконечный спектакль человеческой глупости, поработившей предрассудками, суевериями и мелкими страстями. Следовательно, у Крянгэ преобладает интерес к социальным типам и именно к тем, которые ему лучше всего известны, то есть к образам из крестьянской и духовной среды. «Сказка о глупости человеческой», которая, к сожалению, не была развернута в духе «Сказки про Белого Арапа» или «Сказки про Стана, человека бывалого», свидетельствует о том, как весело и комично представляет он зрелище несурзности людской.

Реализм Крянгэ — это реализм раблезианского толка, в котором переплетены действительность и сказочность. Повествование у Крянгэ отличается скорее живописностью, нежели тщательной достоверностью. При этом игра воображения куда более значительна в его творчестве, чем в обычных реалистических произведениях.

Но, уделяя первостепенное значение различным социальным типам, Крянгэ, даже если бы он этого хотел, не может пройти мимо чудовищных сторон исторической действительности, в которой он живет. Неоднократно отмечалось, что если в сказке «Коза и трое козлят» заменить козу бедной крестьянкой, вдовой с детьми, а волка — кулаком, мы бы оказались в достоверной социальной обстановке, характерной для времени Крянгэ. Такой социальный конфликт писатель изображает через притчу, вместо того чтобы рисовать картину, в которой выразительные детали представили бы угнетенное положение человека.

О манере использования Крянгэ фольклорных мотивов высказывалось множество мнений. Г. Ибрэилян подчеркивает, что оригинальность сказок Крянгэ обусловлена его непревзойденным талантом: «Притча, сказка представляет собой ценность в той мере, в какой представляет ценность талант сказочника. А у Крянгэ был такой великий талант, что во всех его сказках люди отличаются удивительной индивидуальностью и жизненной силой». Герои Крянгэ живые, уточняет далее критик, потому что они «переданы эпически». Несомненно, талант решающий

фактор, но нас интересует суть интуиции писателя, которая позволила ему быть в своем творчестве и реалистом, и эпиком, создавать произведения неповторимой оригинальности не только в нашей, но и в мировой литературе.

Ценным с этой точки зрения является мнение французского исследователя Жана Бутьера, глубоко изучившего творчество Крянгэ. В отличие от других писателей, обращавшихся к фольклорным сюжетам, у Крянгэ «оказался талант вводить в свои народные сказки отсутствовавший в них основной элемент — жизнь, и в этом заключается его глубокая оригинальность». Далее исследователь проводит параллель, достаточно поучительную для того, чтобы понять различие между структурой народных сказок и «Сказок» Крянгэ. «Народные сказки любой местности интересуют нас, главным образом, необычайными приключениями: краткие или пространные (они редко удерживаются где-то посередине), они всегда изображают фантастические и нефантастические персонажи, животных или чудовищ в стереотипных формулах, кстати сказать, довольно ограниченных, которые не вызывают в нашем воображении никаких точных образов, они игнорируют понятия о пространстве и времени, а их действие часто развивается незапланированно, по воле случая. Крянгэ, напротив, не нарушая правил, установленных традицией, сумел нарисовать как физически, так и нравственно живые портреты главных действующих лиц своих сказок, художественно изобразить сцены, в которых действуют многие актеры, часто с точностью определить место действия сказок, щедро рассыпать юмор и хорошее настроение и, наконец, в противовес тому, о чем мы говорили, сделать так, чтобы его сказки разворачивались, в общем, согласно разработанному плану».

Мысль Бутьера можно полностью принять, все его наблюдения точны, уместны, ценны для понимания глубоко оригинального характера творчества Крянгэ. Но все это относится больше к писательской технике.

Из всего сказанного до сих пор можно сделать вывод, ставший почти традиционным в исследованиях, посвященных творчеству писателя. Взявшись писать свои сказки, Крянгэ должен был воскресить в памяти знакомые с детства народные предания, услышанные когда-то на посиделках в Хумулештах или от удивительного мош Бодрынгэ, которого он ночи напролет завороченно слушал в доме Павла-сапожника. На канве этих народных сказок писатель набрасывает затем живописные сцены или вводит персонажи из подлинной крестьянской жизни, знакомой и пережитой им.

В первый период творчества, период «Сказок», Крянгэ вспоминает различные эпизоды из жизни крестьянства, но не имея еще навыка творить на основе наблюдений воображаемые ситуации, используют в них народную сказку как притчу. Своих героев — Стана или Белого Арапа, волка и козу, старикову дочку или Данилу Препеляка — он сперва видит в действительной жизни и, тронутый их судьбами, переносит затем в мир сказки, одновременно укрупняя их физические и духовные качества. Впрочем, Крянгэ обращается в своих «Сказках» к тому же методу, характеризуя положения или героев с помощью пословиц и поговорок. Из мемуарной литературы известно, что писатель, когда его спрашивали о событиях или людях, часто избегал прямого высказывания, рассказывал анекдот, из которого становилось ясно его ироническое, насмешливое или просто полное юмора отношение к предмету дискуссии.

Художественное воображение — это не только врожденный дар; оно развивается и расширяет свою сферу в процессе писательского труда. Крянгэ был великим творцом, а его фантазия, способность к выдумке, пользующаяся богатой действительностью как трамплином, приобретает удивительные крылья, когда писатель обращается к литературному творчеству. Крянгэ освобождается от сказочного стереотипа даже тогда, когда пишет свои «Сказки». «Сказка про Стана, человека бывалого» является подлинной новеллой из крестьянской жизни. Такими же предстают сказки «Данила Препеляк» или «Иван Турбинка», в которых сохраняется только схема фольклорного сюжета, а художественное содержание относится к подлинной новеллистике.

Эволюция творчества Крянгэ от сказки к «Воспоминаниям детства» естественна, она свидетельствует о все большей и значительной склонности к творческому вымыслу. И если Ион Крянгэ не написал больше сугубо вымышленных произведений, то объясняется это тем обстоятельством, что он очень недолго находился в литературной среде, в обществе «Жуниция», которое, честно говоря, никогда не понимало смысла его творчества. Кроме того, вся его литературная деятельность длилась не более шести лет. В обществе Еминеску, который мог ввести его в тайны творчества, Крянгэ находился всего около двух лет. Все это мало способствовало плодотворной литературной деятельности.

Для Крянгэ сказка не является поучительной притчей, стоящей в стороне от жизни. В его понимании сказки — это способ толкования социальной действительности, которую автор знает не только как внимательный наблюдатель, но и как участник, поскольку с ней связана его судьба. Крянгэ значительно больше вовлечен в социальную борьбу, чем это часто представляется. В основу таких сказок, как «Кошелек с двумя денежками», «Коза и трое козлят», «Свекровь с тремя невестками», «Дочь старухи и дочь старика», «Сказка про Белого Арапа», положены случаи вопиющего притеснения, надругательства над социальной и человеческой справедливостью, попрания самого понятия истины и справедливости. Трактуются они с большим мастерством, потому что прежде чем обратиться к помощи сказки, Крянгэ имел перед глазами подобные случаи в окружающей его действительности, сам испытал столько обид, что они неизбежно должны были в том или ином виде отразиться в его творчестве.

Бытовые сценки из «Сказок», комические ситуации, в которые попадают герои, в первую очередь, подсказаны жизнью. Следует знать, что, например, сказка «Иван Турбинка» вдохновлена не только славянским фольклорным мотивом, как утверждают некоторые исследователи. Когда сказка «Иван Турбинка» вышла из печати (1878 г.), писатель имел возможность наблюдать проходящие на Балканы и обратно в Россию русские войска, среди которых он, возможно, разглядел и героя своей сказки.

Конечно, конкретная историческая действительность, составляющая основу произведения, в значительной степени переходит в другое качество, в результате чего создается многозначный моральный и эстетический символ. В «Сказке про Белого Арапа» ясно видны признаки конкретной социальной действительности и даже намек на бедственное положение народа, вызванное безрассудной политикой правителей. Например, мнение Безбородого о господах и слугах — не простая сказочная деталь, а в какой-то степени выражение социального порядка, который поддерживают господствующие классы. Царь, восхищенный Белым Арапом, говорит, что «будь у меня столь добрый и верный слуга, усадил бы его за стол рядом с собой». А Безбородый резко обрывает его:

«— Не дождется, — злобно сказал Безбородый. — Этого не сделаю, хотя бы он выше себя подскочил. Кто он — брат моей матери, что ли, чтоб ему почести воз- давать? Я так думаю, дядя, что слуга есть слуга, а хозяин — хозяин, и все тут».

Подобные мысли высказываются очень многими сказочными персонажами, отражая и сказочной ситуации социальную действительность. О Рыжем царе сказано, «что лют и жесток он до крайности — с людьми обращается хуже, чем с собаками. Но, как говорится: на бездушного бессовестный нужен». Писатель, следовательно, предопределяет насильственную расправу с угнетателями, которые не уважают законы человечности.

Из всего этого не следует делать преувеличенные выводы о том, что творчество Крянгэ носило характер резкой социальной критики. Отношение писателя к угнетателям идентично отношению всего народа.

Система образов, его язык принадлежат скорее к стилю, в котором изъясняется народ, чем к цельному мировоззрению, сложившемуся в уме художника в результате длительных философских раздумий, как, например, у Еминеску. Искусство Крянгэ народно, но поднято на высшую ступень, которая ставит писателя в ряд с великими творцами мировой литературы.

В творчестве Крянгэ сочетаются самый трезвый реализм и самая необузданная фантазия. Реалистическое описание обеспечивает достоверность, убеждая нас в действительном существовании описываемых вещей. Крянгэ не только представляет предмет таким, каким он есть, или характеризует его определенным эпитетом, как в народных сказках, но и описывает его в деталях. О быках Данилы Препеляка узнаем: «Была у него пара волов, и каких: масти сизой, молодые, рослые, круторогие, белохвостые, со звездой во лбу, широкие в кости и упитанные как нельзя лучше — хоть в повозку запрягать, хоть в плуг, хоть на люди показываться». Пользы от этого герой, однако, не имеет: «А ни плуга, ни бороны, ни телеги, ни саней, ни косы, ни вил, ни цепы, ни граблей и вообще никаких нужных в хозяйстве вещей и в помине не было у этого незадачливого человека». Стремительное перечисление предметов дает нам осязаемое, явственное представление о состоянии хозяйства Данилы. Крянгэ стремится вызвать в нас ощущение этих предметов, являющихся признаком достоинства и вожаемого землепашцем изобилия.

Разумеется, ни в одной народной сказке упоминание предметов не преследует, в конце концов, подобную эстетическую завершенность. Там действие важнее, нежели детализированная картина жизни.

Реакция действующих лиц на события или их духовные качества также изображаются с реалистической тщательностью. Вздорный нрав старухи схвачен в ее наиболее типических проявлениях: «А когда домой возвращался старик, то язык у старухи молот пуще мельницы: что, дескать, дочь его непослушна и распущена, и ленива, и дурная трава она... и одно, и другое, и пусть он ее из дому прогонит, служить отправит, куда хочет, но только в доме ее больше нельзя держать, ибо может она и ее дочку испортить». Подобное описание усиливает внимание читателя к персонажу, а в данном случае вызывает и чувство возмущения отношением старухи к стариковой дочке. Следовательно, описание подчеркивает побудительные мотивы действия героя. Этот метод широко используется критическим реализмом и постоянно, до наших дней, обогащается творчеством великих писателей мировой литературы.

Часто жест героя резко и неосознанно выдает психологическую черту, свойственную человеческой природе. Святая Пятница велит стариковой дочке «выбрать любой сундук, который ей приглянется, и взять его себе в награду». Девушка, образец идеальной скромности, не хочет злоупотреблять великодушием своей хозяйки. «Не будучи жадной, выбирает она себе самый старый и некрасивый из всех. Когда она сошла с чердака, святая Пятница слегка нахмурилась, но делать нечего — дала ей свое благословение. А та взвалила себе сундук на спину и с радостью пустилась в обратный путь к отцовскому дому той же дорогой, которой пришла».

Согласно традиции народной сказки, имеющей широкое распространение в нашем фольклоре, святая Пятница неукоснительно выполняет свое обещание, одаря трудолюбивую девушку самыми прекрасными и драгоценными дарами, но так, чтобы она об этом не знала. Но врожденный реалист Крянгэ не желает создавать впечатления морального совершенства, когда речь идет о вымышленных сказочных героях. Имея в первую очередь перед глазами образ реального человеческого характера, он придает своим выдуманным героям психологические черты обыкновенных людей. Великодушие святой Пятницы не бесконечно и не совершенно; она «слегка нахмурилась» при виде того, что девушка, не ведая о том, взяла самые большие ценности, упрятанные в самом неприглядном сундучке. Следовательно, свойственный человеческому нраву эгоизм неожиданно проявляется в традиционной для народной сказки ситуации.

В «Сказке о поросенке» царь, узнав о чудесном преобразовании лачуги стариков, испытывает настоящий страх, который писатель изображает в комических красках: «Потому хоть и был он царь, а про все на свете забыл, кроме одного, — страха!» Следовательно, в таких застывших образах, какими являются в народных сказках цари, у Крянгэ предстает человеческий характер, способный испытать самые обыкновенные чувства.

Впрочем, наш писатель поступает, как и великий Боккаччо, который коренным образом преобразовал психологический строй персонажей из исторических повест-

вований. Вместо застывшего в анекдотических штампах мира с неизменными моральными правилами, у Крянгэ мы встречаем живой мир в вечном движении, в котором действия героя полны неожиданностей. В «Сказках» предстают типы людей с четко определенными чертами. Но в некоторых ситуациях они проявляют чувства, свойственные самым обыкновенным людям. Поэтому сказочные герои приобретают человеческий образ и характер.

Среди героев «Сказок» Стан — «человек бывалый», пожалуй, самый реальный и земной, в какой-то степени напоминающий Панурга — персонажа книги Рабле. Желая, как и тот, жениться, Стан проходит через сомнения, через целую гамму чувств — от восхищения до разочарования. Мы видим подлинную эволюцию характера этого героя, связанную, в свою очередь, с человеческим опытом, знакомым, возможно, самому Крянгэ. Поэтому в сказке не только главные действующие лица, но и некоторые второстепенные персонажи отличаются четко очерченной индивидуальностью. Старуха-сводня воплощает собой коварство, представляющее под личиной добродетельности и понимания.

«— Ни дна тебе, ни покрывки, человек добрый! Известно мне, что есть тоска сердечная, пропади она пропадом!.. Не знаю, право, как дело станет; со стыда сгораю, как подумаю, что явлюсь к этой женщине с такими словами... Но, однако, пойду посмотрю; удастся — хорошо, а нет — на меня не пеняй; нелегкие это дела, и редко мы в них успеваем».

Следовательно, здесь разыгрывается двойственная, сложная психологическая ситуация, а не просто стереотипное сказочное действие.

Сам факт приобретения персонажами «Сказок» типажности и черт характера меняет и природу композиции сказки, приближая ее к новелле. И это является вторым большим художественным новаторством Иона Крянгэ. В отличие от француза Шарля Перро, который вводит в свои сказки сцены и персонажи из аристократического мира, окружая их, разумеется, феерической, волшебной атмосферой, у нашего писателя фантастическое порой подчиняется реальной действительности, приближая образ мыслей сказочных героев к образу мыслей крестьянина, умного, человеческого, но язвительного. Король из «Сказки про Белого Арапа» при виде того, как испугался его сын повстречавшегося ему медведя, то есть своего переодетого отца, который прибегнул к такой военной хитрости, дабы испытать его смелость, говорит: «Что ж, правильно решил, сынок. Видать, ты не для царства, и царство не для тебя; чем людей только путать, лучше тебе, как сам говоришь, в стороне оставаться, потому как, слава богу, был бы пруд, а лягушек хватает. Только не знаю, с дядей твоим как быть? Сам видишь, нехорошо получается».

Этот персонаж разговаривает, как обыкновенный крестьянин. Его ирония мало чем отличается от иронии мош Иона Роатэ, когда он подтрунивает над боярами. Если бы цари и короли из «Сказок», пользующиеся подлинным крестьянским языком, вдруг заговорили напыщенно, важно и торжественно, как часто случается в плохих обработках народных сказок, то сказки Крянгэ опустились бы до обыденности. Но великий писатель избегает малейшей вульгарной интонации, постоянно используя в своем творчестве иронию. И здесь как подавляющий фактор выступает безграничное чувство юмора, неиссякаемая живость писателя, которая изменяет характер фантастики народных сказок, возводя ее в степень высокого эпического искусства.

IV

Ион Крянгэ является, в первую очередь, великим писателем-юмористом, по праву числящимся среди блистательных фигур мировой литературы.

Его имя нередко произносилось наряду с именами Рабле и Лафонтена. Но смех у него не ради смеха, он часто преследует явно сатирические цели, разоблачая неестественные, порой чудовищные, противные природе человека явления, и стремясь к установлению социальных отношений, основанных на правде и спра-

ведливости. Благодаря комическому элементу, разнообразному и ярко выраженному, и реализм творчества Крянгэ чрезвычайно расширяет свои границы, гармонично объединяет, избегая резких диссонансов, действительное и воображаемое, земную жизнь и ее проекцию в воображаемое. Действительное и фантастическое у Крянгэ поддерживают и обогащают друг друга, обеспечивая в большинстве случаев правдоподобность.

Комическое в творчестве Крянгэ, юмористические способности писателя представляют особый интерес. Без их правильного понимания невозможна научная интерпретация его произведений. Наша литературная критика многое делала для раскрытия демократического духа в творчестве писателя, но сатира и юмор рассказчика пользовались меньшим вниманием, порой даже игнорировались или неправильно трактовались, особенно в плане эстетическом. Поэтому комическая сторона творчества, которая, по сути, составляет его сущность, заслуживает особого внимания.

Творчество Крянгэ делает нас постоянными участниками торжества народной мудрости над глупостью, угрюмостью, над порочными суждениями, ложью, вызываемыми человеческими несовершенствами, слабостями и суеверием, предрассудками или порочным порядком. Комическое в творчестве Крянгэ рождает радостное ощущение превосходства человека, побеждающего зло. Люди в «Сказках» и «Воспоминаниях» становятся смешными тогда, когда они лишены понимания этого превосходства, рожденного долгим жизненным опытом.

Смех у Крянгэ безоблачный, безмерна радость его героев, преодолевающих темные силы. Какими чудовищными ни выглядели бы Жерилэ, Окилэ¹ и другие, они заражают читателя своей веселостью. Такое же добродушие отличает героев и обстановку «Воспоминаний». Например, один из персонажей этого произведения мечтает, «чтобы весь год было сплошное воскресенье и только один рабочий день; и тогда, чтобы был либо праздник, либо свадьба». Не следует понимать смысл сказанного дословно. Речь идет о народной поговорке, остроумном парадоксе, смысл которого сводится к тому, что человек стремится к полноте жизни, к полному освобождению от невзгод и трудностей. Эти мысли, облеченные в различные образные одеяния, встречаются многократно во всем творчестве нашего классика. Пройдя через испытания, все герои «Сказок» познают светлое, подлинно человеческое счастье.

Смех Крянгэ, освещенный вспышками радости и света, стремится утвердить жизнь и изгнать из человеческого бытия темные силы, сеющие недоверие и распри. Такой нравственный смысл особенно характерен для «Сказки про Белого Арапа» или для «Сказки о Стане, человеке бывалом».

Безоблачность и оптимизм становятся все более ощутимыми в творчестве Крянгэ по мере того, как комический элемент проявляется свободнее и естественнее. Иван Турбинка имеет дело с чертями на боярском дворе и в аду, противостоит Смерти, а нам все это кажется чем-то вроде карнавальной игры, веселым спектаклем, в котором безобразное унижено, уничтожающе высмеяно. Зловещее — образ Смерти — превращено в комический спектакль. Конечно, у истоков этого спектакля находится фольклорный мотив, который лежит в основе сказки. Но Крянгэ умеет приумножать комический эффект, представляя страшную и безжалостную Смерть в виде старухи, одуроченной и бессильной перед властью, которую обрел Иван: «— Турбинка, гори она огнем! — говорила Смерть, отправляясь в рай, как на виселицу. — Не знаю уж, что и сказать про господа бога, чтобы не согрешить. Совсем, видать, впал он в детство, прости господи, если уж Ивану полоумному власть такую надо мною дал. Хотелось бы мне увидеть однажды в Ивановой турбинке самого господа бога, великого и всемогущего, или хотя бы святого Петра; уж тогда бы они мне поверили.

И все идет она, бормоча и неся околесицу, и доходит до райских врат...»

Таким образом, сверхъестественные существа, которые, согласно религиозным догмам, недоступны разуму, низведены до обычного человеческого масштаба, не

¹ Персонажи «Сказки про Белого Арапа».

отличаясь от людей с обыденным, почти тривиальным мышлением. Здесь бурлеск является источником комического, смешного. Шарль Перро говорил, что бурлеск это вид потешного, который «заключается в несоответствии между составленным себе представлением о предмете и его подлинным образом, так же как рациональное заключается в соответствии этих двух начал. Эта несоразмерность достигается двумя путями: либо принижают возвышенные понятия, либо говорят возвышенно о низменных».

Хотя Крянгэ и не был знаком с теорией бурлеска, выдвинутой его предшественником, при использовании фольклорных мотивов эти два вида бурлеска ему подвластны, точнее, он приходит к ним интуитивно, добиваясь взрывчатых комических эффектов. В обыденных выражениях переданы действия сверхъестественных сил, идет ли речь о чертах из сказки о Даниле Препеляке, или о боге, святом Петре и Смерти в «Иване Турбинке». Низвергая сверхъестественное, небесные или адские силы, писатель развеивает авторитет догм, навязанных церковью для того, чтобы утвердить мысль о бессилии человека по собственной воле изменить в условиях земной жизни свою судьбу.

В «Сказке о Стане, человеке бывалом» мы находим бурлеск. Заключается он в представлении в возвышенных выражениях сил (чертей), которые в народных суевериях или в религиозных догмах стали символом подлости и зла. Черти, которые приходят Кирикэ на помощь, изображены в пышном эпическом стиле. Они превращаются в силу, которая порой способна помочь человеку в беде: «Ипат, у которого забот полон рот, все думал, думал и ничего не надумал, прилег на траву и, будучи усталым, крепко заснул. Тогда Кирикэ — (знай свое дело!) — вмиг всю нечистую силу собирает и на работу ставит. Одни жнут, другие снопы вяжут, третьи копнят и копны сушат, четвертые убирают и скирдуют. Чертова страда — иначе не назовешь!»

Таким образом, писатель максимально использует возможности комического для создания оптимистической атмосферы, веселого и добродушного климата, который лежит в основе его юмора. Не случайно, в одном из словарей юмор определен так: «живость воображения, поэтико-комическое вдохновение» (Литтре).

Трудно уточнить эстетическую функцию образов чертей в «Сказке о Стане, человеке бывалом». В приведенной выше сцене мы видели, как они, мастера на все руки, делают свое дело, придя на помощь к одному из своих братьев, Кирикэ, который тоже будучи чертом, оказывается усердным, мудрым, преданным хозяину слугой. Однако в начале сказки «Скараоский, чертов начальник, замышляя, как обычно, свои гнусные дела, дал приказ всем слугам своим разбрестись кто куда и повсюду — на море и на суше — сеять вражду меж людьми и всякие мерзости творить». Черти выполняют приказ своего начальника и отправляются с намерением попортить людям кровь. Кирикэ это тот, который «помчался в леса — не удастся ли там каких бед натворить: кого подстрекнуть против господ бога, кому ось или что другое в телеге сломать, кому вола покалечить (подобное встречаем и в «Воспоминаниях»: «А многим случалось возвращаться в субботу ночью домой то со сломанной ногой, то с покалеченными волами...»)), а других в драке стравить, пока не убьют друг друга, — и прочие разные подлости учинить, какие вытворяет нечистая сила».

Даже если писатель не намеревается воскресить миф этим комическим представлением чертей, само представление в силу объективности вещей демонстрирует способность человека укротить враждебные ему силы и заставить их верно служить себе. В этом символическая и, следовательно, нравственная ценность «Сказки о Стане, человеке бывалом».

Помимо теории о комическом, выдвинутой Аристотелем, существует другая важная теория комического, принадлежащая Цицерону. С точки зрения римского мыслителя «природа порождает и создает людей, умеющих остроумно рассказывать и подражать другим с помощью взгляда, голоса и манеры говорить». В самом смехе есть элемент неожиданности: «смех вызывается обманом ожиданий». В нашем народе бытует поговорка, формулирующая этот элемент неожиданности: «в од-

но целил, в другое попал». Эффект комического здесь заключается в непредвиденности, неожиданности. Цицерон уточняет также, что «смешное проясняет грустное и суровое чело, снимает напряженность, и потому дурное настроение, которое не удается рассеять убеждениями, порой развеивается шуткой и смехом». Речь идет о лечении смехом, которое предстает, как момент разрядки, освобождая нас от неприглядной действительности, от раздражающих факторов, повседневных забот. Основываясь на этой концепции Цицерона, немецкий философ Кант определяет комическое как эффект, произведенный на механизм нашего интеллекта резким разрушением процесса ожидания. Комическое возникает там, где возникает пустота, образуемая после напряженного ожидания.

Разновидности такого рода комического в различных вариациях встречаем в «Сказках» и «Воспоминаниях детства».

Удивительны эффекты неожиданности и непредвиденности в «Сказке о Даниле Препеляке». Братья из этой сказки — люди совершенно разные, и не случайно: в этом, как мы видим, и есть нравственный подтекст более широкого человеческого значения. «Старший работающий, бережливый и удачливый: за что ни возьмется, господь ему добавляет. А вот детей у него не было. Младший же был бедняком. Не раз уходил он от удачи, а удача от него, потому как ленив был, смекалки ни на грош, в делах нерасторопен, к тому же была у него куча детей. Жена у бедного брата была трудолюбивая и сердечная, а у богатого — ведьма-ведьмой и страсть какая скупая. Старая истина: «под каждой крышей свои мыши».

Можно сказать: каждый со своей судьбой. Резкое различие между героями объясняется как их характером, так и социальным положением. Но достаток одного и бедность другого обусловлены не только соответствующей склонностью к степенности или отсутствию ее, но и нравом их жен. Одна ведьма-ведьмой и скупая хранит мужнино добро, а другой, трудолюбивой и сердечной, окруженной детьми, некогда думать о богатстве.

Разность человеческих нравов, их контрастность объясняются здесь не только классическим несоответствием характеров, но и различием семейного и социального порядка, поскольку женщины в значительной степени определяют материальное положение этих двух крестьян. Богатый брат не может пуститься в рискованное предприятие, поскольку попытка изменить образ жизни была бы несвойственной для него и не получила бы одобрения жены. Подтекст сказки косвенно говорит об отсутствии симпатии автора к этому зажиточному крестьянину. Большой интерес представляет безрассудный нрав Данилы, о котором Крянгэ говорит, что он «был из тех, кто ворон в небе считает, ложку к уху подносит, и любое дело выходило у него шиворот-навыворот». Рассудительный зажиточный брат не расположен к приключениям, в то время как легкомысленность Данилы толкает его на различные эксперименты.

Первая часть этой сказки предстает в виде захватывающей игры в счастье, в которой шансы на удачу героя катастрофически тают. Обмен за обмен, и Данила оказывается владельцем пустого кошелька; только тогда немного отдает себе отчет в своем несчастливом и бедственном опыте: «Продал с барышом, а иду нагишом! Была пара волов, любо-дорого глядеть, а остался с пустым кошельком. Мэй-мэй-мэй-мэй! И не впервой-то я в дорогу пускаюсь. А нынче словно дьявол попутал, не иначе». Констатация этого факта не так уж горька. Ведь материальное положение героя, по сути, резко не меняется: бедняк Данила становится чуть беднее, чем был раньше.

Особый интерес представляет его опыт. Пока он совершал обменные операции, одну невыгоднее и катастрофичнее другой, вокруг глупости Данилы образовался некий заговор молчания. Пораженные скудоумием героя, его партнеры по неравноценному обмену извлекают пользу, и ни один из них не испытывает угрызений совести, ни у кого не возникает мысли о несправедливости, совершенной над хорошим, но до глупости наивным человеком. Наоборот, каждый пытается внушить ему, что, соглашаясь на обмен, терпит убыток, а выигрывает Данила.

Но эффект неожиданности, движение к образованию пустоты растет и благодаря тому, что и Данила полагает, будто в результате этих обменов он остается в выигрыше: «Ладно, — говорит Препеляк, — этого с козой я-то уж наверняка здорово околпачил». Если бы действия Препеляка трактовались с эпической серьезностью, то он превратился бы в трагический персонаж; безжалостная эксплуатация его наивности вызвала бы возмущение и сочувствие. Но поскольку неожиданное и непредусмотренное вызывает безудержный смех, комическое затушевывает драму, выступает как разрядка, освобождая нас от ощущения морального уродства.

Так происходит в плане эстетическом. А в плане моральном мы вынуждены согласиться с мыслью о том, что человеческая глупость, отрицание умелости не одобряется народом. В этом, в сущности, и кроется основной смысл фольклорного мотива в первой части сказки. Мотив этот связан с характером Пепели, который все делает шиворот-навыворот и постоянно оказывается в проигрыше, когда сталкивается с трудностями жизни, требующими умения и гибкости.

Одним словом, тупость вызывает смех.

Горький опыт неудачных обменов западает в сознание героя: «Но, как говорит-ся: богатый умом тороватый, а молодой хорош собой. А ума-разума Данила уж стал набираться». Его рассуждения становятся гибкими и аналитическими. В конце же он демонстрирует находчивость и чувство юмора. Эти перемены имеют свое объяснение. Данила наталкивается у омута на чертей, которые совершенно лишены способности рассуждать, а также гибкости, эластичности мысли и наблюдательности. Они представляют собой опасность: эта мысль подсказана писателем в ремарке («Чертова сила не очень-то пришлась Препеляку по вкусу, но он все же взял себя в руки...») Но по мере того, как ему удаются его хитрости, Данила становится все изобретательнее и смелее. В конце концов сказка превращается в искрящуюся комедию, высмеивающую (если рассматривать в более абстрактном плане) силы тьмы, которым не удается покорить человека только потому, что их мышление прямолинейно, догматично, до абсурда застывшее.

Но, стремясь избежать лобового прочтения этой мысли, писатель затушевывает ее, наделяя чертей своеобразной глуповатой наивностью. Сознывая свое превосходство в грубой физической силе, черти устраивают состязания, в которых у Данилы нет шансов победить. Однако они один за другим проигрывают, так как лишены чувства практической реальности или, точнее, не понимают механизма хитростей «божьего человека с дьявольским нравом». Правда, человек тоже проигрывает одно состязание — ирония судьбы! — единственное, где у него был шанс на победу: состязание в проклинании, в котором черт «не знаю, что он такое сделал, но у Данилы лопнул глаз».

Замшелость мысли у чертей обусловлена у Крянгэ, как и в фольклорной сказке, суеверным страхом, черти боятся соседства символов христианской веры — креста, монастыря, отшельника и возможного обращения к именам бога и святых. Суеверный страх парализует их мыслительные способности, разрушает в их глазах естественную логику вещей и примет окружающей действительности. Все это находится в традиционном русле церковных догм, которые утверждают, что нечистый страшится людей и мест, находящихся под покровительством креста.

Крянгэ придает другое направление этой фольклорной теме, несомненно внушенной церковью. Он трактует ее с добродушной живостью, в подлинно вольтеррианском духе. Тема приобретает реалистический и гуманный смысл, становится одновременно остроумной насмешкой над разными суевериями и предрассудками.

Даниле, пораженному глупостью чертей, приходит мысль внушить им, что заяц, медведь и т. д. всего лишь ослабленное отражение его собственной физической силы. Данила создает вокруг себя легенду. Несоответствие этой легенды действительности и является источником комического и юмора в этой сказке:

«Стоит Данила, от смеха заходится, живот надрывает, над чертовой глупостью потешается, когда тот возвращается весь запыхавшись.

— Мэй! Ну и резвый же у тебя сыночек (речь идет о зайце. — *В. К.*), что и говорить! Только вот-вот настигну его, а он прыг — и след простыл.

— Весь в папашу малыш, — сказал Данила. — Ну, как, охота еще со мной потягаться?»

Фамильярность черта («Мэй! Ну и...»), наигранная скромность и гордость Данилы («Весь в папашу малыш») — перлы юмористики.

Среди определений, данных юмору, существует и одно английское, относящееся к XVIII веку, которое гласит: «Подлинный юмор — это способность автора представляться строгим и серьезным и изображать вещи в таких красках, которые вызывают веселие и смех». Следуя этому условию, писатель изображает вещи объективно и реалистично, и потому его юмор производит столь большой эффект. Одна из сторон юмора Крянгэ абсолютно совпадает с этим определением: Данила, будто походя, вставляет слово «малыш», не желая вызвать смех, но когда мы видим, что малыш, это всего лишь заяц, комизм становится взрывчатым.

Юмор Крянгэ безгранично очеловечивает используемую фольклорную тему.

Последовательный в своем изложении, Крянгэ не только развенчивает вздорный миф о могуществе чертей, но и лживую идею о чудодейственной силе святого креста и других символов. Данила, придя к мысли о том, что нет оснований благоговеть перед темной силой чертей, решает тем же порядком действовать и по отношению к кресту. Поставленный перед необходимостью выбора, «Препеляк посмотрел на крест, посмотрел на черта, на деньги, пожал плечами и молвил:

— Ваше счастье, поганое племя, что деньги мне милей отшельничества, не то показал бы я вам».

Ставить на одну ступень крест, отшельничество, черта и деньги — святотатство с точки зрения религии. Однако Крянгэ пренебрегает этим навязанным церковниками предрассудком. Трудно утверждать, что писатель в своих суждениях был полным атеистом, последовательным материалистом. Его отношение к церкви и некоторым ее догмам схоже во многом с отношением Вольтера. Крянгэ скорее деист, нежели последовательный атеист, по крайней мере, в том, что касается необходимости сдерживать человеческие страсти. Ведь в сказке «Дочь старухи и дочь старика» он считает положительным фактом, что дочь старика, «твердо веруя и надеясь на бога», не испугалась тварей и драконов святой Пятницы.

Писатель скорее всего не мирится с мыслью о том, что церковь отделилась от своих простых первоначальных идеалов, превратившись в нечто противоположное, в такое же торжище, как и то, что устраивают черти из омота, выторговывая у Данилы право владеть захваченной землей. Нет сомнения, эта мысль владела Крянгэ (она характерна для образа мыслей многих художников прошлого), когда он представлял себе с комизмом, какой редко встречается в литературе, эти сцены, в которых на карту поставлены символы веры. Монастыри в окрестностях Хумулешт точно так же торговались с каким-нибудь Данилой, дабы избежать его опасного соседства. Остроумие писателя говорит о том, что, работая над сказкой, он шел от реальных жизненных образов.

Все глубже проникая в действительность, Данила обнаруживает, что производит переоценку самих вещей, а не фетишизированных образов. Он забавляется этим: «Берет толстенную дубовую балясину, потому как хоть и был он отшельником, но в дубину верил больше, нежели в святой крест, и хрясь черта по правому виску!»

Комическое обесценение символики креста уже не относится к фольклору, это вторжение в фольклорный текст большого художника, который, помимо способности оживлять мифы, ложные или правдивые, является и мыслителем, по крайней мере, в обширных рамках мудрости одного народа, если не более.

Наконец, мы видим, что Данила высмеивает и монастырь, и чертей, не щадя и собственной персоны.

«— Ладно, — говорит Данила. — И это на дороге не валяется, значит, надо монастыри строить, если хочешь, чтобы черти тебя заметили, денежки прямо к ногам притащили и богачом сделали».

Направленность этого сатирического суждения нацелена против богатств, накопленных нечестным путем. Источники таких богатств всегда нечисты. Они результат хитрости, эксплуатации человеческой глупости, предрассудков и верований.

Поэтому и фигура Данилы не имеет большого эпического звучания, поскольку его деньги не заработаны трудом.

Насколько полно фантазия Крянгэ опирается на действительность, можно увидеть в простой сцене из сказки про Данилу. Вот он возвращается домой, как привидение: «Сказал и уселся Данила верхом на бурдюк, а черт взвалил его себе на плечи и быстрее мысли понесся к дому Данилы Препеляка. Дети и жена, как увидели в небе летящего буйвола, с перепугу разбежались кто куда. Данила стал их по имени выкликать, и они, узнав его голос, остановились».

Нормы реального и фантастического сочетаются так совершенно, что становится незаметным переход от одного к другому. Не нужно доказывать, что дети, услышав и узнав голос отца, должны были, естественно, прийти в себя и больше не страшиться его странного появления. Они знают, что отец никогда не может быть для них чудовищем.

У Крянгэ, как и у других творцов сказок, встречаются фантастические персонажи, внешний облик которых и физические возможности выходят далеко за рамки реального. Подвиги таких героев невысказаны применительно к людям. Кто из смертных был бы в состоянии, как, например, Обьедала, отправить в рот единым махом подводу с хлебом и целую корову? Конечно, подобных человеческих существ нет. Но именно в силу того, что они не вмещаются в рамки реального, великаны из народных сказок или из литературы порождают неожиданные ситуации, которые, в свою очередь, вызывают смех или ужас, как, например, в произведениях гротескового характера.

Существуют великаны, владеющие каким-нибудь магическим даром или предметом, которые помогают им приручать, умирять, даже прекращать действия сил стихии. Но это является прямым эффектом не их физических качеств, а магии или волшебных сил. Вот, например, что делает Микидуцэ в «Сказке о Даниле Препеляке»: «Тогда черт раскорячился одной ногой на запад, другой — на восток, руками за облака ухватился, рот шире ворот разинул, да как гикнет — земля содрогнулась, долины загудели, моря заклокотали и рыба в них вся переполошилась; а из озера повылазило чертей видимо-невидимо. И еще бы чуточку, расколосся бы свод небесный». Хотя грандиозные космические элементы смешаны здесь с комическими (появление встревоженных чертей на поверхности озера), сцена остается величественной.

Данила, несомненно, тоже встревожен, но, взяв себя в руки, тут же обесценивает усилия черта, говоря, что он его не слышит. «Гикнул черт и в третий раз, да так громко, что чуть не надорвался». На этот раз наши ожидания заканчиваются ничем. Здесь мы имеем дело с положением, о котором говорил Кант: резкое разрушение процесса ожидания. Усилия черта становятся смехотворными, когда у него выявляется совершенно человеческая уязвимость («чуть не надорвался»).

Сказка «Данила Препеляк» по своей структуре не допускает сверхъестественности в чистом виде, поэтому во всех усилиях чертей имеется элемент комизма. Великаны на поверку оказываются частично подпорченными, фальшивыми.

Исполины из «Сказки про Белого Арапа» задуманы в ином художественном плане. Они комичны, но ничуть не смехотворны. Например, Жерилэ: «Выглядел страхолодиной: лопухий, губы толстые, отвислые. Когда дул он, верхняя губа заворачивалась за макушку, а нижняя накрывала брюхо. Все, к чему прикасалось его дыхание, вмиг покрывалось инеем толщиной в ладонь. Невозможно было к нему подойти, ибо дрожал он так сильно, что, казалось, сам черт его тряс. И хоть бы дрожал он один, а то ведь вся природа, все твари окрест тряслись с ним в лад: ветер стонал, как безумный, охали деревья в лесу, вопили камни, выл хворост и даже дрова на костре трещали во всю от мороза. В дуплах деревьев прижимались друг к другу белки, дули себе в когти и рыдали в кулак, проклиная час своего рождения. Словом, мороз па весь мир — и все тут. Постоял Белый Арап чуток, поглядел — уже на губах у него сосульки выступили. И не в силах удержаться от смеха, изумленно сказал:

— Чего только не увидит человек за свою жизнь! Ну-ка, адово семя, признавайся, не Жерилэ ли ты? Молчишь? Видать, так оно и есть, коли сам огонь вблизи тебя замерзает, до того ты тепленький».

С формальной или стилистической точки зрения речь идет о персонификации мороза, которому приданы черты живого существа. Но подобное определение было бы слишком упрощенным, недостаточным; персонификация здесь — не простое одушевление натуры, а приведение в действие природы и живых существ средствами комического. Мы смеемся над тем, что этим необычным похолоданием мы обязаны вмешательству Жерилэ. Без него у нас была бы обыкновенная картина зимы, без какого-либо комического элемента. Когда в присутствии этого морозного чудища рот Белого Арапа мгновенно обрастает сосульками, тональность описания становится комической. Но в целом комическое рождается в результате непомерно больших и неожиданных для наших обычных представлений перемен, вызванных ледяным дыханием Жерилэ.

Представляя Флэмынзилэ и Сетилэ, автор приводит своеобразную статистику потребляемых ими продуктов и их сверхъестественные размеры, следовательно, уже комические, так резко они отличаются от общепринятых норм. Сетилэ, например, «выхлебал воду из 24 прудов и одной речки, на которой вертелось полтыщи мельниц, и во все горло кричит, что сохнет от жажды». Поэтому Белый Арап прозвал его «проклятием лягушек».

Известно, что Пэсэри-Лэци-Лунжилэ, или Пэсэрилэ, не является фольклорным созданием, как остальные чудища, а творение самого Крянгэ: «Владел он таким искусством и такой прытью, каких сам черт не вообразит: когда хотел, то раздавался вширь, что всю землю руками охватывал. Или так страшно вытягивался, что рукой доставал до луны, до звезд, до солнца и до чего хотел».

Идея космического гигантизма, видимо, была выношена писателем, поскольку воплощает он ее в собственном творении. Но какими чудовищными ни представлялись бы эти персонажи, они не выглядят ни ужасными, ни уродливыми, ни нелепыми. С помощью комического писатель очеловечивает их, приближает к нам. Герои, не будучи смехотворными, становятся симпатичными, положительными. В них отражены жизненная ясность и добродушие. После того, как они уничтожают огромное количество вин и яств, предоставленных Рыжим царем, Флэмынзилэ и Сетилэ устраивают настоящий спектакль: «Стал тогда Флэмынзилэ орать, что, дескать, пропадает с голоду, начал швырять костями в царских людей. А Сетилэ тоже вопит, что от жажды ему конец приходит, и тоже клепки из днища во все стороны, как полумумный, швыряет». Кидаясь костями и клепками на царском пиру, герои изобличают свою вульгарность, и это могло бы вызвать отвращение, если бы спектакль не имел целью показать, что чудовищам наплевать на заносчивость и высокомерие Рыжего царя, которому, в свою очередь, следует считаться с тем, что они люди из народа и не умеют хитрить, как он, который все отказывается отдать им дочь и предлагает убраться восвояси. Помимо всего, они еще намекают, что ему не хватило вошедшей в поговорку царской щедрости, так как люди покидают пир, не утолив голода и жажды. Если бы эти персонажи были лишены своих гигантских размеров и сохранили бы только свою манеру поведения, то они оказались бы в положении крестьян-шутников, высмеивающих скудность предложенного высокомерным и скупым богачом пира.

Согласно одной эстетической концепции, унаследованной от античности и развитой Возрождением, идеал красоты в искусстве достигается там, где части гармонически подчиняются целому. Однако народное искусство и фольклор порой не считаются с этим правилом гармонии, создавая красоту, лишенную пропорций, или даже чудовищ и уродов, которые, однако, не отталкивают своей уродливостью, а привлекают особым обаянием.

С первого знакомства с сокровищами нашего фольклора принято считать образы Фэт-Фрумаса и Ияны Косынзяны идеалом национальной красоты. Но, странное дело, великий писатель, гениально синтезировавший в своих сказках устное народное искусство, не создал ни одного идеального образа Фэт-Фрумаса. Поэ-

тому, возможно, сказка «Фэт-Фрумос, сын Кобылицы» представляется скорее подражанием фольклору, чем оригинальным созданием. Кое-кто утверждал, что Белый Арап якобы является образом идеальной фольклорной красоты, однако этот герой порой снижается до обыденности и похож скорее на дяденьку Василе, который был силой отдан в солдаты.

Видно, что писатель был не слишком восхищен классическими совершенствами. Он находит красоту и в некрасивости. В Жерилэ, Флэмынзилэ, Сетилэ, Окилэ, Пээрилэ ощущаются угловатые крестьянские образы, физический облик и способности которых комически гиперболизированы. Они и есть мужланы, о которых говорит мош Ион Роатэ, но перенесенные на почву великой комической выдумки. Высшее их качество, которое покоряет нас, это колоссальная жизненность.

V

Сказки Крянгэ отличаются от народных сказок индивидуализацией героев, доведенной до уровня характеров, напряженным драматическим действием, тщательно отобранными деталями, комическим элементом, который встречается именно там, где он неизвестен народным произведениям, разговорным характером, особенностями языка и стиля. Все это анализировалось в различных исследованиях, но не всегда достаточно глубоко. До сих пор, например, не было уделено внимания одному характерному явлению: у каждой сказки Крянгэ своя тональность, отличающая ее от остальных, а внутри каждой можем найти, помимо господствующей фольклорной темы, и мотивы, фольклору не свойственные. Таким образом, если рассматривать девять основных сказок Крянгэ, то они предстают как некая квинтэссенция всей фольклорной сказки с точки зрения этической и эстетической.

Крянгэ обладает редким обаянием рассказчика. Обратимся лишь к началу его сказок, к так называемому зачину, и сразу же поймем, каким великим художником был наш писатель, в творчестве которого нет ни малейшего признака нарочитости, причесанности, вымученности слова. Удивительна способность Крянгэ ограниченным количеством слов не только представить самого героя, но и его человеческую суть: «Сказывают, жил когда-то русский человек по имени Иван. Сызмальства оказался этот русский в армии. Прослужив несколько сроков кряду, состарился он. И начальство, видя, что выполнил он свой воинский долг, отпустило его при всем оружии на все четыре стороны, дав еще два рубля на дорогу». Это описание вызывает поначалу сочувствие к герою, лишенному детства, не знавшему человеческой жизни и уже состарившемуся, затем узнаем, что человек он достойный, что признано даже его начальством, а самым большим вознаграждением, которое он получает, являются не два сиротских рубля и оружие, а право идти «на все четыре стороны», то есть свобода. Это новое положение, в котором оказался отслуживший столько сроков герой, вызывает чувство радости. Любовь к герою, возникающая в начале повествования, сохраняется на протяжении всей сказки.

Такое же сочувствие к судьбе героя вызывают и первые строки «Сказки про Стана, человека бывалого»: «Сызмальства оказался он среди чужих людей, не знал ни отца, ни матери, ни родных, от которых мог бы ждать помощи и защиты». Именно потому, что он с детства терпел нужду и обиды, Стан, как видно дальше, так высоко ценит доброту. У Крянгэ этот герой, возможно, является идеалом нравственной красоты.

Писатель обладает даром представлять своих героев в шутливых тонах, но делает это походя, с таким невинным видом, что порой эта игра почти не ощущается: «Жила-была старуха и было у нее трое высоких, как дубы, сыновей, во всем исправных, но глуповатых». Начало фразы эпически приподнято («высоких, как дубы»), а окончание насмешливое. Мы имеем здесь дело с классической моделью комического образа, который выражается в резком смещении понятий, что вызывает неожиданные перемены («во всем исправных, но глуповатых»). Такое непредвиденно возникающее несоответствие вызывает смех, и мы ждем в дальнейшем, что эти персонажи станут жертвами своей глупости.

Интересна с точки зрения композиции и психологической мотивировки сказка «Коза и трое козлят». Трагедия случая жестокости, Крянгэ не отказывается от своего юмора. Однако здесь нет комических преувеличений, поскольку по природе своей волк является символом крайней жестокости, а козлята — крайнего озорства. Фантастический элемент играет в сказке, как уже говорилось, роль маскировки. Манера поведения и разговора действующих лиц не ограничена только анималистической сферой: она может быть распространена под видом шутиливой параллели и на человеческую жизнь.

Некоторые читатели упрекали в печати нашего писателя за то, что он якобы недостаточно человечен, когда описывает, как волк выставил головы съеденных козлят («морды зубы оскалили, словно смеются») и как «после вымазал стены кровью, чтоб еще больше козе насолить...» Конечно, взыскательные читатели не учли, что это злостное преступление совершил не писатель, а волк, образ крайней жестокости. Следовало ли, спрашивается, в таком случае смягчать жестокость волка и по каким причинам?

Спор вокруг этой сказки датируется не сегодняшним днем. Начался он давно. В семнадцатом веке некоторые читатели во Франции не допускали мысли о том, что козлята должны стать невинными жертвами волка. Во французском фольклоре собрано около тридцати вариантов сказки о козе и козлятах и в большинстве из них волк съедает всех козлят, за исключением младшего, а сам в свою очередь погибает в кипящем котле. Появление фольклорной темы о козе, козлятах и волке имеет историческое объяснение, пишут французские и другие исследователи: «У этих сказок плохой конец потому, что они «функциональны», и их цель в том, чтобы напугать детей, оградить эту «мелюзгу» от опасности, которую представляют вода, огонь, лес, волк и т. д.»¹ Действительно, сила народного воображения всегда вызывает восхищение. Что могло быть лучшим символом шаловливости, озорства, нежели козленок, который забирается на крышу, проникает в огражденные места и т. и. И, естественно, что самую большую опасность представлял для него волк.

Крянгэ отмечает в начале сказки, что «от старшего и среднего житя не было — до того они озорничали». Дикость и жестокость волка не являются поводом для возмущения, поскольку нрав свой он не может изменить. Неугомонность козлят, однако, в какой-то мере возмутительна: будь они послушными, не произошло бы и драмы. Как известно, средний козленок спрятался под квашню, а волк, сожрав старшего и зная, что в доме есть еще козлята, «заглянул туда, заглянул сюда — нет козлят да и только.

— Мэ! Чудеса в решете! Что же мне делать-то? Впрочем, некуда спешить, дома нечего косить! Лучше присяду вон там, отдохнуть дам старым костям...

Кряхтя и охая уселся кум на квашню. Сел, и то ли квашня скрипнула, то ли кум чихнул, но только козленок под квашней не стерпел. Видать, грех его толкал и спина у него чесалась!

— На здоровье, крестенький!

— Ах ты... проказник! Вот где пристроился! Иди, дорогой, к крестенькому, он тебя расцелует!»

Эпизод прекрасен с точки зрения психологической правдоподобности. Если заменить волка и козленка стариком и ребенком, то мы сразу бы увидели, насколько убедительно оправданы действия обоих. Выражение «то ли квашня скрипнула, то ли кум чихнул» это поговорка с намеком. Услыхав треск, козленок забывает об опасности; ему хочется словами «На здоровье, крестенький!» предупредить волка, что он не один в доме и что стыдно вести себя так «шумно». Будь действительно здесь старик, ребенку не избежать трепки.

Выходит, что козленок дерзок помимо воли: естественно, что в такой комической ситуации он не смог удержаться от смеха и от охоты подразнить волка. Но шутка оборачивается трагедией.

¹ Marc Soriadno, La source ouillée de deux failles de La Fontaine: «Revue d'Histoire littéraire de la France», 1970, № 5—6, стр. 845.

Диалог между волком и козой это настоящая психологическая дуэль, с намеками на совершенное преступление, с лицемерными увливаниями волка и угрозами козы, и т. д.

«— Уж теперь говори, не говори — легче не будет. Отправились они, бедняжки, на тот свет, и надо нам об их душе позаботиться. Вот и решила я по своим силам поминки устроить и тебя, куманек, пригласить, чтоб утешил ты меня, бедную...»

— Охотно, кумушка милая, но охотней к тебе бы на свадьбу пришел.

— Верю, куманек, да что поделаешь? Не так делается, как нам хочется, а как судьбе угодно.

Пошла коза, рыдая, к дому, а волк за ней, тоже делает вид, что плачет.

— Ах, куманек, куманек, — всхлипывает коза. — Что нам всего дороже, то и теряем!

— Что делать, кума, знали бы мы, какая беда нас ждет, береглись бы наперед. Но не терзайся так, рано или поздно все там будем».

Утешительные слова волка, такие сочувственные и хорошо подобранные, говорят о высшей степени его притворства и лицемерия. Они смехотворны по своей фальши и тем более оправдывают жестокую казнь, ожидающую его в огненной яме. Таким образом, мы присутствуем в сказке при подлинном торжестве справедливости: наказано преступление и наказано лицемерие, с помощью которого пытаются его сокрыть. Именно потому, что он ничего не подозревает, по иронии судьбы сам попадает в число тех, кого имеет в виду поговорка.

Сказка «Коза и трое козлят», как и другие сказки великого сказочника, завершается торжеством справедливости и правды и удовлетворяет ожидания читателя, столкнувшегося в начале с великой подлостью.

VI

Рассказы Иона Крянгэ «Пять хлебов», «Глупость людская», «Сказка про лентяя», «Лен и сорочка» и «Игла и молот» стали хрестоматийными. В двух последних, как уже отмечалось, писатель прославляет труд, сноровку, смекалку. Таково же содержание и «Пяти хлебов», в котором речь идет о находчивости. Крянгэ ненавидел леность, ничегонеделание, поэтому он совсем не сочувствует лентяю, которого ведут вешать. В такой же степени не любил писатель людей, не желавших думать и понимать суть вещей.

Эта детская литература знакомит нас с тем, как Крянгэ, и не только в своих замечательных сказках, относился к произведениям воспитательного характера, которые должны были дать школьнику поучительные знания и представления о природе и человеке. И мы видим также, что он стремился быть не только понятным, но и выразительным: «— Ну, и запуталась ты, малышка. Еда и жилище — вот что перво-наперво требовалось человеку, а потом, как ты говоришь, красивые одежды. С бельишком твоим кишки марш играют. Не зря сказано: нищета обступает, а голод прет напролом».

Следовательно, помимо других качеств, в этих маленьких новеллах мы находим и шуточный тон рассказчика, потому что он стремится к тому, чтобы литература не только воспитывала, но и развлекала читателя. Дети, читая эти рассказы, не могли не смеяться.

Рассказ «Поп Духу» — это портрет, посвященный Исайи Теодореску, бывшему учителю писателя, человеку некорного духа, который, хотя и был лицом духовным, не очень-то подчинялся церковным канонам. Он бросает вызов духовенству, осуждая его за роскошь, в которой оно живет, за хитростью накопленные богатства и т. д. «Но отец Исайя, не став, по примеру других попов, попрошайничать и драть с живого и мертвого, чтобы на эти деньги расфуфыриться, заявил, что он другого придерживается мнения».

Шедевром повествования, полного остроумия, является новелла «Мош Никифор Коцкарул».

Тонкий и щекотливый сюжет новеллы — любовное приключение возницы мош Никифора и молодой замужней женщины Малки — изложен тактично и деликатно. Писатель не поддается искушению воспользоваться острыми моментами приключения, и поэтому новелла эта — подлинное эстетическое чудо нашей литературы.

О своей новелле Крянгэ писал Т. Майореску: «А я только одно и знаю, что написал длинно, потому как некогда было писать коротко». Формула эта известна в литературе. Не исключено, что о ней говорил ему Еминеску. Но как бы то ни было, мастерство говорить о многом в немногих словах у Крянгэ было врожденным. Новелла оставляет ощущение знакомства с огромным миром, в то время как все ее содержание сводится к небольшой поездке на знаменитой подводе мош Никифора.

Главный герой новеллы словно живет в двух измерениях: одном — реальном, другом — вымышленном: «Мош Никифор — это не выдумка какая-нибудь, не сказка, а человек, как все люди». Но сразу после этих строк следует уточнение: «Примерно в те годы жил мош Никифор в Цуцуенах, дед моего деда играл на волынке на крестинах у мош Дедиу в Вынаторах, а главным крестным был Чубэр-Водэ...» Разумеется, времена Чубэр-Водэ сказочны, лишены исторической точности и служат в какой-то степени лишь для оправдания странного характера возникшего.

Мош Никифор — человек общительный в самом широком смысле, но и довольно язвительный шутник: «Если встречался ему по пути всадник, то он спрашивал: «А далеко ли ты, удалец, государя оставил?» Намек прозрачен: ни конь, ни «удалец» не производили большого впечатления. Такое подтрунивание не что иное, как точная расстановка акцентов.

Мош Никифор знаком с подноготной жизни монашек, у него всегда в запасе много анекдотов о них. Господину Струлу он весело рассказывает историю «матушки Евлампии, Варатикской собирательницы», в надежде, что в отличие от нее молодуха Малка не доставит ему неприятностей. Возничий комично, но сдержанно копирует вкрадчивый голос матушки, которая говорила: «Отцы пустыnnики из святой Агуры велели мне молоко только от одной коровы пить, чтобы скоро не состариться. А как же, что поделаешь? Нам слушаться надо. Потому как их преподобия больше знают, чем мы, грешные!» Напоминая тоном неподдельной невинности про церковный канон и его авторитет, матушка Евлампия, безусловно, сама подсмеивается над правилами монашеской жизни.

Все эти анекдоты не лишены сатирического духа, но писатель приводит их с такой добродушной веселостью и игривостью, что сперва заставляет нас смеяться над монашеским бытием, в котором столько нелепостей. Не разбираясь в церковных канонах, мош Никифор попадает в памятную историю на страстной неделе, когда привозит в город каких-то монашек, а они натываются на протопопу Нямцкого монастыря. Возмущенный тем, что монашки вместо того чтобы молиться, разгуливают по городу, протопоп выговаривает им:

«— Почему не предаетесь благочестию в монастыре и о душе своей не помышляете на страстной неделе?»

— Видишь ли, святой отец, — якобы отвечали они со смирением, — шерсть нас заела, побей ее бог. Не стали бы ездить, но, как твоему священству известно, все-таки шияк нас кормит; и если не густо, то хоть не пусто, а кто шевелится, тот и поживится...

Говорят, будто бедный протопоп вздохнул тогда тяжело и язык прикусил... А вину все на того же мош Никифора свалил, сказав:

— Хоть бы раз и навсегда окошел тот возница, который сюда вас привез. Некому было бы каждый раз вас в город катать».

Двусмысленный ответ монашек, небезопасный и в высшей степени ироничный и вызывающий, достоин мастерства самого Рабле. Их смирение только маска, под которой скрывается язвительный гнев, нежелание, чтобы протопоп заботился об их душах. Известно, что в монашеской среде имели порой хождение шутки, анекдоты, прозрачные намеки по поводу святынь, достойные самого одаренного

пера атеистической литературы. Крянгэ использует эти анекдоты явно в сатирических целях, чтобы разоблачить шаткие основы монашеской морали.

Основными покупателями господина Струла, «торговавшего бакалеей, мазями, пудрой, румянами, краской для волос, железным и медным купоросом, камнем для изготовления крема для лица, лечебными курениями и прочими отравками», были монашки и монахи. Один этот перечень товаров свидетельствует, насколько искаженным был идеал, которому якобы служили они.

Вообще, новелла насыщена ироническими, внешне как будто невинными нападениями на церковников. Когда у подводы сваливается колесо, мош Никифор шутит: «— Бре! Будь оно проклято! Должно быть, сегодня с утра повстречался мне поп или черт знает что!»

Рассказ полон тонкой психологической игры и юмора. Почву для этого предоставляют сами герои, резко отличающиеся друг от друга: мош Никифор, тождественный окружающей среде, стихии, и Малка, принадлежащая другой среде, несколько суженной, потому как ее муж и свекор занимаются мелкой торговлей, которая ограничивает и изолирует их от внешнего мира, как и монашек религия.

О юморе говорится, что он требует благожелательности и равенства по отношению к человеческим слабостям. Юморист не осуждает человеческие грехи, базирясь на фундаменте каких-либо моральных принципов: он рассматривает мир как спектакль, в котором каждому суждено исполнить свою роль комедианта. Один теоретик так определяет юмор: «Юмор — это позиция разума, сложившаяся из доброжелательных размышлений и наблюдений и рассматривающая мир и собственные чувства с точки зрения комического». Несомненно, что не каждый случай и не каждый персонаж могут быть рассмотрены с таких позиций. Можно прийти к плачевным результатам, если строить юмор на явлении трагическом или даже комическом, но отвратительном.

Рассказ Крянгэ не содержит серьезных моральных выводов или тяжелых последствий для его героев. Именно поэтому сюжет так хорошо вписывается в юмористический климат. И в то же время, можно сказать, тема вечна, к ней столько раз обращалась большая литература.

Главный герой новеллы, человек бывалый и тонкий знаток людских характеров, о самого начала задумал воспользоваться чувством страха, характерным для психологии Малки, которая росла в среде, не имевшей по различным историческим или социальным причинам живого контакта с природой. Но это чувство пробуждено в такой мере, чтобы оно не переходило в ужас, а служило лишь поводом для сближения возницы с героиней, ищущей у него защиты.

Рассказывая страшные истории о местах, по которым они проезжают, мош Никифор разыгрывает нечто вроде высшего безразличия, словно он, неизвестно каким чудом, неуязвим, недоступен этим страхам: «Вот уже и лес Грумазештский, где проезду не было купцам и богатым. Эге-ге, хозяйюшка, будь у этого леса язык, много бы он рассказал обо всем, что перевидел на своем веку. Страшный бы вышел рассказ, было бы что послушать!»

— А что же тут было, мош Никифор?

— Оф, хозяйюшка, оф! Что было, не приведи господь! Да разве случалось тут ездить кому-нибудь, и чтоб не ограбили, не избили, не убили? Правда, больше это ночью бывало, чем днем. А меня, чтоб не сглазить, доньне хранил господь. Волки и другие звери попадались, правда, в дороге, только я им зла никогда не делал, не трогал их, притворялся, будто вовсе их не примечая, ну и уходили они восвоеси.

— Ой, мош Никифор, не говорите мне про волков, очень уж страшно!»

Этот невозмутимый и явно комический способ выдумывать ужасы присущ герою, столько перевидавшему за свою ямщицкую жизнь.

Но атмосфера в рассказе не только юмористическая, но и лирическая. Крянгэ стесует по природе, среди которой живет его герои, но дабы не проявить и малейшей сентиментальности, он сдерживает свои лирические порывы. «Да и то сказать, разве дадут кому спать чертовы соловьи? Ты послушай, что вытворяют...

Правда, ихнее теперь время любиться...» И все же эта тональность прекрасно сочетается и с возрастом моша Никифора, и с его естественностью, и с самой ситуацией, тонко намекающей на то, что теперь пора любви.

Рассказ «Мош Никифор Коцкарул» остается в нашей литературе образцом высокого искусства и любви к человеку, несомненно, отражающим одну из черт души народа, его понимание природы и жизни.

VII

«Воспоминания детства» считаются вершиной творчества Иона Крянгэ. Известно, что, работая над этим произведением, писатель порой не мог удержаться от слез. Образы его родных мест и дорогих ему людей были слишком светлыми в сравнении с его тогдашней одинокой жизнью, мучительной болезнью. Но как ни в каком другом его произведении здесь торжествует безоблачность, огромная жизненная сила, которая захватывает, заражает читателя, навсегда запечатлевается в памяти каждым своим эпизодом. Конечно же, восприятие этой книги зависит от возраста читателя: чем старше мы становимся, тем лучше понимаем некоторые вещи, хотя и в какой-то мере утрачиваем свежесть их восприятия. Наряду о жизнерадостностью и добродушием в «Воспоминаниях» сквозит какое-то чувство тоски: это ощущение необратимости времени, владевшее писателем в пору его работы над книгой.

Стремление любой ценой приписать Крянгэ метод критического реализма вынудило некоторых критиков настойчиво искать моменты социального протеста, причем обычно приводились два примера: угон дяденьки Василе в солдаты и рассказ о тяжелой доле лесорубов, труд которых оплачивался мизерно и был связан с опасностью для жизни: «Она со своим отцом уходила в горы, на лесопилку, и за какие-то гроши трудилась там всю неделю, как добрый мужик; и эти два человека с парой волов в зимнюю пору едва могли заработать себе на мамалыгу. Случалось, люди возвращались в субботу ночью, сами искалеченные или с покалеченными волами, — это был их добавочный заработок».

Эти примеры, однако, не дают достаточных оснований говорить о протестующем характере «Воспоминаний» и о их принадлежности к критическому реализму. Связь этого произведения с жизнью народа следует искать в другом.

Писатель прекрасно знает многотрудную жизнь народа. Ему хорошо известно, что хлеб насущный достается тяжелым трудом. Но «Воспоминания детства» задуманы в другом плане. «Давайте же поговорим о детстве, — пишет Крянгэ, — потому что только оно радостно и невинно. Что ребенку до забот, одолевающих его отца и мать, думают ли они с тревогой о завтрашнем дне или над чем другим ломают голову! Ребенок оседлает палку, и верится ему, что сидит он на резвом коне и скачет во всю прыть, погоняя рысака кнутом и сдерживая уздой. Он кричит на него во всю глотку — оглохнуть можно от такого крика. А если свалится наземь — воображает, что это конь его сбросил, и палкой вымещает на нем свой гнев.

Таков был и я в те счастливые годы, и что бы там ни говорили, думается мне, что такими же бывают все дети с тех пор, как существует белый свет».

Пренебрегая этим посылом, мы никогда не сможем верно оценить богатство нюансов этой книги. Крянгэ задался целью раскрыть образ детства, и ему, действительно, удалось создать произведение, которое можно отнести к числу наиболее блистательных творений мировой литературы, посвященных этой счастливой поре жизни. Своим глубоко человеческим звучанием и художественным совершенством «Воспоминания детства» стали произведением мирового значения, переведены на десятки языков.

Эта книга выдержана в характерных для таланта Крянгэ концепции и стиле: для отражения действительности ему всегда требовалась доля сказочности. Ребенок и вправду живет в сказочном мире, не умея порой отличить реальность от воображаемого. И все то же детство заставляет нас смеяться и забывать о неприятностях.

Тональность книги мажорная, оптимистическая. В «Воспоминаниях» жизнь проявляется бурно, оставляя целостное ощущение радости и человеколюбия. Писателя и здесь не покидают присущий ему юмористический настрой, проявляющийся местами безудержно, а также роль строгого судьи дурных нравов. В этой книге, возможно, больше, чем в любом другом произведении, высмеиваются попы, низменные интересы духовенства, жестокие схоластические методы обучения в школе и вообще все, что уродует человеческую мысль и чувство. Смех Крянгэ это «развлечение за счет возможностей человеческой природы, которые, в первую очередь, являются возможностями того, кто смеется, и только затем возможностями других».

С большой любовью изображаются в «Воспоминаниях» народные обычаи, традиции, суеверия, писатель порой демонстративно срывает покровы с предрассудков. Поэтика народной жизни предстает в различной тональности, причем с явным намерением писателя подчеркнуть ее неповторимую красоту в отличие от искусственности быта господствующих классов.

С точки зрения композиционной «Воспоминания детства» предстают как чередование драматических сцен, каждая из которых, в свою очередь, является цельным произведением со своей завязкой, кульминацией и развязкой, раскрывающих природу конфликта и характер героя.

Эпизод кражи черешни занимает немногим более страницы, но, читая его, кажется, что смотришь целое комедийное действо. Хотя все мысли Никэ направлены на то, чтобы оказаться на черешне, он всячески изображает уважение к тетушке Мариоаре: дабы отвлечь ее внимание и сойти за пай-мальчика, он целует у нее руку и удаляется. Но мысли о черешнях донимают его («...И вот я уже на черешне. Набиваю пазуху ягодами — зелеными, спелыми, какие попадают под руку...»).

Со страху он ведет себя суетливо и нерасчетливо. Тетушка же Мариоара знает нрав своего клиента и не снижает бдительности. Ее появление возле дерева с хворостиной в руке и гнев, которым она охвачена («— Вот где, чертенок, ты купаешься! — промолвила она, испепеляя меня взглядом...»), катастрофически ускоряют события. Начинается бешеная гонка по коноплянику: «А эта сумасшедшая тетка Мариоара кидается за мной. Я скачу по конопле, как заяц, а она за мной — в глубь сада до самого плетня. Перепрыгнуть через плетень я не успеваю и снова — юрк в коноплю, и снова — по-заячьи, а она — за мной до забора у овечьего загона, но через него мне тоже не под силу перемахнуть. Вот я опять у плетня, а чертова тетка никак не отстает, хоть голову с нее снимай! И чуть-чуть было меня не поймала. Я — бегом и она — бегом, я бегом — и она бегом, пока не истоптали всю коноплю. Было там, чтобы не соврать, примерно, десять-двенадцать прэжин буйной, густой, как щетка, конопки, от которой теперь и следа не осталось. Обделав это дельце, не знаю уж, как это вышло, — запуталась ли тетка в конопле или споткнулась обо что, — только свалилась она наземь, а я сиганул в сторону и в два прыжка оказался за забором, даже ногой его не задев. А там и след мой простыл. Вернулся я домой и весь день был тише воды, ниже травы».

Конечно, хорошее поведение было нечто вроде взятки, предназначенной для смягчения тяжести совершенного проступка.

Этот марафон на клочке земли с участием столь разных по возрасту и комплекции персонажей становится источником брызжущей комедийности. Невольно вспоминается попытка черта из сказки «Данила Препеляк» бегать наперегонки с зайцем. Комичность сцены становится еще более острой, когда мы воображаем неистовость тетушки, которая в слепом гневе вытоптала всю свою коноплю. Мы смеемся также и над потешной несоразмерностью между причиной и следствием. Несколько уворованных ягод черешни оборачиваются для тетушки Мариоры катастрофой. Хотя она и пострадавшая сторона, симпатий у читателя тетушка не вызывает — она в такой степени не способна сдерживать и контролировать свою ярость, что выглядит человеком исключительно раздражительным и озлобленным. Писателю же этого достаточно, чтобы заставить нас смеяться над столь неприятным в человеческом обществе явлением. Сам же Крянгэ не оправдывает поступка мальчика, хотя он и смешон, факт кражи не проходит бесследно для героя, он испы-

тывает угрызения совести я подлинный стыд, когда думает о том, что будет вынужден в конце концов вновь встретиться со своей родней.

«Воспоминания детства» одушевлены широкой эпической концепцией. Было бы серьезной ошибкой рассматривать это произведение только как отражение действительности, местами оживленное палитрой талантливого мастера. Наряду с изображением исторической действительности, с реальным селом, Крянгэ создал новую эстетическую действительность, в которой человеческие чувства проявляются в более чистом виде, рельефнее и несравнимо сильнее. Хотя в этой книге много проказливых, смешных героев, «Воспоминания» оставляют впечатление о мире идеальном, удивительном, полном очарования и веселья. Над этим миром сияет ясное солнце — охранитель радости и доброты.

В своей книге Крянгэ не отводит себе особого привилегированного места, как это делают другие авторы воспоминаний. Более того, он включает себя в число участников этого огромного карнавала и, когда нужно, смеется над самим собой. В начале третьей главы Крянгэ отмечает: «Было бы не так досадно, — говорит моя совесть, — если бы ты хоть представлял собой что-нибудь, хоть бы знать, откуда ты, а то ведь — этакий комок земли с глазами, кусок одушевленной глины из нашего села, а вот не дает тебе сердце твое молчать, и ты досаждаешь всему свету своей мужичкой болтовней!»

Родной край, хорошо знакомые люди и в широком смысле народная жизнь делают Крянгэ гениальным выразителем и толкователем чаяний и духовной красоты своего народа, которые он нетронутыми пронес сквозь века; раскрытие этих черт на столь высоком эстетическом уровне становится неповторимым свидетельством его человечности. Это свидетельство всегда может быть с гордостью предъявлено другим народам.

Несомненно, что великий писатель стремился дать не только прекрасный в широком художественном смысле образ жизни своего народа, но в то же время и чрезвычайно достоверный. Это стремление сохранить в нетронутости объективный характер произведения видно из такого, возможно, не первостепенного, но все же многозначительного факта. В первых двух главах «Воспоминаний», пока проделки Никэ не отличались от других ребячьих шалостей, он в какой-то степени выглядит как герой на авансцене. В последних же двух главах, в которых Никэ, сын Штефана, обретает характер и способность размышлять, он отодвигается на второй план, предоставляя сцену другим. Словом, писатель всячески избегает любого субъективизма.

Персонажи «Воспоминаний» предстают перед нами во всей своей рельефности и типичности. Среди всех действующих лиц нас в первую очередь интересуют родители, поскольку их жизнь может пролить свет на биографию писателя. Нет сомнения, что Штефан, сын Петря, и Смаранда не просто родители, а обобщенный образ родителей. Их портреты выписаны с высоким мастерством. Смаранда — воплощение трудолюбия и бережливости. «Но матушка готова была день и ночь сидеть за прялкой, только бы я продолжал учиться». Так проявлялось ее чувство к любимому сыну. Штефану, сыну Петри, более трезвому и думающему о всей семье, не очень хотелось, чтобы сын отдалялся от села.

Причины частых размолвок между матерью и отцом выглядят довольно обоснованными. Смаранда смотрит на учение как на социальное положение, подъем на привилегированную ступень. Штефан же, сын Петри, сам того не зная, следует философским взглядам Эпиктета, к которым приходит своим жизненным опытом: «Да замолчи же ты, наконец, баба! Церковь — у человека в душе». Возможно, поэтому он не соблюдал религиозные обряды и каноны, как Смаранда.

Оба эти образа растворяются в атмосфере юмора. Крянгэ старается не подчеркивать свое предпочтение одному из них. Кое-кто сделал вывод, будто писатель был ближе к матери, которая так усердствовала, чтобы он учился. Но это утверждение, не будучи основанным на конкретных фактах, остается не заслуживающей внимания гипотезой. Крянгэ любил своих родителей в одинаковой степени.

Высказывалось среди других и мнение, будто Смаранда, мать писателя, вери-

ла в колдовство. Но для того, чтобы подобное утверждение не выглядело слишком фантастическим, та же критика проявляет великодушие, говоря, что Смаранда лишь частично страдала подобным затмением разума. Все эти выводы сделаны на базе следующего комичного, полного юмора перечисления «чудес», которые добрая мать умела творить: «Солнышко, видно, знало, с кем имеет дело, я ведь был сын своей матери, а уж она-то умела творить чудеса: отгоняла черные тучи от села, отводила град от полей, всадив топор в землю у порога. Умела она и воду замораживать, положив на нее две коровьи ноги, — люди только крестились, глядя на все это. Когда мне случалось ушибить голову, руку или ногу, матушка немедленно колотила землю, стенку или бревно, о которое я ударился, приговаривая: «Вот тебе, вот тебе!» — и боль у меня как рукой снимало. Если завывало в трубе, что, по приметам, предвещает ветер и ненастье, или шипела в печи непрогоревшая головня — знак того, что кто-то говорит о тебе плохо, — матушка бранила головню через дверку и тут же разбивала ее кочергой, чтобы унять клеветника. Мало того, если матушке моей, бывало, почудится, что я спал с лица, она тут же, послонив палец, брала грязь с подошвы или сажу из печки и, приговаривая: «Как не сглазить подошву и вьюшку печную — так не сглазить и детку мою родную» — ставила пальцем знак у меня на лбу, чтобы не потерять свое сокровище».

Все эти приметы и суеверия, представленные с такой комичностью, говорят, что ни писатель, ни его матушка не принимали их всерьез. Они были принятым ритуалом. Некоторые приметы вошли в привычку будучи результатом наблюдений за природой, другие — смешно говорить — существуют и сейчас у многих народов, как, например, «наказание» предмета, о который ударился ребенок. Во всяком случае, такие невинные суеверия бытовали в доме любого крестьянина, и некоторые из них отличаются поэтическим очарованием, как, например, изгнание «сглаза» с помощью сажки. И здесь следует различать ворожбу, опасное социальное явление, и суеверие, являющееся под рукой у каждого чем-то вроде медицины.

Все приключения, через которые проходят в годы детства, описаны с редко встречающимися в литературе веселостью и добродушием. Очень смешон, например, переполох с удадом на ярмарке, где народ собирается, «как на комедию».

«— Ты что же это, дед? Шутки шутить с моим товаром вздумал? Не хотел покупать, нечего было выпускать птицу! Плати сейчас же, не то и телкой своей не откупишься, понял?»

Ярость маленького продавца удадов тут же остывает, как только он узнает, что на ярмарке находится его отец.

Крянгэ постоянно сохраняет объективность, позволяя своему юмору возникать естественно, без какого-либо нажима. Писатель, наконец, заставляет нас смеяться не над тем, о чем он рассказывает, а над тем, как он рассказывает. Событие у Крянгэ происходит в какой-то степени публично, при свидетелях, оценивающих его положительно или шутливо, как, например, в случае с Ошлобану, который купал дрова. Это одна из великолепных комических сцен «Воспоминаний»:

«Выпала однажды Ошлобану очередь покупать дрова. Как ни скуп он был, а пришлось, хочешь не хочешь, выйти на площадь. Неподдалеку от нашего дома встречается ему крестьянин с возом буковых дров — не то из Саски, не то из Баи.

— Сколько просишь за подводу, дядя? — спросил Ошлобану, которому так же хотелось покупать дрова, как мне сейчас идти в попы.

— Три гусаша, бурсак.

— Что ты, дяденька, за такую охачку?! Да я ее зараз на плечах домой снесу!

— Снеси-ка, попробуй, я тогда дрова тебе даром отдам.

— Ей-богу? Не шутишь?

— Какие там шутки, бурсак... Честь тебе и хвала, коли снесешь... будут твои...

Тогда Ошлобану, по одному, по одному, сбросил дрова с подводы, поставил их стоймя, чтобы было сподручней, снял с себя пояс, перевязал дрова, стянул потуже, чтоб не рассыпались, а потом с натугой взвалил их себе на спину и — к дому. Случившийся тут озорник-мальчишка, увидев это, как приметя орать:

Бурсак!
Колпак!
Бе-бе-бе,
Черти в гости к тебе!

А мужик, перекрестясь, так и остался с разинутым ртом, не в силах вымолвить ни слова».

Скупость Ошлобану проявляется в том, как он пренебрежительно оценивает дрова («за такую охачпочку?!»), затем в том, как он хорошенько, аккуратно связывает их, словно заплатил за дрова чистым золотом. Это уже вызывает смех. Озорной мальчишка в качестве зрителя подтверждает гигантизм Ошлобану издевательской по отношению к его сословию песенкой, что еще больше увеличивает комический эффект.

Но в целом эта сцена напоминает похожую ситуацию в сказке «Данила Препе-ляк», где мы видим черта, который, взгромоздив на плечи кобылу, трижды огибает озеро. Фантастическое в «Воспоминаниях» местами мало отличается от фантастического в сказке. Этот укрупненный мир и составляет очарование бессмертных творений Иона Крянгэ.

VIII

Язык Крянгэ постоянно остается предметом исследований, предоставляя исключительно интересные аспекты разговорного или литературного стиля. Его словарь изобилует редкими словами, восклицаниями, междометиями, эллипсисами, повторениями и т. д. Благодаря этому, фраза его очень динамична. Вот пример: «Адова Пятка тогда — прыг внутрь, черти трах! — ворота за Иваном захлопнули, засовы задвинули прочно, радуются не нарадуются, что от Турбинки избавились», «Прыг» и «трах» говорят о поспешности, молниеносности движений, которые психологически оправданы страхом чертей перед Турбинкой. После этого следует прошедшее время, которое использовано для того, чтобы показать на этот раз неторопливость, оправданную уверенностью, что Иван уже не вернется. Последнее предложение, снова динамичное («радуются не нарадуются»), действительно передает это чувство торжества.

Другой стилистический прием с комическим эффектом — противопоставление некоторых вещей, которые в обычном понимании никогда не предстают в указанном порядке. «Помилуйте, в монастыре Нямцу — и чудотворная икона, и сумасшедший дом, и храмовый праздник на Вознесение, и приуроченная к этому дню ярмарка в городе Нямц». Ирония писателя направлена и против монастыря, и против иконы, которую он помещает рядом с сумасшедшим домом и ярмаркой. Подобный прием нередок у Крянгэ и всегда порождает смех.

Насколько Крянгэ блестящ как стилист, можно увидеть в одной из самых простых его фраз: «Видят жена и дети Данилы — буйвол летит по воздуху, и в страхе пустились наутек». Вначале объективно передано движение буйвола, медленное его приближение («летит»), а психологический эффект этого движения взрывчат.

Необыкновенна способность Крянгэ в точности сочетать слово с чувством, которое он хочет выразить.

Творчество великого классика относится к наиболее выдающимся ценностям нашего литературного наследия. Оно остается образцовой вершиной и несравненной эстетической нормой, поучительно для всех, кто ищет прекрасное в искусстве. Своими гуманными идеями, своей человечностью творчество Крянгэ одновременно находится среди великих созданий нашей и мировой литературы.

В. Коробан.

ПРЕДИСЛОВИЕ К МОИМ СКАЗКАМ

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

МНОГО ГЛУПОСТЕЙ, ПОДИ,
НАЧИТАЛСЯ ТЫ НА СВОЕМ ВЕКУ.
ПРОЧИТАЙ, ПОЖАЛУЙСТА, И ЭТИ,
А ЕСЛИ ЧТО НЕ ПОДОЙДЕТ,
ВОЗЬМИ В РУКИ ПЕРО
И ВЫДАЙ НЕЧТО ЛУЧШЕЕ,
ИБО Я ТОЛЬКО ЭТО И СУМЕЛ
И ЭТО И СДЕЛАЛ.

АВТОР



СКАЗКИ



СВЕКРОВЬ С ТРЕМЯ НЕВЕСТКАМИ

Жила-была старуха и было у нее трое высоких, как дубы, сыновей, во всем исправных, но глуповатых.

Немалым было старухино хозяйство: надел рэзешский ¹, дом дедовский со всяким добром и хороший сад с виноградником, и скотинка, и птицы множество. К тому ж накоплено было у нее про черный день серебра изрядно, потому как она за каждую копейку зубами держалась и тряслась над каждым грошиком.

Дабы сыновей своих удержать подле себя, выстроила она рядом с родительским еще два дома: один — справа, другой — слева. И тогда же так она решила: ни сыновей, ни будущих невесток от себя не отпускать и ни о каком разделе, пока смерть к ней не постучится, не помышлять. Сказано — сделано. И сердце ее замирало от радости, как только подумает, какая ждет ее благодать, когда сыночки во всем помогать ей станут, а невестки чтить да холить. И частенько говаривала про себя: «Глаз с невесток не спущу, засажу их за работу, в строгости держать буду, а без мужей ни-ни! — и шагу за порог ступить не дам. Свекровь-то моя, — да будет ей земля пухом! — точно так меня держала. И муженек мой, — царствие ему небесное! — не мог пожаловаться, что я ему неверной была или добро по ветру пускала, хоть порой сомневался и даже до попреков доходило... Но теперь что уж поминать — дело прошлое!»

Все три старухиных сына промышляли извозом и неплохо зарабатывали. Но вот пришла пора старшему жениться. Почувяв это, завертелась старуха волчком в поисках невесты, пять-шесть сел обшарила и еле-еле отыскала по своему вкусу не больно молодую, долговязую да сухопарую, зато работающую да смирную. Сын материной воли не посмел послушаться, сыграли свадьбу, и приняла свекровь, как водится, из рук невестки сорочку, у шеи не разрезанную, а означало это, что свекровь не должна быть сварливой и собачиться по любому поводу.

После свадьбы уехали сыновья по своим делам, невестка же осталась со свекровью. Старуха откладывать не стала и в тот же день к вечеру взялась за невестку. «Новому ситу на гвозде висеть нечего», — рассуждала бабка. «На кой мне голыми руками жар доставать, когда есть кочерга?» Быстренько залезла она на чердак и спустила оттуда колоду с перьями, оставшимися еще от ее покойной свекрови, несколько пучков пеньки да меру-другую проса.

— Вот, невестушка, — говорит, — что я подумала: почему бы тебе не поработать и ночью. Все под рукой: ступа рядом, в кладовой, веретена в корзинке под лежанкой, а прялка за печкой. Надоест перья щипать, возьмешься за просо, а как муж твой с дороги вернется, наготовим плова с копчеными свинными ребрышками и славно попируем. А вот сейчас, пока отдыхаешь, сунь-ка себе за пояс прялку и к утру спряди пряжу, ощирай перья и истолки просо. А я маленько прикорну, потому как после свадь-

¹ Раскрепощенный мелкий землевладелец — крестьянин.

бы вашей каждая косточка у меня ноет. Но знай: сон мой заячий и, кроме этих двух глаз, есть у меня третий на затылке, всегда открытый, и днем и ночью видит он все, что в доме делается. Ты поняла, что я сказала?

— Да, маменька. Только вот поесть бы чего-нибудь.

— Поесть? Для такой молодухи, как ты, хватит луковицы, головки чеснока и куска холодной мамалыги, что лежит на полке... Молоко, брынзу, масло, яйца лучше собрать и отвезти на базар, денегат немного прикупить; в доме-то едок прибавился, того гляди поминки по мне справить не на что будет.

Когда завечерело, улеглась старуха в постель, лицом к стенке, чтоб свет от каганца не мешал, и не преминула еще раз напомнить невестке, что будет за ней присматривать; но сон тут же сморил ее, и ей уж было не до того, чем невестка занимается. Пока свекровь храпела на все лады, покорная невестка моталась по дому: то перья щиплет, то пряжу сучит, то просо толчет и веет. А как только дрема смежит ей веки, она возьмет и умоет лицо холодной водой — как бы свекровь не увидела и не подумала чего. Так промаялась бедняжка за полночь, а к рассвету сморил-таки ее сон, и уснула она, как была, середь перьев, пеньки, веретен с пряжей и просяной шелухи.

Бабка же, завалившись спать вместе с курами, поднялась ни свет ни заря и давай топать и греметь по всему дому, так что бедняжке-невестке, которая только-только задремала, хошь — не хошь пришлось подняться, поцеловать у свекрови руку и показать, что за ночь наработано. Мало-помалу, попривыкла невестка, и старуха выбором своим оставалась довольна. Через несколько дней возвратились сыновья, и молодуха при виде муженька на время позабыла про свои невзгоды.

Вскоре просватала старуха и среднего сына, и невестку выбрала наподобие первой, с той лишь разницей, что была она постарше, косила на один глаз, зато в работе — огонь.

После свадьбы сыновья опять отправились в извоз, а невестки остались дома со свекровью. И так уж повелось: определяет она им работу и, как только завечерет, заваливается спать, а невесткам наказывает не лениться и упаси бог уснуть, потому как она все равно увидит все недреманным своим оком.

Старшая невестка все другой про бдительное око свекрови рассказала, и так они друг дружку усердно подстегивали, что работа прямо-таки кипела в их руках. А свекровь, так та просто благоденствовала.

Однако, как говорится, и добро до худа доводит. Вскоре приходит время и младшему жениться. Очень уж хотелось старухе, чтобы все невестки по одной мерке скроены были, и присмотрела загодя еще одну. Но одно дело прицелиться, другое — попасть. Является в одно прекрасное утро сыночек и приводит в маменькин дом невестку. Хватились бабка за голову, сюда — туда, да деваться некуда, хочешь не хочешь, а свадьбу сыграть пришлось!

После свадьбы опять мужа по своим делам разъезжают, а невестки со свекровью остаются. Старуха, как водится, задает им работу, а как только повечерет, заваливается спать. Стали примечать старшие невестки, что младшенькая от работы уваливает, и говорят ей:

— Ты очень-то не отлынивай, не то маменька нас увидит.

— Как так увидит? Она-то ведь спит. И что это за порядки такие? Нам — работать, а ей — дрыхнуть?

— Ты не гляди, что она храпит, — говорит средняя, — у маменьки на затылке око неусыпное, которым она видит все, что мы делаем. К тому же ты еще не знаешь, кто такая наша маменька, рассола ее не хлебнула.

— Глаз на затылке! И все-то она видит! И рассола ее не хлебала? Вот, кстати, напомнили... Что мы, девоньки, есть будем?

— Кукиш с маслом, милая золовушка. А ежели ты голодна, потрудишься, достань с полки мамалыгу и лук и кушай на здоровье.

— Лук с мамалыгой! В нашей семье такого сроду никто не едал. Разве сала на чердаке нету? Масла нет? Яиц нет?

— Как же не быть, все есть, — отвечают старшие невестки, — только маменькино это.

— А я так считаю: маменькино добро — наше добро, а наше — маменькино. Будет вам, девоньки. Я не шучу. Вы тут знайте трудитесь, а я тем временем приготовлю поесть что-нибудь повкуснее, и тут же вас кликну.

— Да ты в своем уме ли? — ахнули старшие. — Хочешь беду накликать? Старуха нас со двора прогонит.

— Не ваша это забота! А спросит, все на меня валите, я за всех отвечу.

— Ну, разве что так!.. Делай, как знаешь, только нас не впутывай.

— Вот вы, девоньки, и помалкивайте. По мне, чем худой мир, лучше добрая ссора.

И вышла, напевая:

Бедный, глупый человек
Так и маятся весь век.

И часу не прошло, как была испечена гора плацинд, цыплята зарумянены на вертеле и обжарены в масле, сварена мамалыжка, приготовлена брынза со сметаной. Позвала она старших в бордей¹, и все трое сели за стол.

— Ну, девоньки, ешьте на здоровье и благодарите бога, а я вмиг слегаю в погреб и притащу кувшин винца, чтобы эти плацинды веселей пошли у нас.

Поели они и попили вволю и потянуло их, как москаля в кабаке, на песню.

Ой, ты, ягода-свекровь,
Все невесткам портишь кровь.
Хоть ты зрей и хоть не зрей,
С каждым днем ты все кислей.
Зрей ты год и зрей ты два, —
Все польнь да кислота.
Входишь в дом, как гром,
Сядешь в угол, как пугало,
Постоянно ищешь свары.

И они еще ели и пили и песни пели, пока все не уснули. На заре просыпается старуха, а невестки — ищи-свищи. Выбежала она перепуганная на двор, туда заглянула, сюда заглянула, заскочила в бордей — и что же видит? Бедняжечки-невестки поминки по своей свекрови справляют. Пол усеян перьями, повсюду тарелки разбросаны, кувшин из-под вина опрокинутый валяется — светопреставление!

— Это что еще т а к о е! — завопила ошарашенная старуха.

Невестки вскочили как ошпаренные: старшие со страху зубами клещают и глаза от старухи прячут, а виновница взяла да и ответила:

— Что вы, маменька, разве не знаете, что отец мой с матерью нынче

¹ Землянка (здесь — летняя кухня).

приезжали, мы им ужин приготовили, вина поднесли и с ними самую малость угостились. Только-только уехали.

— Значит, сваты видели меня спящей?

— Как же им было не видеть?

— Что же вы, чума вас задави, меня не разбудили?

— Зачем же, маменька, раз вы и так все видите — девчата сказывали. Вот я и решила, что вы на батюшку моего и на матушку серчаете, потому и не встаете. А уж они опечалились — даже ели через силу.

— Ну, мерзавки, погодите, вы у меня еще попляшете!

И с той поры совсем уж не стало невесткам житья. Как вспомнит бабка про тех хохлаток и голошеек, про вино выпитое, про добро, по ветру пущенное, и про то, как сваты видели ее спящей распустехой, так и закипала от злости и поедом ела невесток.

Даже старшим невесткам, на что уж покорные были, невольготу стало от ее языка, а младшая решила, что настала пора рассчитаться со свекровью и старухиным наследством распорядиться, — да так, как никто еще не распорядился.

— Золовушка, — сказала она однажды, когда они были одни на винограднике. — Не будет нам в этом доме житья, пока мы не сделаем так, чтобы навсегда избавиться от старой ведьмы.

— Здорово бы, а как?

— Сделаете, что я скажу, а в остальном положитесь на меня.

— Что мы должны сделать? — спросила старшая.

— Налетим все на нее, тыхватишь ее за космы и трахнешь что есть силы башкой о восточную стенку, а ты таким же манером — о западную, а уж что я над ней сделаю, увидите сами.

— А что будет, когда наши-то мужья возвратятся?

— Вы знать ничего не знаете и ведать не ведаете. Сама с ними поговорю, и все обойдется.

Согласились старшие, и все разом ввалились в дом, хватъ старуху за волосы и ну мутузить ее о стенки, пока голова не треснула. А младшая, самая бедовая, как швырнет старуху на середину избы и давай ногами пинать, душу из нее выколачивать; потом вытянула у нее изо рта язык, иголкой проткнула, солью с перцем присыпала. Язык тут же распух, и бедная старуха слова больше вымолвить не могла. Свалилась она — вот-вот дух испустит. Тогда по совету зачинщицы невестки постелили старухе чистую постель, чтоб вспомнилось ей, как она невестой была, и принялись доставать из ее сундука штуку за штукой холсты, друг дружку подталкивать да говорить о привидениях, поминальных свечах, похоронных дрогах, про денежку, что покойнику в руку кладут, и о прочих страхах, которых одних хватило бы, чтоб несчастная старуха богу душу отдала.

Вот как обернулись надежды свекрови!

Пока все это происходило, послышался скрип воев: возвращались мужья. Жены выбегают встречать и, как велела младшая, прямо от ворот кидаются им на шею и ну целовать, да ласкать и зубы заговаривать.

— А что маменька подельвает? — разом спросили они, начав распрягать волов.

— А, маменька! — поспешила ответить младшая. — Плохи дела у нашей маменьки: как бы, бедняжка, не приказала долго жить.

— Что? — мужья с перепугу выронили притыки.

— Да вот, тому уж дней пять или шесть, как погнала она телят на выгон и, видать, дурным ветром ее, несчастную, продуло... Отняли у нее злые духи язык и ноги...

Кинулись сыновья в дом к материной постели; бедную старуху раздуло, как бочку, и даже слова вымолвить она не может. Сознание однако

полностью она не утратила. Увидев сыновей, слабо шевельнула рукой, показала на старшую невестку и на восточную стенку, на среднюю и на западную стенку и, наконец, на младшую и на пол. Потом с трудом подняла руку ко рту и тут же впала в глубокий обморок.

Сыновья плакали и никак не могли взять в толк, что означают ее знаки. Тогда младшая невестка, притворно рыдая, проговорила сквозь слезы:

— Вы что, не понимаете, чего маменька хочет?

— Н е т , — ответили они.

— Бедная маменька свою предсмертную волю объявляет: чтоб, значит, старший брат взял дом, что на восточной стороне, средний — тот, что на западной, а мы, как самые младшие, чтоб здесь, в родительском доме оставались.

— Это ты, жена, верно сказала , — согласился ее муж.

Остальные тоже возражать не стали, и завещание осталось в силе.

Старуха померла в тот же день, и невестки, распустив волосы, так по ней голосили, что все село гудело. Схоронили ее с большим почетом через два дня, и среди женщин того села и соседних мест только и разговору было, что про свекровь и трех ее невесток. «И в смерти ей повезло, — говорили , — потому как есть кому оплакивать ее».



КОЗА С ТРЕМЯ КОЗЛЯТАМИ

Жила-была коза с тремя козлятами. От старшего и среднего житья не было — до того они своевольными росли, а младший прилежным и послушным удался. Как говорится: пять пальцев на руке, и все разные.

Позвала однажды коза своих козлят и говорит:

— Милые мои детки! Я в лес пойду, вам еду принесу. А вы дверь за мной закройте, друг с дружкой не ссорьтесь и никому, глядите, не отпирайте, пока голоса моего не услышите. Как приду, сразу меня по песенке узнаете. Вот что я вам спою:

Детушки, козлятки,
Отоприте хатку.
Ваша мама пришла,
Молочка принесла,
И еще вам несет
Свежей травки
Полный рот,
Чечевицы
На копытце,
Меж рогов
Пучок цветов,
А под мышкой
Мамалыжку.

Слыхали, что я сказала?

— Да, ма т у ш к а, — ответили козлята.

— Могу ли положиться на вас?

— Будь покойна, ма т у ш к а, — сунулись вперед оба старшие. — Мы ребята хоть куда, что сказали, то свято.

— Если так, дайте расцелую вас! Да хранит вас господь от дурного, прощайте, детушки!

— Добрый путь, ма т у ш к а, — со слезами на глазах ответил м е н ь ш о й, — и да поможет тебе господь поскорее вернуться и нам еды принести.

Пошла коза в лес, а козлята дверь за ней закрыли, засов задвинули. Но, как говорится, стены имеют уши, а окна — глаза. Разбойник-волк — да знаете, какой? тот самый, который козе кумом доводится, — давно уже поджидал случая сцапать козлят. Вот и подслушал он теперь, притаившись за козьей хаткой, как мать-коза детушек своих наставляла.

«Ладно, — подумал о н . — Мое время пришло. Только бы грех их толкнул дверь мне отворить, а там уж будет прок. Мигом с них шкурки сдеру».

Сказано — сделано. Подходит волк к двери, песенку запекает:

Детушки, козлятки,
Отоприте хатку.
Ваша мама пришла,

Молочка принесла,
И еще вам несет
Свежей травки
Полный рот,
Чечевицы
На копытце,
Меж рогов
Пучок цветов,
А под мышкой
Мамалыжку.

Ну-ка, ребятки, быстрее отворяйте! Бегом!

— Братцы! — закричал старший козленок. — Быстрее, матушка нам еды принесла.

— Не отпирайте, братцы, — сказал младший, — а то нам худо придется. Это не матушка. Я по голосу узнаю. У матушки нашей голос не грубый и не хриплый, а приятный и тоненький.

Услыхав такие слова, отправился волк к кузнецу, велел себе зубы отточить, чтобы голос у него стал тоньше, и снова стучится к козлятам в дверь, напевает:

Детушки, козлятки,
Отоприте хатку...

— Слышите! — говорит старший. — И зачем только я вас слушаюсь? Болтаете, что не матушка это. А кто же, как не матушка? Тоже ведь уши и у меня. Пойду отопру.

— Братец! Братец! — снова закричал младший. — Послушай меня. Мало ли кто придет и споет:

Скорее откройте,
Пришла ваша тетя!..

Что ж, вы и тогда отпирать будете! Вы же знаете, что наша тетушка давно умерла и в прах обратилась, бедняжка.

— Ну что, разве не говорил я? — рассердился старший. — Хорошее дело, яйца курицу учат... Станем мы матушку столько времени за дверью держать! Нет, пойду отопру...

Младший тогда проворно юркнул в печную трубу, ногами в шесток уперся, носом в сажу уткнулся, молчит как рыба, дрожит со страху, как лист. Средний тоже — прыг под квашню; съежился, бедняжка, в комок, как мог. Молчит, как земля, с перепугу шерсть на нем дыбом: кто бежит — не герой, зато живой! А старший у двери стоит: отпирать — не отпирать? Наконец решился — отодвинул засов. И кого же он видит? И увидеть-то не успел, бедняжка, потому у волка в животе урчало и глаза с голодухи сверкали. Раз-два, впился зубами волк козленку в горло, сразу голову оторвал и так его живо сглотнул, будто на один зуб ему было. Облизнулся потом смачно и стал по хате шарить, приговаривая:

— То ли почудилось мне, то ли и впрямь я несколько голосов тут слышал? Но что за черт, словно сквозь землю провалились... Где они, где?

Заглянул туда, заглянул сюда, — нет козлят да и только!

— Чудеса в решете! Что же мне делать-то? Впрочем, некуда спешить, дома нечего косить! Лучше присяду вон там, отдохнуть дам старым костям...

Кряхтя и охая, уселся кум на квашню. Сел, и то ли квашня скрипнула, то ли кум чихнул, но только козленок под квашней не стерпел. Видать, грех его толкал и спина у него чесалась!

— На здоровье, крестненький!

— Ах ты... ах, проказник! Вот где ты пристроился? Иди, дорогой, к крестненькому, он тебя расцелует!

Приподнял квашню, вытащил козленка за уши, и только пух пошел от бедняги! Как говорится: каждая пташка на свой лад погибает.

Повертелся, повертелся волк по хате, авось еще что раздобудет, но больше ничего не нашел: младший сидел смирнехонько, молчал как рыба. Видит волк, что нечем больше поживиться, другое задумал: выставил обе головы в окошках — морды зубы оскалили, словно смеются; после вымазал стены кровью, чтоб еще больше козе насолить, и пошел восвояси. Как только убрался разбойник из хаты, младший козленок тут же из трубы выскочил, накрепко засов задвигает. Шерсть стал на себе рвать, горько плачет, по братцам своим убивается:

— Милые братцы мои! Кабы не послушались волка, не съел бы он вас! А бедная матушка и не знает, какая с вами беда стряслась!

Стонет он, причитает, чувств едва не лишился.

Но что тут поделаешь? Не его вина, что вышла братцам их дурь божьей. А пока он стонал да плакал, коза домой спешила, еду козлятам несла, запыхалась. Подошла к хате, а из окон на нее две головы глядят, зубы оскалив.

— Славные детушки мои! Ждут меня, не дождутся, так и смеются мне навстречу:

Милые мои козлятки,
Как люблю я вас, ребятки!

Велика была радость козы. Однако подошла поближе — что такое? Ледяной озноб пробежал по телу, ноги подкосились, помутилось в глазах. Что это? Может, показалось ей только? Подошла она к двери и зовет:

Детушки, козлятки,
Откройте хатку...
Ваша мама пришла,
Молочка принесла,
И еще вам несет
Свежей травки
Полный рот,
Чечевицы
На копытце,
Меж рогов
Пучок цветов,
А под мышкой
Мамалыжку.

На ее голос выскочил меньшей — теперь уже был он и старшим и младшим, — дверь распахнул, бросился матушке в объятия, залился горькими слезами:

— Матушка, матушка! Беда с нами стряслась! Хуже пожара, хуже потопа!

Повела коза глазами по хате, ужас и трепет охватили ее. А потом овладела собой и спросила:

— Что же случилось, детка?

— А вот что, матушка. Как ушла ты из дому, спустя немного слышим, как кто-то в дверь стучит и поет:

Детушки, козлятки,
Откройте хатку...

— А дальше что?

— Старший братец, по глупости и упрямству, сразу побежал отпираться.

— И что же тогда?

— Тогда я живо в трубу залез, средний братец под квашней спрятался, а старший, не долго думая, засов отодвинул.

— И тогда?

— Тогда-то беда и стряслась. Волк, наш крестный и твой кум, забежал в хату!

— Кто? Мой кум! Да ведь он шерстью своей поклялся, что детушек моих не тронет!

— Да, матушка, он! Крепко злодей их тронул!

— Так я ж его прочу! Он думает, если у бедной вдовы полон дом детей, то можно над нею глумиться? С ребяток шкуры сдирать? Нет, не уйти ему от расплаты! Ах, он злодей, ах, разбойник! А еще зубы скалил, ухмылялся мне... Но только не из тех я, что он думает, отроду через плетни не скакала. Ну, да уж ладно, куманек, я с тобой посчитаюсь! В мой плуг своих волов вздумал впрягать! Знай же, что без рогов их выпряжешь!

— Ох, матушка, ох! Лучше уж молчи, ну его к бесу! Знаешь ведь поговорку: и черта видеть не хочу, и креста мне не надо.

— Нет, нет, сыночек: пока до бога дойдешь, святые одолеют. Вот тебе мое слово, сынок: не сдобровать злодею! Только смотри, не проговоришься кому, чтобы он не проведал.

С той поры искала она только случая, чтоб с кумом расквитаться. Думает, думает — придумать не может, как отомстить.

— Кажется, нашла на него управу, — сказала она наконец. — Такое ему устрою, что лапы себе кусать будет.

Была перед ее хатой яма глубокая. На нее-то и возложила свои надежды коза.

— В дубильный чан тебя, куманек-волк, вот куда!.. Скоро расплавиваться будешь. А тебе, кумушка-коза, за дело пора приниматься, задал тебе куманек-волк работу!

С этими словами подоткнула она подол, рукава засучила, огонь развела и давай стряпать. Наготовила голубцов, пилава, пирогов, куличей на сметане и яйцах и всяких других блюд: яму потом угольями горящими и гнилушками наполнила, чтоб тлел под спудом огонь, ветками крестнакрест накрыла, сверху листьев набросала, а на листья землю посыпала и рогожкой прикрыла. И еще стульчик восковой смастерила для куманька, дорогого гостя.

Оставила она стряпню на огне, а сама в лес подалась волка на праздник звать. Идет по лесу, идет, возле оврага волк ей навстречу выходит:

— День добрый, кума, каким тебя ветром сюда занесло?

— Да будет добрым сердце твое, как добр твой взгляд. Что, разве не знаешь, что ветер заносит, куда душа не просит? Побывал, видишь ли, кто-то в моем дому, натворил мне бед!

— А что, кумушка милая?

— Козляток одних застал и растерзал бедняжек! Таково-то быть вдовой беззащитной!

— Да что ты, кума, говоришь?!

— Уж теперь говори, не говори — легче не будет. Отправились они, бедняжки, на тот свет, а надо нам об их душе позаботиться. Вот и решила я по силам поминки устроить и тебя, куманек, пригласить, чтоб утешил ты меня, бедную...

— Охотно, кумушка милая, но охотней к тебе бы на свадьбу пришел.

— Верю, куманек, да что поделаешь? Не так оно делается, как нам хочется, а как судьбе угодно.

Пошла коза, рыдая, к дому, а волк — за ней, тоже делает вид, что плачет.

— Ах, куманек, куманек, — всхлипывает коза. — Что нам всего дороже, то и теряем!

— Что делать, кума, знали бы мы, какая беда нас ждет, береглись бы наперед. Но не терзайся так, рано или поздно все там будем.

— Так-то так, куманек. Но ведь бедным крошкам моим только бы жить да жить!

— Да, кумушка милая, но, видать, тому, кто их прибрал, тоже молоденькие по вкусу.

— Если бы сам господь их к себе прибрал, дело другое... Но так ли это?

— Знаешь, кума, как подумаю... уж не Топтыгин ли к тебе домой пожаловал? Помнится, повстречал как-то я его в малинике. Вот, говорит, кабы отдала мне коза сыночка скорняжному делу обучать...

Слово за слово, добрались они до кумушкиной хаты.

— Прошу, куманек, — говорит коза, а сама на рогожку восковой стульчик ставит. — Садись, угощайся, чем бог послал!

И пододвинула ему полную миску голубцов.

Накинулся жадно волк на голубцы. Чав-чав! целиком отправляет их в глотку.

— Господи, помилуй покойничков, уж больно, кумушка, твои голубцы хороши!

Сказал — и бух прямо в яму с горящими угольями: стульчик-то восковой расплавился, а веточки на одном честном слове держались, как раз сколько для дорогого гостя требовалось.

— А ну-ка! Теперь отдавай, волк, что съел! С козой тягаться вздумал? Коза тебя и доконает!

— Ой, кума, ой, горят мои пятки! Скорее вверх тяни, душа горит!

— Нет, куманек! Тоже во мне ведь душа горела, когда козлятки мои погибли! Господу богу, говоришь, самые молоденькие по вкусу; а мне по вкусу и те, что постарше, были бы только хорошо прожарены. Знаешь, чтобы насквозь огонек пронял.

— Ой, горю, погибаю, кума! Спасай!

— Что ж, гори, куманек, погибай! От тебя и от живого добра не ждешься! Пускай же горит на тебе шерсть, которой ты клялся, что детишек моих не тронешь! Помнишь, как клялся, зверюга лютый?! А сам сожрал козляток моих!

— Ой, жжет, горит все нутро во мне, кума! Вытащи, смилуйся надо мной!

— Смерть за смерть, куманек, ожог за ожог! Ведь ишь ты, словечко какое из святого писания подпустил!

Схватили коза с козленком по охапке сена и в яму на волка бросили. Потом стали камни в него швырять и что под руку попадалось, пока не прикончили. Так-то лишилась коза двух козляток своих, зато и волка, кума своего, утратила! Не велика утрата!

Услыхали все козы в округе про такое дело, возрадовалось у них сердце! Сошлись они все на большой пир, стали есть да пить, и такое у них веселье пошло, что и не описать...

И я там был, а как время подошло, сел верхом на седло и поведал все, как произошло; потом колесо оседлал, сказочку вам рассказал; а под конец оседлал чечевицу и понес, люди добрые, небылицу.

КОШЕЛЕК С ДВУМЯ ДЕНЕЖКАМИ

Жили-были дед и баба. Была у бабы курица, а у деда петух. Курица каждый день по два яйца несла. Старуха ими сыта была, а деда хоть бы одним попотчевала! Терпел, терпел дед, да и говорит:

— Слушай, баба, у тебя что ни день, то масленица. Дай-ка ты мне парочку-другую яичек, очень уж мне охота яишенки поесть!

А старуха скупа была.

— Как бы не т а к ! — говорит. — Хочешь яичек, возьми да побей петуха, пусть яйца несет, тогда и ешь себе досыта. Я-то свою курицу побила, так она вишь как несется!

А старик уж больно разлакомился. По бабиному наущению, тут же поймал петуха и давай его колотить.

— Л и б о , — говорит, — яйца неси, либо убирайся вон из хаты. Нечего даром хлеб есть.

А петух как вырвется у деда из рук, как выскочит из хаты и побежал по дороге, куда глаза глядят. Шел он, шел, вдруг видит — кошелек с двумя денежками. Подхватил он его клювом и поворотил назад к дедовой хате. Глядь — навстречу ему катит в коляске боярин с какими-то ба-рынями. Боярин так и вонзился глазами в петуха, увидал кошелек и говорит кучеру:

— Ну-ка слезь, посмотри, что там у этого петуха!

Кучер живо с козел соскочил, изловчился, поймал петуха, отобрал кошелек и подал боярину. Боярин взял его, недолго думая положил в карман и поехал дальше. Обидно стало петуху, бежит он за коляской, не отступается и кричит без умолку:

Эй, вы, бояре! Кукареку!
Отдайте две денежки петуху!

Боярин разозлился и, когда проезжали мимо колодца, говорит кучеру:

— А ну, возьми-ка этого нахала петуха да брось в колодец.

Кучер немедля соскочил с козел, поймал петуха и швырнул его в колодец. Видит петух — пришла беда! Что тут делать? Давай воду пить! Пил, пил — пока всю воду в колодце не выпил. Потом вылетел наружу, снова за коляской гонится, кричит:

Эй, вы, бояре! Кукареку!
Отдайте две денежки петуху!

Видя это, боярин очень удивился и говорит:

— Ах ты, чертов петух! Вот задам я тебе жару! Ишь ты, щеголь хохлатый да хвостатый! — И когда приехал домой, велел кухарке изловить петуха, бросить в печь, полную горячих углей, а заслонку камнем привалить. Кухарка, ведьма этакая, сделала, как хозяин велел. Видит петух —

новая беда! Начал он колодезную воду отрыгать, пока весь жар не залил. Огонь погас, а печь остыла. А петух полную кухню воды напрудил, так что старая карга совсем осатанела. Тут петух как хватил по заслонке, вышиб ее и выскочил из печи цел и невредим. Подлетел он к боярскому окошку, застучал клювом в стекло и закричал:

Эй, вы, бояре! Кукареку!
Отдайте две денежки петуху!

— Вот нажил я себе беду с этим проклятым петухом, — сказал боярин, еще больше удивившись. — Эй, кучер! Унеси ты мое горе! Брось ты петуха в стадо. Авось какой-нибудь бешеный бык с ним разделается, подымет его на рога, — избавлюсь от этой напасти.

Кучер тут же петуха схватил да и швырнул в середину стада. А петух тому и рад: давай глотать быков, волов и телят, пока все стадо не поглотал. Раздулся он, стал ростом с гору. Подступил опять к боярскому окну, растопырил крылья — солнце заслонил, темно стало. И начал свое:

Эй, вы, бояре! Кукареку!
Отдайте две денежки петуху!

Увидел боярин такое чудище, чуть не лопнул со страху, не знает, что и делать, как спастись от петуха.

Думал, думал и придумал наконец:

«Посажу-ка я его в подвал с казной, начнет он червонцы глотать, авось какой-нибудь золотой ему поперек горла станет, он и подавится. Вот я от него и отделаюсь».

Сказано — сделано: взял петуха за крылья и бросил его в подвал с деньгами. А деньжищ у этого боярина столько было, что он им и счету не знал. Бросился петух червонцы клевать — все до одного склевал. Потом выбрался из подвала (как — про то ему знать!) да опять к боярину под окно. И завел свое:

Эй, вы, бояре! Кукареку!
Отдайте две денежки петуху!

Тут уж видит боярин — делать нечего, и кинул ему кошелек. Поднял его петух и пошел своей дорогой, а боярина на радостях оставил в покое. Как увидела домашняя птица на боярском дворе такую храбрость петушину, вся, сколько было, за ним следом двинулась — что твоя свадьба! Приуныл боярин, глядя, как петух всю его птицу со двора сводит.

— Ну ладно, — говорит, — ступай себе, проваливай! Еще я дешево отделался от этакой беды. Тут, видать, дело было нечисто!..

А петух идет себе гордо, и вся птица за ним. Шел он, шел, пока не дошел до дедовой хаты, и запел у ворот:

Кукареку! Кукареку!

Дед, как услышал петушиный голос, обрадовался, вышел из хаты. Смотрит за ворота — диву дается. На петуха глянуть страшно: против него и слон — блоха! А следом за ним стая птиц несметная, одна другой красивее, одна другой хохлатее да пышнее. Увидел дед, что петух такой здоровенный да еще вокруг него такая куча птицы, и кинулся ворота отворять. А петух говорит:

— Расстели-ка ты, хозяин, рядно вот тут посреди двора.

Бросился старик опрометью — разостлал рядно.

Стал петух на рядно и изо всей силы крыльями захлопал. И сразу

двор наполнился всякой скотиной и птицей, а на рядно петух целую кучу золота вывалил — так и горит на солнце, глазам больно! Увидал дед все это богатство — не знает, что делать от радости, целует-милует петуха.

Тут, откуда ни возьмись, — баба. Увидала она такое, и глаза у нее загорелись, от зависти чуть не лопаются.

— Дед, а дед, — а сама робеет, — дал бы и мне червончиков.

— Держи карман! Ты мне что сказала, когда я у тебя яиц просил? Побей теперь ты свою курицу, чтоб червонцев тебе принесла. Я побил своего петуха, зачем — сама знаешь... И вот что он мне дал.

Пошла баба в курятник, поймала курицу, ухватила ее за хвост и давай бить, кто бы увидел — заплакал! Вырвалась бедняжка у бабы из рук и побежала по дороге. Вот шла она, шла, нашла стеклянную бусинку и проглотила. Потом скорей поворотила домой, к бабе, и закудахтала от ворот: «Куд-куд-куд-куд-кудах!» Баба обрадовалась, вышла курице навстречу. А курица — прыг в ворота, да мимо бабы, да скорей на гнездо! Часу не посидела, соскочила с гнезда и кудахчет. Баба кинулась смотреть — что там курица снесла? Глянула — и что же видит? Курица снесла стеклянную бусинку. Поняла баба — посмеялась над ней курица, — и давай ее бить. Била, била, пока до смерти не убила.

Так и осталась жадная дура-баба ни с чем. Пришлось зубы на полку положить. Поделом ей, а то мучила курицу, ни за что, ни про что убила горемычную!

А дед разбогател: поставил хату большую, сад развел красивый, живет — горя не знает. А бабу из милости в птичницы взял. И с тех пор дед петуха всюду за собой возил наряженного: золотое монисто на шее, желтые сапожки со шпорами, ни дать, ни взять — царь Ирод из балагана, на ярмарке, а не петух, что в борщ кладут.



ДАНИЛА ПРЕПЕЛЯК

Жили когда-то в одном селе два брата, оба женатые. Старший работящий, бережливый и удачливый: за что ни возьмется, господь ему от себя добавляет. А вот детей у него не было. Младший же был бедняком. Не раз уходил он от удачи, а удача от него, потому как ленив был, смекалки ни на грош, в делах нерасторопен; к тому же была у него куча детей. Жена же у бедного брата была трудолюбивая и сердечная, а у богатого — ведьма-ведьмой и страсть какая скупая. Старая истина: под каждой крышей свои мыши.

Бедный брат — был бы он лучше грехами беден! — имел все же пару волов, да еще каких: масти сизой, молодых, рослых, круторогих, белохвостых, во лбу звездочки, кряжистых и упитанных как нельзя лучше — хоть в повозку запрягай, хоть в плуг, хоть на люди показывайся.

А ни плуга, ни бороны, ни повозки, ни саней, ни ярма, ни косы, ни вил, ни крюка, ни граблей и вообще никаких нужных в хозяйстве вещей не было в доме этого незадачливого человека. И всякий раз, когда нужда припирала его, кланчил он у других, особливо у брата своего, у которого всего было вдосталь. А жена богатого плешь мужу проедала, чтоб раз навсегда отвалил он своего братца, и не уставая повторяла:

— Брат — не брат, а денежки врозь, муженек.

— Так-то оно так, жена, но и кровь не водица. Коли не я, кто же ему еще поможет?

Жена, которой крыть было нечем, молча глотала обиду и злилась. И все бы ничего, кабы повозку чаще дома видела. Бывало, и два-три дня но пройдет, как деверь ее Данила опять стучится, повозку одолжить просит: то дров из лесу привезти, то муку с мельницы, то копны с луга, то еще чего придумает.

— Мэй, братец, — сказал ему однажды старший, — осточертело мне родство наше. Волы у тебя есть, чего бы не справить и повозку? Мою ты совсем заездил. Трень-брень, туда-сюда — разваливается повозка. Как говорится: продай поп шпоры, а кобылу пятками погоняй.

— Оно-то так, братец, — отвечает ему тот, почесывая затылок, — да что поделаешь!

— Что поделаешь? Вот я тебя научу: волы твои большие и красивые; отведи их на ярмарку, продай, выбери себе пару поменьше и подешевле, а на остаток повозку купи — вот ты и станешь хозяином.

— А знаешь, научил ты меня нехудо. Так и сделаю.

Сказав это, поспешил он домой, взял волов за налыгач и пустился с ними в город. Но как уж сказано, приятель наш был из тех, кто ворон в небе считает и ложку к уху подносит, любое дело выходило у него шиворот-навыворот. А до города далековато и ярмарка уже к концу подходит. Но разве кто переубедит Данилу Препеляка?¹ Потому-то его и Пре-

¹ Препеляк (молд.) — суковатый столб, на котором развешивают для просушки горшки и крынки.

пеляком прозвали, что один только им обтесанный столб и красовался на дворе.

Нахлобучил, значит, он кушму, на голову, натянул по самые уши, и море по колено:

Хоть Никита, хоть Настас —
Начихал на всех на вас.

Идет он, все идет с Думаном и Телэшманом¹ на ярмарку, и только стал подниматься по долгому пологому холму, как навстречу ему из города другой человек и тащит на себе новую повозку, только-только купленную; с горы осаживает, в гору толкает.

— Погоди, приятель, — говорит Данила, удерживая волов, которые так и рвались с веревки к сочной и высокой гречихе, что росла при дороге. — Погоди чуток со своей повозкой, я тебе чего скажу.

— Я б погодил, да ей вот не терпится. А что ты сказать хочешь?

— Повозка твоя вроде сама катится.

— Вроде сама... Разве не видишь?

— Знаешь что, приятель?

— Узнаю, если скажешь.

— Давай меняться: ты мне повозку, я тебе волов. С ними у меня одна морока — то сена запасы, то загон поставь, то беспокойся, как бы волки не задрали, и бог весть что еще... А с повозкой уж как-нибудь справлюсь, ежели она такая, что сама едет.

— Шутишь, человек, или взаправду?

— Нисколечко не шу чу, — сказал Данила.

— Однако, как погляжу, парень ты не промах, — говорит хозяин повозки. — Везет же тебе: сегодня я в добром настроении. Дай бог счастья! Удачи тебе с повозкой, а мне с волами!

Отдал он повозку, взял волов и пошел-пошел косогором к лесу, только его и видели, а Данила думает про себя: «Спокойно, ведь не дурак же он, хоть и здорово я его подковал. Только бы он не передумал. Нет, не похож он на цыгана, не передумает».

Берет он повозку и пускается под гору, назад к дому.

— Тпру, дурная повозка, тпру! Вот как навалю на тебя мешки на мельнице или сена на лугу, тогда и катись себе!

А повозка знай свое — катит вниз, вот-вот его самого обгонит. Но вот спуск кончился, и дорога пошла на подъем. А как на гору загнать ее, — попробуй, кто может!.. Тырк — туда! Тырк — сюда! Ух — туда! Бух — сюда! — а повозка все норовит обратно.

— Вот тебе на! Повозка тебе понадобилась — вот тебе и повозка.

С большим трудом свернул он с дороги, подпер повозку, чтоб дальше не катилась, присел на дышло и задумался.

— Мэй! Ну и влип же я! Ежели Данила Препеляк это я, то пропали мои волы, а ежели нет, значит повозку я нашел... Препеляк — не Препеляк, я или не я...

Вдруг он видит — человек козу на ярмарку продавать гонит.

— Эй, приятель, — говорит Данила, — не сменяешь ли козу на эту повозку?

— Да, видишь ли, коза-то моя не из каких-нибудь там прыгучих, к тому ж она хорошо доится.

— Доится — не доится! Чего там переливать из пустого в порожнее! Вот тебе повозка, отдавай козу.

Тот, конечно, противиться не стал — отдает козу, берет повозку, потом подождал, пока надъехали другие везы, привязал повозку и отпра-

¹ Клички волов.

вился восвояси. Данила же, рот разинув, глядел ему вслед.

— Ладно, — говорит Препеляк, — этого с козой-то я уж наверняка здорово околпачил.

Берет он козу и опять пускается в город. А коза, она коза и есть, — веревку дергает, все норовит из рук вырваться, извела его вконец.

«Хоть бы поскорей до ярмарки добраться, думает Препеляк, избавиться от этой ракалии». И так размышляя, повстречал он человека, несшего под мышкой гуся с базара.

— Почет и уважение, добрый человек! — говорит Данила.

— Дай бог здоровья!

— А не обменяться ли нам? Я тебе козу, ты мне гусыню.

— Вот и не угадал, не гусыня это, а гусак, я его на развод купил.

— Давай его сюда, давай, и я тебе доброе семя даю...

— Дашь что в придачу, может, и отдам; а не дашь, — значит, повезло моим гусыням: как пойдет гусак топтать, только держись. Слово за слово, один прибавит, другой уступит, просватал, наконец, Препеляк козу. Хватает гусака и топает дальше в город, а как добрался до ярмарки, гусак его, надежда всех гусынь, принялся орать во все горло: га-га-га-га!

«Оглохнуть можно. Сейчас я и тебя, горлопана, просватаю».

Тут увидел он человека, торговавшего кошелями. Отдает ему гусака за кошель с длинными ляжками, что на шею вешают, когда подавния собирают. Взял, значит, он кошель, покрутил, повертел его в руках и говорит:

— Продал с барышом, а иду нагишом. Была пара волов, любо-дорого глядеть, а остался с пустым кошелем. Мэй-мэй-мэй-мэй! И не впервой-то я в дорогу пускаюсь. А нынче прямо дьявол попутал, не иначе.

Побродил он еще сколько-то времени по ярмарке, рот поразевал и домой поплелся. Как добрался до своего села, сразу же к брату с радостной вестью:

— Здравствуй, братец!

— С возвращением тебя. Что-то долго ты на ярмарке пропадал.

— Да уж так: быстро шел, но не скоро дошел.

— Ну, а с ярмарки какие вести несешь?

— Не бог весть какие. Пропали мои бычки.

— Неужто звери загрызли или увел кто?

— Какой там! Своей же рукой загубил их, братец.

И рассказал ему все по порядку, где был и что с ним приключилось, а под конец говорит:

— Словом, что теперь толковать — была пара волов, а остался один кошель, да и в том, дорогой братец, ветер свищет.

— Ну и остолоп же ты, по правде говоря!

— Твоя правда, братец, но что было, то было, теперь уж я ума набрался... Только польза какая?

Много ума,
Да пуста сума,
Есть брынзы кусок,
а дыряв роток.

— Вот даю тебе этот кошелек, мне он ни к чему, и господом богом прошу, одолжи еще раз повозку и волов жене и детям дров привезти из лесу, а то у них, у бедняжек, даже огонька в печи нет. Потом, уж как бог даст, а тебя, думаю, больше не потревожу.

— Тьфу, черт побори! — сказал брат, выслушав его до конца. — Видать, бог населил землю чем под руку попало. Даю тебе подводу, но уж будет это в наипоследний раз.

Даниле только этого и надо было. Взял братову подводку и отправился. Приехал в лес, приглядел дерево побольше, подогнал к нему подводку и, не распрягая волов, принялся рубить дерево, чтобы оно прямо в подводку и свалилось. Препеляковы штучки! Рубит он рубит, дерево т р а х ! — повозка в щепы, волю — насмерть.

— Ну вот, и братцу своему удружил! Ай-ай-ай, а теперь-то что делать?.. Я так думаю — что хорошо, то не плохо: Данила натворил, Даниле и расхлебывать. Пойду, попробую, может, уговорю брата одолжить мне еще и кобылу, чтоб удрать с ней куда глаза глядят, а о жене и детях господь бог позаботится.

Сказано — сделано. Отправился он и, все идя лесом, заблудился. Долго плутал, не находя дороги, пока наконец не набрел на какое-то озеро и, увидев на воде лысух, ш в ы р ! — запустил в них топором — хоть одну подбить и отнести в дар брату... А лысухи тоже не слепые и не дохлые — вмиг разлетелись, топор на дно, а Препеляк опять остался с носом.

«Ох, и не везет мне сегодня, ну и денек! Видать, беда за мной по пятам ходит».

Пожал он плечами и отправился дальше. Шел он, сколько шел, пока наконец с трудом великим выбрался на дорогу и припустил что было мочи. Пришел в село к брату и, не сходя с места, такую окоlesiцу понес — уши вьнут.

— Сделай доброе дело, братец, дай еще и кобылу, верхом быков погонять. В лесу ливень прошел и теперь грязь такая и гололед — на ногах не устоишь.

— Ну и н у ! — сказал б р а т . — Тебе б в монахи пойти, а не в миру жить, всем досаждают, жену и детей мучить! Сгинь! Исчезни с глаз моих и ступай, куда глухой колесо катил, а немой кобылу гнал, чтоб имени твоего я больше не слышал!

Кобылу! Положись на Данилу, уж он-то знает, куда ее погонит — перед волами извиниться и с повозкой проститься.

Вышел во двор, обратал кобылу, прихватил топор и как рванет... Когда брат проснулся, кобылу поминай как звали. А Препеляк уже добрался до того лесного озера, топор свой ищет. Тут припомнились братнины слова, что ему, дескать, только монахом и быть.

— Поставлю-ка я на этой полянке монастырь, да такой, чтоб по всему свету весть пошла, — говорит он.

И тут же взялся за дело. Сперва крест смастерил и вогнал его в землю — место отметить. Потом пошел по лесу и принялся нужные деревья подбирать: одно на стойку, другое на опору, это на стропила, то на сваи, это на балки, то на клепала. И все так про себя бормотал, покуда не столкнулся нос к носу с вылезшим из озера чертом.

— Ты что тут делать собираешься, человеке?

— Разве сам не видишь?

— Брось дурака валять! Озеро, лес и все вокруг — наше.

— Может, скажешь, и те утки на воде ваши, и топор мой на дне озера — тоже ваш? Вот научу я вас, семя рогатое, как на чужое добро зариться!

Видит черт, что делать нечего, бултых в омут и прямехонько к Скараоскому: «Человек-то, мол, божий, а нрав у него — дьявольский».

Что чертям делать? Держат они промеж себя совет, и Скараоский, самый главный черт, решает отправить одного из своих с бурдюком, полным денег, чтоб отшельник Данила поскорей оттуда выметался.

— Бери, парень, деньги, — сказал черт-посыльный, — и проваливай, не то худо будет.

Препеляк посмотрел на крест, посмотрел на черта, на деньги, пожал плечами и молвил:

— Ваше счастье, поганое племя, что деньги мне милей отшельничества, не то показал бы я вам!

А черт ему в ответ:

— Не тягайся, человеке, с самим владыкой ада, бери лучше денежки и не суй нос в чужие дела.

Оставляет он ему деньги и возвращается в свой омут, а там Скараоский рвет и мечет: такое богатство потерял, сколько душ на него купить можно.

Тем временем Препеляк прикидывал, как бы ему поскорей эти деньги дома у себя увидеть.

— Ладно, — говорит Данила, — такие деньги на дороге не валяются. Значит, монастыри строить надо, если хочешь, чтоб тебя заметили черти, денежки прямо к ногам притащили и богачом сделали.

Пока он раздумывал, как уволочь деньги домой, вылезает из озера другой черт, предстает перед ним и говорит:

— Мэй, человеке! Передумал мой господин, желает, чтоб сперва мы силами померялись, а потом уж деньги возьмешь.

«Вот так-так», — подумал Препеляк и вздохнул.

Но, как говорится, богатый умом тороватый, а молодой — хорош собой. А уж ума-разума Даниле не занимать стать.

— Помериться силами? А как именно?

— А вот как: перво-наперво, кто из нас двоих твою кобылу на спину взвалит и трижды обежит озеро без передыху, на землю ее не спуская, тому и деньги достанутся.

Молвив это, взваливает черт кобылу на спину и мигом трижды обегает озеро. Чертова силища не очень-то пришлась Препеляку по вкусу. Но он все же взял себя в руки и сказал:

— Ну, Микидуцэ!¹ А я-то думал, ты покрепче будешь. Кобылу ты на спину взвалил, так? А я ее всего лишь меж ног держать буду. — И тут же вскакивает на кобылу и без передыху трижды огибает озеро.

Подивился черт такому, но крыть нечем. Другое придумать надо.

— А теперь давай наперегонки, — сказал он.

— Ох, Микидуцэ, Микидуцэ, это со мной ты вздумал наперегонки бежать?

— А с кем же еще?

— Иди-ка сюда, покажу тебе, с кем.

Повел он черта в кустарник, под которым спал заяц.

— Видишь там маленького такого, свернулся в клубок и спит?

— Вижу.

— Так это мой младший сын. Ну, держись! Я разбужу его, а ты догоняй. — И как завопит: — Ату его! Держи!

Заяц как припустит, а черт за ним. Неслись они неслись, пока черт не потерял его из виду. Давно ли все над Препеляком потешались, а теперь настал его черед смеяться да еще над самим чертом. Стоит Данила, живот надрывает, над чертовой глупостью потешается, когда тот возвращается, весь запыхавшись.

— Мэй! Ну, и резвый же у тебя сыночек, что и говорить. Только вот-вот настигну, он прыг — и след простыл. И поминай как звали.

— Весь в папашу малыш, — говорит Данила. — Ну, как, еще охота и со мной потягаться?

— Была охота, да вся вышла!.. Лучше давай поборемся.

— Бороться! Давай, коли тебе жизнь надоела. Старики говорят, мол, вы, черти, не дураки, а я как погляжу, глуп ты, как пробка. Послушай, есть у меня старенький дяденька, от роду ему 999 лет и 52 недели. Вот

¹ Чертенюк.

ежели ты его уложишь, тогда потягаешься и со мной, только боюсь, утрет он тебе нос.

Молвив это, подает он черту знак рукой, чтобы тот шел за ним. В чаще, под скалой, находилась медвежья берлога, на которую Препеляк набрел однажды, когда отшельником бродил в лесу в поисках диких кореньев и малины. Подходят они к той берлоге, Данила и говорит:

— Вот и обитель моего дядюшки. Входи смело, он дрыхнет в золе, носом в головешки. Только разговаривать он уже не может, зубы у него уж лет тыщу как повывалились.

Когда черту делать нечего, сами знаете, что он делает... Входит, значит, он в берлогу, и давай хвостиком своим крученым шекотать дядюшкин нос. Только это и надо было Топтыгину, а дальше уж само пошло. Вмиг выскакивает он разъяренный из берлоги, хватя черта под микитки да так прижмет, что несчастный чертяка едва дух не испустил, а глаза его выкатились, как две здоровущие луковицы.

— Вот те на! Не так искал, как здорово нашел, — говорит Данила, который наблюдал всю эту кутерьму со стороны и помирал со смеху.

Не знаю, как там черт крутился-вертелся, но все же изловчился невесть как и, хоть и с трудом великим, вырвался-таки из лап Топтыгина. Как увидел Данила черта живым и невредимым, тут же прикинулся, будто вызволяет его.

— Брось-ка, человек, брось, не прикидывайся. Ты-то знал, что дядюшка твой такой грубиян, чего же было подбивать меня идти с ним бороться.

— А что? Не понравилось? Тогда давай и со мной.

— Вот именно с тобой и только с тобой буду я тягаться в гиканьи, и кто громче гикнет, тому и денежки.

«Добре!.. — думает Данила. — Погоди, уж я тебе гикну».

— Мэй, Микидуцэ, гикни-ка ты первым! А я послушаю, как у тебя получается.

Черт раскорячился, одной ногой на запад, другой — на восток, руками за облака хватился, рот шире ворот разявил, да как гикнет — земля содрогнулась, долины загудели, моря заклокотали и рыба в них вся переполошилась, а из озера повылазило чертей видимо-невидимо. Еще бы чуточку, и раскололся бы свод небесный. А Данила посиживает себе верхом на бурдюке с деньгами и виду не подает.

— Мэй, только и всего? Да я тебя почти и не расслышал. Давай-ка, гикни еще разок.

Черт гикнул пуще прежнего.

— Все равно не слышу. Ну-ка еще разок!

Гикнул черт в третий раз да так громко, что едва не надорвался.

— Теперь же и вовсе ничего... Кажись, мой черед пришел?

— Вроде бы так.

— Послушай, Микидуцэ! Уж коли я гикну, оглохнешь ты и мозги тебе вышибет. Ясно? Но я тебе друг, и коли хочешь, послушай моего совета.

— А что посоветуешь?

— Если жизнь тебе не надоела, давай-ка завяжу я тебе полотенцем глаза и уши...

— Завязывай, чем хочешь и как хочешь, только бы мне не помешать.

Данила туго-натуго перетягивает ему грубым полотенцем глаза и уши, словно они в жмурки играть собрались, берет толстенную дубовую балясину, потому как хоть и был он отшельником, а в дубину верил больше, нежели в святой крест, и хрясь черта по правому виску!

— Караул! Хватит! Не гикай больше.

— Ну, нет! Пстой, чертеняка, ты-то трижды гикал! — И хрясь его по левому.

— Караул! Будет!

— Нет, не будет!

И хватъ его в третий раз — во имя отца.

— Караул! — истошно завопил черт, и как был с завязанными глазами, ойкая и извиваясь, как змея, кидается в омут и тут же докладывает Скараоскому про случившееся и про то, что с этим колдуном шутки плохи.

А Данила все вздыхает подле бурдюка с деньгами и ломает голову, как с ним быть, как вдруг является третий черт, да с огромной булавой в руках. Грохнул он булавой оземь и говорит:

— Ну-ка, человече, теперь покажи, чего ты стоишь. Кто из нас выше забросит эту булаву, тому и деньги.

«Ну, Данила, — сказал про себя Препеляк, — кажется теперь тебе крышка».

Но, как говорится, беда возницу учит.

— Чур, ты первый бросаешь, чертяка!

Берет черт булаву за рукоять, да как кинет, — она из виду и пропа- ла. Только через три дня и три ночи со страшным грохотом свалилась и вошла в землю до самой сердцевины, да так, что дрогнули основы мироздания.

— А теперь бросай ты, — заносчиво говорит черт.

— Брошу, не беспокойся, — но только сперва вытащи-ка ее, чтоб по справедливости.

Послушался черт и вытащил булаву.

— Давай! Живее, живее, мне некогда ждать.

— Ничего, подождешь, адское отродье, дома у тебя дети не плачут.

Что поделаешь, приходится черту ждать.

Прошло немного, и день угас. Небо было ясным, звезда со звездой перемигивались, а месяц, выглянув из-за холмов, раскачивался в выси, озаряя землю.

— Что же ты, человече, не бросаешь?

— Сейчас брошу, только наперед предупреждаю: можешь распрощаться с булавой.

— Это почему?

— А вот почему: видишь вон там, на луне, пятна?

— Вижу.

— Это братья мои с того света. И, господи боже мой, большую они нужду в железе терпят — лошадей ковать нечем. Посмотри хорошенько, видишь, как они мне знак подают, чтоб булаву эту я им отдал. — И сказав, хватает булаву.

— Стой, болван, булава-то нам от прадедов в наследство досталась, и мы ни за что на свете ее не отдадим. — И тут же выхватил у него булаву и прыг с нею в озеро. А там рассказал Скараоскому, как чуть было булавы не лишился. Тогда Скараоский, встревоженный и разгневанный ужасно, призвал всю сатанинскую братию и, топнув ногой, вскричал:

— Чтoб сию же минуту один из вас пошел и одолел этого клятого врага нашего.

Тут же, дрожа от страха, перед ним предстает черт.

— Здравия желаю, ваше темнейшество, иду выполнять нечистый ваш приказ.

— Ступай! Сделаешь все, как полагается, повышу в должности.

Понесся черт сломя голову и вмиг домчался до отшельника Данилы.

— Мэй, человече, — говорит черт, — ты со своим мошенничеством

весь род дьявольский смутил; но уж теперь я вгоню тебя во все страхи смертные. Давай проклинать друг друга, и который из нас двоих окажется искусней, тот пусть и деньги берет.

И как принялся черт бормотать, приговаривать и клясть и не знаю что еще, но у Данилы тут же лопнул глаз. Бедняга Препеляк! Видать, ему на роду написано искупить грехи и свои, и братовой кобылы, и козы, и жениха-гусака, и загубленных в лесу волов. Настигли-таки несчастного проклятия овдовевших гусынь.

Господи! Много же приходится терпеть праведному отшельнику, когда удаляется он от мирских соблазнов и лишь о добрых делах помышляет!.. Теперь уж Данила-отшельник все горшки с чертом побил. Шутка ли — что у человека нежнее глаза? Скорчился Данила от боли, но как ни страдал, стиснул зубы и говорит:

— Не запугать меня такими штучками, дьявольское отродье. Пальцы себе кусать будешь и на всю жизнь меня запомнишь.

— Ладно, ладно, нечего языком болтать, прокляни и ты меня теперь, увидим, какой ты мастер.

— Взвали-ка себе на спину бурдюк с деньгами и пошли ко мне домой, потому как у меня нет при себе родительских проклятий. Понял?

Сказал и уселся Данила верхом на бурдюк, а черт взвалил его себе на плечи и быстрее мысли понесся прямо к дому Данилы Препеляка.

Дети и жена, как увидели летящего в небе буйвола, с перепугу разбежались кто куда. Данила, однако, стал их по имени выкликать, и они, узнав его голос, остановились.

— Дорогие мои сыночки! Быстрее все ко мне и несите сюда родительские проклятия — трепалку и гребни, что пеньку чешут.

Тут ребяташки начинают сбегаться кто откуда, и у всех в руках родительские проклятия. Пришел и на Данилову улицу праздник.

— Хватайте, ребяташки, этого молодчика и кляните его, как только вы умеете, да так, чтобы и ему понравилось.

Детям только этого и надо было — от них и сам черт шарахается. Налетели разом на него и так измордовали, что сам Данила остался доволен. Завопил черт истошно, еле-еле из рук их вырвался и, как был, избитый и изувеченный, позабыл про деньги и еле нога унес.

А Данила Препеляк, никем больше не тревожимый, распрощавшись с нуждой, прожил до глубокой старости в сытости и довольстве, окруженный детьми и внуками.



СКАЗКА ПРО ПОРОСЕНКА

Жили-были, говорят, старик со старухой. Старухе девяносто стукнуло, а старику — все сто. Были они седыми, как зима, и хмурыми, как осень. Потому что детей не имели. Боже ты мой! Как же им хотелось хоть одного ребятеночка завести!

Долгими днями, бессонными ночами сидели они одни-одинешеньки, и от тишины в доме да от скуки у них аж в ушах звенело. К тому же, ничего у них не было, кроме хаты-развалюхи да кое-какого тряпья на лавках. А с некоторых пор еще сильнее тоска их стала грызть: ни одна живая душа не открывала дверь их хатенки, словно они, бедняги, зачумленные!

И вот однажды вздохнула старуха тяжело и говорит старику:

— Господи, господи! Сколько лет живем мы с тобой, а никто еще ни разу ни тебя батюшкой не назвал, ни меня матушкой! Уж не ошибся ли господь, что позволил нам так долго на этом свете зажиться? Ведь дому без детей нет благословенья господня!

— Что же мы, старая, можем против божьей воли сделать?

— Так-то оно так, старче... Только знаешь, что я нынче ночью надумала?

— Скажешь — узнаю.

— Выйди-ка ты завтра утречком, чуть свет, да ступай куда глаза глядят. И кто тебе самым-самым первым навстречу попадетя, будь то человек, или, на худой конец, змея, любая тварь живая — хватай, в торбу сажай и домой носи. Вырастим, как сумеем, кого принесешь, и будет у нас с тобой дитячко!

Старику и самому давно опостылело бездетным век коротать. Назавтра вышел он раным-ранешенько и торбу с собой взял, как старуха велела...

Брел он брел — в овраг забрел. Идет по оврагу, видит — лужа, в луже свинья с двенадцатью поросятами в грязи копошатся, на солнце нежатся.

Завидела старика свинья, захрюкала и — наутек. Поросята за ней побежали. Лишь один, самый болезненный, хилый да шелудивый, не успел из грязи выкарабкаться.

Старик быстренько схватил его и так, как он был, — в грязи и в дряни всякой, — в торбу сунул, домой понес.

— Слава-те, господи! — говорил старик сам себе по дороге. — Порадую я свою старуху!.. Кто знает — бог надоумил ее ночью на такое дело или черт?.. Глянь-ка, старая, — закричал он, подойдя к дому, — что за сокровище я тебе принес! Пусть себе живет да здравствует! Мальчишка глазастенький, бровастенький, а уж пригож — дальше некуда! И на тебя похож — две капли воды!.. Ставь-ка скорей воду греть да побань его — ты ведь знаешь, как с младенцами обращаться... Запылился он в дороге, малютка!..

— Эх, старичина ты, старичина, — отозвалась старуха. — Нечего сме-

яться! Это ведь тоже тварь божья, не хуже нас с тобой, а может, еще и лучше!..

Проворно, словно молодая, приготовила старуха щепок, согрела воду. Была она умелой повитухой, а потому ловко искупала поросенка, каждый его суставчик маслом из ложки смазала, размяла-разгладила, за нос подергала, пощекотала, чтобы от сглаза уберечь, расчесала ему щетинку частым гребнем. Словом, так хорошо старуха за ним ухаживала, что через пару дней от всех его болезней и следа не осталось. А с отрубей да с очистков стал поросенок поправляться, расти начал прямо на глазах — любо-дорого смотреть!.. Старуха места себе не находит от радости — такой сынок у нее растет: статный, славный, плотненький, как огурчик! И пусть хоть весь свет говорит, что урод он, да и нахал порядочный, она все будет на своем стоять — ребенок как ребенок, и другого ей не нужно! Одно лишь огорчало старуху: как ни старалась, не могла добиться от него заветных слов — «батюшка» и «матушка»..

Собрался как-то старик в город на базар купить кое-чего.

— Не забудь, старый, — наказала старуха, — сладких рожков нашего сыночку купить. Уж очень он, малютка, их любит!

— Ладно, старая, куплю! — отозвался старик, а сам подумал: «Будь моя воля — накормил бы я тебя, свиньячье отродье! Житья от тебя не стало! Самим едва на хлеб да на соль хватает, а тут еще тебе лакомства покупай!.. Согласился я старухе потакать, а теперь хоть из дома беги!..»

Долго ли, коротко, сходил старик на базар, купил, чего надобно, а как домой воротился, старуха его спрашивает, по обычаю своему:

— Что, старче, в городе разузнал?

— А что я там мог разузнать, старая? Принес весть одну, не очень-то добрую: царь собирается дочку свою замуж выдавать..

— Чем же не добра эта весть?

— А ты погоди малость! Это еще не все! Я там такое услышал — волосы дыбом встали!.. Вот доскажу все до конца — и у тебя, старая, сердце сожмется!..

— Это почему же, старче?.. Чур меня от беды!..

— А вот слушай, почему... Объявили царские гонцы по всему белу свету, что любой, кто построит от своего двора до царского дворца мост золотой, самоцветами выложенный, и чтобы по обеим сторонам моста деревья росли, а на деревьях бы птицы пели невиданные, — получит в жены царевну и полцарства в придачу. Но кто к царевне посватается, а мост, такой как сказано, построить не сумеет, — головы лишится!.. И много, говорят, приходило с тех пор царевичей да королевичей из бог весть каких царств-государств, да ни один из них не сумел наказ исполнить. А наш царь как порешил, так и делает: всем им головы рубит без всякой пощады. Весь народ плачет от жалости!.. Что теперь скажешь, старая? Добрую я весть принес? Да еще, говорят, царь даже заболел с досады!..

— Ох, старче! У царей болезни, что у нас с тобой здоровье! А вот царевичей-королевичей, о каких ты рассказывал, — так жалко, что сердце разрывается!.. А того пуще — их матерей жаль!.. Хорошо, что наш говорить не умеет. Уж ему-то не придет в голову такая блажь, как тем царевичам!..

— Хорошо-то оно хорошо, старая, только еще лучше было бы, ежели у кого-нибудь нашелся бы сын такой, что и мост бы построил, и царевну в жены взял! Дело это — боже ты мой, какое трудное, знаю! Зато и слава великая — на весь белый свет!..

Пока старики между собой разговаривали, поросенок лежал на подстилке под печкой, задрал вверх свой пяточок, глаз с них не сводил,

слушал в оба уха, о чем говорят, и только похрюкивал время от времени.

Разговаривают старики и вдруг слышат из-под печки:

— Батюшка! Матушка! Я мост построю!..

Старуха с ног свалилась от радости. А старик подумал, что это черт над ними подшучивает. Изумился он, испугался. Оглядел всю хижину, никого не увидел.

Тут поросенок снова заговорил:

— Не бойся, батюшка, это я!.. Подними лучше матушку да ступай к царю. Скажешь, что я берусь тот мост построить!..

— Да разве ты сумеешь, сынок?

— Это уж, батюшка, не твоя забота! Ты только сходи к царю да перескажи ему мои слова...

Старуха уже пришла в себя. Поцеловала поросенка и говорит:

— Сыночек мой милый! Не подставляй голову под топор! Не оставляй нас без всякой опоры, среди чужих людей! Не разбивай нам сердце!

— Не тревожься обо мне, матушка! Жив я буду — не помру. Ты еще узнаешь, кто я такой!..

Старику сказать было нечего. Расчесал он покрасивее бороду, посох свой взял, вышел из дома и пошагал к царю.

Придя в столицу, он прямо в царский дворец направился.

Увидел его один из стражей и спрашивает:

— Чего тебе, старик, надобно?

— Царь мне нужен. Мой сын берется мост построить.

Страж, зная о царском приказе, без лишних слов повел старика и пред царские очи представил.

Глянул царь на старика и спрашивает:

— Чего тебе, старик, надобно?

— Здравия желаю, пресветлый и могучий царь-государь! Прослышал мой сын, что есть у тебя дочка на выданье и послал меня к твоему царскому величеству просватать ее!.. И еще он сказал, что берется мост построить...

— Что ж, старик, пусть построит, коли может. Дочку и полцарства ему отдам... А коли не построит... Слышал, наверное, как я с другими женихами расправился? А они ведь породовитее твоего сына! Коли подойдут тебе мои условия, ступай, приведи его. А нет — убирайся отсюда и выкинь дурь из головы!..

Выслушал старик царя, земной поклон отвесил, вышел из дворца и побрел восвояси. Придя домой, пересказал сыну слово царское.

Обрадовался поросенок, стал по хижине скакать, под лавки нырять, миски-плошки ронять. Потом стал старика торопить:

— Идем скорее, батюшка! Покажешь меня царю!

Заохала старуха, запричитала:

— Видать, не будет мне счастья на этом свете! Кормила сыночка, растила, от всех бед оберегала, а ныне, чует сердце, потеряю его!..

Так плакала, что даже обморок с ней от горя приключился.

Надел старик кушму¹, на самые уши нахлобучил, посох взял, за дверь вышел и позвал:

— Айда, сынок! Приведем твоей матушке невестку!

Поросенок на радостях еще разок подо все лавки поднырнул и за стариком припустился. Бежит, повизгивает, рылом в землю тычется, как и положено свиньячьему отпрыску.

¹ Кушма — молдавская смушковая шапка.

Так и подошли они к воротам дворца царского. Увидели их стражи, переглянулись между собой, засмеялись.

— Это кто же с тобой, старик? — спросил один из стражей.

— А это — мой сын. Тот самый, что взялся мост для царя соорудить.

— Господь с тобой, старик! — вступил в разговор другой страж. — Либо умом бог тебя обидел, либо жизнь тебе надоела!

— Что кому на роду написано, то и сбудется. Двум смертям не бывать — одной не миновать...

— А ты, старик, видать, смерть свою днем с огнем ищешь!

— А тебе какое дело? — рассердился старик. — Ступай-ка лучше да поведай царю, что мы пришли!

Снова переглянулись стражи, плечами пожали. Один из них к царю поспешил, оповестить, что, дескать, сват пришел, жениха привел...

Призвал их царь пред свои очи.

Как вошли они в палаты царские, поклонился старик земным поклоном и скромненько у двери встал. А поросенок по коврам забегал, захрюкал, все углы обнюхал.

При виде такого невежества и смешно царю стало, и зло его разобрало.

— Ты, старче, — говорит, — когда к нам прошлый раз приходил, вроде в своем уме был. А теперь что тебе в голову взбрело? Поросенка с собой приволочь!.. Это кто ж тебя подучил над нами, над самим царем шутки шутить?!

— Упаси господь, ваше царское величество! И в мыслях у меня, старика, такого не было! Это, прощения прошу, сынок мой. Я тебе про него говорил, пресветлый царь. Он, ежели помнить изволишь, меня к твоему царскому величеству сватом посылал!

— Неужто он мне мост построит?!

— А в этом мы, ваше царское величество, на бога надеемся!

— Так вот тебе мой сказ: забирай своего свиненка и ступай вон! И ежели завтра к утру мост готов не будет — смотри, старик! Голова твоя там будет, где теперь пятки обретаются!.. Понял?!

— Бог всевышний милостив, царь-государь! А уж коли мы царскую твою волю выполним, в чем не моги сомневаться, присылай царевну к нам домой!

С этими словами поклонился старик царю, как обычай велит, поросенка забрал и отправился восвояси. А следом — солдаты. Им царь приказал стеречь старика до завтра да выведать, что он за птица за такая, потому как неслыханная старикова дерзость много пересудов вызвала, и во дворце, и в округе много было смеха.

К вечеру добрались старик с поросенком до своей хаты.

Старуху в дрожь от страха бросило.

— Ох, горе мне! — запричитала она. — Что за напасть ты в наш дом привел, старый?.. Солдат мне только не хватало!..

— Не тебе, старая, говорить, не мне слушать! Это — твоих рук дело! В твою дурную голову пришло, чтобы я по оврагам пошел, тебе приемыша нашел! А теперь сам вон в какой переплет попал! Солдат-то не я привел — они меня! И голове моей, видать, суждено завтра утром с плеч слететь!..

А поросенок знай себе по хате шастает, углы обнюхивает, ищет чего бы съесть. И никакого-то ему дела нет до беды, что он на старика навлек.

Бранились старик со старухой, бранились, потом уgomонились да спать легли.

Тогда поросенок потихонечку-полегонечку на лавку забрался, бычий

пузырь из окошка пяточком выдавил, пяточок свой наружу выставил и вдруг — как дохнет из обеих ноздрей сразу! Два огромных клуба огня вырвались из хижины и понеслись прямо к палатам царским! В тот же миг мост был готов — точь-в-точь такой, как царь велел! А убогая хижина тут же во дворец превратилась — краше царского!

Пробудились старик со старухой, а на них одеяния царские, парчовые. А в палатах полно добра всякого — все тут есть, что только есть на свете!

Поросенок по коврам мягким катается, нежится, забавляется!..

А в это время — шум и гам по всему царству, толки да пересуды!

Сам царь и все его советники при виде дива-дивного перепугались донельзя!

Опасаясь, как бы беды какой не приключилось, собрал царь совет, порешил выдать дочь за старикова сына и послать ее к жениху немедленно. Ибо хоть и был царь царем, но и он, как все другие, ничего кроме страха сейчас не испытывал!

Свадьбу справлять не стали — с кем справлять-то?

Привезли царевну к жениху. Очень ей палаты по вкусу пришлось и свекор со свекровью. А когда вышел к ней жених, она так и застыла на месте! Но немного спустя пожала плечами и говорит сама себе:

— Ежели это угодно батюшке с матушкой и господу богу — пусть так и будет!

И принялась хозяйничать на новом месте.

Днем поросенок шастал, по своей привычке, повсюду, углы обнюхивал, а как только свечереет, — из шкуры своей вылезал и оборачивался раскрасавцем-царевичем!

Прошло совсем немного времени, привязалась к нему царевна и не скучала уже, как прежде.

Неделя пролетела, другая — соскучилась царевна по своим родным и отправилась к ним в гости. Мужа дома оставила — не показывать же его людям!..

Царь с царицей едва завидели дочку — великою радостью обрадовались. Стали о молодом муже расспрашивать, о житье в чужом доме. Она что знала — рассказала.

— Смотри, доченька, — говорит царь, — как бы тебя черт не дернул глупость какую выкинуть! Большая может беда приключиться. Чует мое сердце — муж твой могуществом обладает неимоверным, разуму нашему недоступным, ибо творит такое, что превыше сил человеческих!..

Потом обе царицы — молодая и старая — в сад гулять пошли. И тут царица-мать совсем другой совет дала дочке:

— Что за жизнь у тебя, доченька, коли ты с мужем не можешь на люди показаться?.. Вот что я тебе скажу: выбери время подходящее, когда печь хорошо разгорится, а муж твой уснет крепко, возьми шкуру поросенка и кинь в огонь, чтобы дотла сгорела. Вот он и избавится от шкуры!..

— Хорошо ты придумала, матушка!.. Как же я сама не догадалась?..

Вернулась царевна к вечеру домой из гостей, велела большой огонь в печи развести, а когда муж заснул, взяла его шкуру и в огонь бросила. Затрещала щетина, свернулась шкура, как шкварки на сковороде сворачиваются, и в пепел обратилась...

Такой тут смрад по дворцу пошел, что муж царевнин тут же проснулся, охваченный страхом, вскочил на ноги и в тоске к печке бросился. Увидел, какая случилась беда, заплакал и говорит:

— Глупая ты, глупая! Что наделала?! Коли тебя кто подучил — зло тебе причинил, а коли сама до такого додумалась — большую беду нажила на свою голову!..

В тот же миг железный обруч туго-натуго перепоясал ее стан, а муж сказал ей:

— Сей обруч только тогда спадет с тебя, когда коснусь я стана твоего моей десницей и лишь тогда сможешь ты разродиться младенцем, коего носишь! За то тебе наказание такое, что послушалась ты дурного совета, стариков моих несчастными сделала, на меня беду навлекла, да и на себя тоже! Коли появится когда-либо нужда во мне, знай — зовут меня Фэт-Фрумос, а искать меня надобно в Ладан-монастыре!..

Едва договорил Фэт-Фрумос — страшный вихрь поднялся, налетел смерч и унес его с глаз долой.

В тот же миг исчез мост волшебный, словно его никогда и не было, а дворец, где старики с молодухой остались, со всеми богатствами, что были в нем, снова стал хатой-развалюхой, как и раньше.

Увидев, какая беда стряслась, глянули старики на сноху, заплакали, стали ее бранить-корить, гнать из дома на все четыре стороны — не можем мы теперь, мол, тебя при себе держать!..

Помертвела царевна от горя да обиды, но что ей делать было? К отцу-матери возвращаться? Гнева отцовского боялась она да хулы людской. Тут оставаться? Жить ей не на что, да старики попреками замучают. И решила она пойти по белу свету мужа искать. А решившись, пошла, сама не зная куда, на помощь господню уповая.

Шла она шла, все дальше, шла целый год по пустыням бесплодным, набрела на место дикое, неведомое и увидела перед собой хижину покосившуюся, седым мохом поросшую.

Многие века-столетия над той хижинкой пролетели!..

Постучала царевна в ворота, старушечий голос услышала:

— Кто там?

— Странница. Заблудилась я!..

— Коли с добром пришла — проходи в келейку. Коли со злом — ступай себе мимо. Есть у меня Пес-стальные зубы. Спущу его — в клочья порвет!

— С добром я, бабусенька!

Открыла старуха ворота, пустила царевну.

— Каким ветром привело тебя, внученька? — спрашивает. — Как смогла ты добраться до этих мест? Сюда ведь и птица божья не залетит, не то что человек!..

Тяжко вздохнула царевна:

— Грехи мои привели меня сюда, бабуся. Ищу я Ладан-монастырь, да в каком краю стоит он — не ведаю!

— Видать, чуток счастья еще есть у тебя, коли ты на меня набрела! Ведь я — святая Серeda! Может, слыхала?

— Слыхать-то я слыхала, бабуся, а вот что вы на этом свете живете — никогда бы не подумала!

— Вот видишь? А ты еще на судьбу жалуешься!

Кликнула святая Серeda громкий клич и тут же со всего ее царства собрались твари живые — все, сколько их было. Спросила их хозяйка о Ладан-монастыре, но даже названия такого никто не слыхивал!

Огорчилась святая Серeda, да что поделаешь.

Дала она царевне просфоры кусок да вина глоток — подкрепиться на дорогу. А еще дала веретено золотое, что само пряжу прядет.

— Прибереги на худой случай — пригодится! — сказала ласково и направила гостью к старшей сестре своей — святой Пятнице.

Снова пустилась царевна в дальний путь. Целый год брела по местам диким, неведомым и с большим трудом добрела до святой Пятницы.

Там все так же получилось, как и у святой Середы.

Дала святая Пятница гостье в дорогу просфоры кусок да вина глоток, а

еще дала мотовильце золотое, что само пряжу наматывает. Ласковым кротким словом напутствовала и к старшей сестре направила, ко святой Субботе.

В тот же день отправилась царевна в путь-дорогу и опять целый год шла через места еще более дикие и страшные, чем прежде. Она уже три года в тягости была и едва добрела до святой Субботы.

Приняла ее святая Суббота так же радушно, как и сестры, пожалела бедняжку убогую. Крикнула, что было мочи, и тотчас же собрались все твари живые — земные, водяные, летающие. Попросила их святая Суббота — где, мол, в каком краю Ладан-монастырь стоит? И все твари ответили в один голос, что, мол, видом не видывали, слухом не слыхивали.

Вздохнула тогда святая Суббота от самой глубины души, поглядела в печали на несчастную странницу и молвила:

— Видать, сильно прогневала ты господа, внученька, либо заклятье крепкое на тебе лежит, коли не можешь ты найти, чего ищешь! Ведь тут — конец света, а что дальше деется, даже мне не ведомо, и пройти туда ни тебе, ни другому кому — невозможно...

И вдруг приковылял, невесть откуда, хромым жаворонок. Идет — на одну ножку припадает.

Предстал жаворонок пред святой Субботой, а та спрашивает:

— Не ведаешь ли, жаворонок, где Ладан-монастырь стоит?

— Как же мне не ведать, хозяйка? Я туда по своей воле летал, там и ногу сломал!

— Коли так — немедля веди эту странницу, доставь туда во что бы то ни стало и научи, как ей там быть!

Жаворонок вздохнул и сказал смиренно:

— Далек будет наш путь и труден, но услужу тебе, хозяин, с радостью!..

Дала тогда святая Суббота царевне просфоры кусок и вина глоток — подкрепиться перед дальней дорогой в Ладан-монастырь. А еще дала она ей поднос золотой, золотую насадку, самоцветами усыпанную, с золотыми же цыплятами — при нужде, мол, пригодится. А потом передала царевну на попечение жаворонку.

Захромал-заковылял жаворонок, а царевна — за ним.

Так они и шли — то жаворонок пешком, а царевна на нем верхом, то царевна пешком, а жаворонок на ней верхом. А когда выбивалась из сил царевна и ни пешком, ни верхом идти не могла — сажал ее жаворонок к себе на крылья и по воздуху нес.

Целый год шли они, всякие невзгоды терпели, одолевали горы высокие да моря глубокие, леса дремучие да пески горячие. И повсюду кишмя кишели драконы, змеи-аспиды, василиски, взглядом убивающие, гидры двадцатичетырехглавые, всякие иные чудища-страшилища, коим несть числа. Кругом пасти разверстые — того и гляди проглотят! До того все они алчны, до того коварны и свирепы — словами не расскажешь!..

После трудов тяжелых, опасностей несчетных, достигли они наконец пещеры. Тут жаворонок снова посадил царевну на крылья свои, коими едва шевелил от усталости, полетел, и очутились они в мире ином, неопишемом — рай, да и только!

— Вот он — Ладан-монастырь! — сказал жаворонок. — Тут живет Фэт-Фрумос, кого ты искала так долго. Погляди — не узнаешь ли чего-нибудь, что раньше видела?

Царевна, хотя в глазах у нее рябило от окружающего великолепия, пригляделась и узнала мост волшебный, какого краше на всем свете нет, и дворец, в каком так мало прожила она с Фэт-Фрумосом. Узнала и заплакала от радости.

— Погоди, не спеши радоваться! Ты пока еще чужая здесь и не всех еще опасностей избежала, — сказал жаворонок.

Показал он царевне колодец, куда должна она приходиться три дня кряду, рассказал, с кем повстречается у этого колодца и о чем разговор пойдет, что должна она сделать с веретеном, мотовильцем, с золотыми насадкой и цыплятами, полученными в дар от святых Середы, Пятницы и Субботы.

Потом распрощался жаворонок со спутницей, его попечением вверенной, и стрелой полетел домой — побоялся, что и вторую ногу сломает.

Обездоленная царевна проводила жаворонка взглядом, полным тоски, и побрела к колодцу.

У колодца достала она перво-наперво из захоронки веретено золотое и присела отдохнуть.

Спустия немного времени — служанка по воду пришла. Увидела странницу и веретено золотое, что само пряжу прядет из золотой кудели, а каждое волоконец в той кудели тоньше человеческого волоса в тысячу крат. Увидела и побежала к хозяйке своей про этакое чудо рассказывать.

А хозяйка — смотрительница во дворце Фэт-Фрумоса — ведьмой была. От ее проделок сам Сатана поседел. Своими чарами умела она воду в камень обращать, и все уловки нечистой силы были ей ведомы. Одно-го лишь не умела ведьма — в мысли человеческие проникать.

И вот это исчадие ада, едва услышав про веретено золотое волшебное, погнало свою служанку звать поскорее странницу во дворец.

Пришла царевна, а ведьма ей:

— Наслышана я, что веретено у тебя золотое есть — само вертится, само пряжу прядет. Не продашь ли мне его? Много ли запросишь?

— Даром бери, — отвечает царевна. — Только позволь мне ночь провести в тех покоях, где твой государь поживает.

— Почему ж не позволить? Давай сюда веретено золотое и жди здесь, пока царь с охоты вернется.

Отдала царевна веретено и ждать принялась.

А щербатая ведьма знала царев обычай — еженощно перед сном кружку сладкого молока выпивать. На сей раз такое она молочко приготовила, чтобы спал царь без просыпу до самого утра.

Вот вернулся царь с охоты, лег в постель, а ведьма молоко ему прислала. Выпил он и тут же уснул мертвым сном. Тогда позвала ведьма странницу, как договорено было, в покои царские и там оставила.

— Сиди тут, пока не приду за тобой! — прошептала она.

Ведьма шепотом говорила и на цыпочках ходила не потому, что боялась, как бы царь не услышал. Боялась она, что услышит ее верный царев слуга, с кем царь на охоту каждый день ездит.

Лишь только вышла чертова баба за порог, бросилась несчастная царевна на колени перед мужем своим и заплакала слезами горькими:

— Фэт-Фрумос, Фэт-Фрумос! Протяни десницу, коснись стана моего, дабы спало с меня заклятие, рассыпался обруч и могла я тебе сына родить!

Рыдала бедняга всю ночь напролет и понапрасну: не слышит царь, словно его и на свете нет.

Едва развиднелось — ведьма пришла. Хмурая — туча тучей. Взашей чужестранку вытолкала и строго-настрога наказала убираться со двора на все четыре стороны.

Снова побрела к колодцу царевна горемычная. Не на такой исход она рассчитывала!..

У колодца достала она мотовильце золотое.

Опять пришла по воду служанка. Увидела диво-дивное и бегом к хозяйке кинулась — поведать, что у странницы, дескать, вчерашней есть мотовильце золотое, само пряжу мотает, чудеснее оно и краше того веретена.

Снова послала алчная баба служанку за странницей, тою же хитростью завладела мотовилом золотым, а на утро прогнала странницу из покоев царских и со двора.

Только на сей раз верный царев слуга догадался, что у царя в опочивальне деется, сжалился над несчастной чужестранкой и порешил открыть своему господину глаза на ведьмины проделки.

Когда поднялся царь ото сна и на охоту отправился, пересказал ему слуга, ничего не пропустив, все, что две ночи подряд в царской опочивальне творилось.

Выслушал царь верного слугу своего, встрепенулось сердце вешее. Потупил он очи долу и заплакал.

Пока проливал Фэт-Фрумос слезы горькие, изгнанная жена его сидела терзаясь у колодца. Теперь извлекла она на свет божий последнюю надежду свою — поднос и золотую насадку с цыплятами.

Сидит она возле колодца, а бог снова служанку принес.

Завидев чудо расчудесное, набрала служанка поскорее воды и к хозяйке помчалась:

— Ох, господи!.. Хозяюшка! Что я видела!.. У той, у убогой, появился теперь поднос золотой, а на нем — золотая насадка с цыплятами! Красота такая — глаз не оторвать!..

Услышала зловредная баба про новое диво и тот же час послала служанку за странницей, а сама подумала:

— Нет, не проглотить ей того, на что рот разевает!..

А когда пришла чужестранка, ведьма, тою же хитростью, наложила лапу на поднос золотой, на золотых насадку с цыплятами.

Вернулся царь под вечер с охоты. Принесли ему, как всегда, молока кружку, а он и говорит себе:

— Не стану я это молоко пить!..

Как сказал, так и сделал: молоко выплеснул, а сам в постель лег и тут же спящим притворился.

Понадеялась ведьма на силу зелья своего, поверила, что царь и впрямь уснул, привела царевну в опочивальню, как и в те ночи приводила, и оставила там.

Упала царевна на колени у ложа мужа своего, разрыдалась и заговорила сквозь слезы:

— Фэт-Фрумос, Фэт-Фрумос! Пожалей две душеньки невинные, кои вот уже целых четыре года маются, муки страшные терпят! Коснись десницей стана моего, дабы рассыпался обруч и родила я тебе сына! Нет больше сил моих переносить такие страдания!..

Высказала она все это, а Фэт-Фрумос, словно во сне, протянул к ней свою правую руку. Едва коснулся он стана жены своей — данг! — рассыпался обруч железный и разрешилась царевна от бремени, не испытав никакой боли!..

Тут и поведала царевна мужу обо всем, что довелось перетерпеть ей.

Встал тогда Фэт-Фрумос с постели среди ночи, всю дворню на ноги поднял и повелел привести к нему ведьму со всеми сокровищами, что она обманным путем у жены его выманила. Еще повелел он вывести из конюшни кобылицу необъезженную и мешок с орехами принести. В тот мешок ведьму посадить, мешок кобылице к хвосту привязать и кобылицу вскачь погнать.

Как велено, так и было сделано.

Пустилась кобылица вскачь. Где орех из мешка выпадал, там и от исчадия адова кус отваливался, а совсем оторвался мешок, и голова ведьмина расколосась, как горшок!..

А ведьма и была той самой свиньей, что с поросятами в луже барахталась. От нее Фэт-Фрумос к старику попал, как сказано было. Волховством бесовским превратила она Фэт-Фрумоса, господина своего, в поросенка дрянного — хилого да шелудивого. Для того она его превратила, чтобы женить на одной из одиннадцати своих дочерей, тех, что следом за ней из лужи от старика убежали. За это и предал ее Фэт-Фрумос столь страшной казни. Слугу же своего верного одарил по-царски и до конца дней его от себя не отпускал.

Вспомните теперь, люди добрые, что когда брал Фэт-Фрумос царевну себе в жены, никакой свадьбы у них не было. А тут уж они свадьбу справили, да и крестины заодно. Да так, как никто в целом свете никогда не справлял, и думаю я, никогда не справит... Стоило Фэт-Фрумосу лишь помыслить — явились к ним царевнины батюшка с матушкой и старик со старухой, снова в наряды царские облаченные. На самом почетном месте посадили их...

Великое множество гостей собралось на веселый и богатый пир. Три дня пировали и три ночи, а коли не перестали — то и посейчас пируют...



ПРО СТАНА, ЧЕЛОВЕКА БЫВАЛОГО

Жил-был мужичок-холостячок по имени Стан. С самого раннего детства обретался он среди чужих людей, ни отца не зная, ни матери, ни других родичей. Никого на всем свете не было, кто заступился бы за него при случае, поддержал бы в трудный час.

Круглый сирота, он скитался повсюду, под чужими дверями, то тут, то там побираясь, пока не нашел наконец пристанище в одном селе — большом и красивом.

Там работал он то на одного хозяина, то на другого, служа им верой и правдой, и к тридцати с лишним годам скопил малую толику денег, завел несколько овец, каруцу с парой волов да коровенку дойную. Спустя немного времени хатенкой обзавелся и навсегда остался в том селе. Жить теперь стал в собственном доме, работать на себя самого.

Говорят, когда камень долго лежит, и тот мхом обрастает. А наш мужик, хоть и дом заимел, и добро кой-какое, был, видать, как вода на камне — не мог долго на одном месте усидеть и работы не чурался. Не успеет вернуться откуда-нибудь на своей каруце, уже снова в путь собирается, со всеми делами один управляется.

Что и говорить — тяжеленько ему приходилось. Когда в отъезде он, некому за домом и за скотиной присмотреть. А что делать? Не разорваться же! Давно ли своим домом обзавелся, а сколько попроститься пришлось ради этого дома — одному господу ведомо! Вот и вертелся он в одиночку, как умел, круглые сутки, за все дела сразу хватался — лишь бы, мол, нужду одолеть, а там видно будет!..

Все бы ладно, да вот тоска его заела. Днем еще туда-сюда — за работой скучать некогда. А в долгие ночи, когда вьюга за окном воет, или в праздники — места себе не находил. Как в песне поется:

Выгнала тоска из дома —
Пусть бы шла себе к другому.
Но куда б ни убегал,
Все к ней в лапы попадал.

Знамо дело — нельзя человеку одному быть, и Стан частенько подумывал жену себе взять. Но так много слышал он, то от одного, то от другого, какие страдания из-за баб переносить приходится, что всякий раз откладывал с четверга на пятницу, а с пятницы снова на четверг это сложное и во многих отношениях тонкое дело, о коем знал только понаслышке. Бесконечные сомнения одолевали его... Вот одни говорят, что жена, мол, это бочка бездонная. А что это значит? Другие — упаси, дескать, боже от жены ленивой, нечистоплотной и распутной. Еще другие такого наговорят, что не знаешь, чему верить, чему нет... А вот мне, сказать по правде, доводилось среди мужей достойных немало таких встречать, что ничтожнее и подлее самой подлой бабы!.. Просыпаясь, Стан часто сам с собой разговаривал, словно ума лишился, и все гадал — жениться или не жениться?..

То собирался он осенью жену себе привести, то зимой, то на лето переносил, то опять на осень. Время шло, мужик увядать начал, а все холостяком оставался, все никак не решался жену себе взять.

Есть такое присловье: до двадцати лет человек сам себе жену выбирает, от двадцати до двадцати пяти — его другие женят, от двадцати пяти до тридцати — баба его женит, а уж после тридцати — это дело одному черту по плечу.

Так и с нашим мужиком получилось — сам не женился, друзья не оженили, даже ни одна баба, уж до чего они хитры да изворотливы, женить его не сумела!

По нраву своему был Стан человек молчаливый, но уж коли скажет — как к месту припечатает, и не всякий мог против него в споре выстоять.

Многие лелеяли надежду в зятя его заполучить, но он привык жить своим умом и не поддавался.

Но вот мало-помалу бабам на селе, да и друзьям Стана все эго порядком надоело, махнули они на него рукой и в покое оставили — пусть, мол, как знает, так и поступает. Все их надежды давно рухнули...

Встал однажды Стан среди ночи, приготовил мамалыгу с брынзой и еще что-то, чего бог послал, сложил в торбу, впряг волов в каруцу и, благословясь, в лес отправился — дров привезти.

Добрался Стан до леса, когда уже развиднелось. Нарубил дров, здоровенный воз нагрузил, увязал как следует. Сначала волам корм задал, потом и сам подкрепился. Насытился, и остался у него мамалыги кусок. «Зачем, — думает Стан, — такую малость домой везти? Оставляю-ка я этот комочек здесь на пеньке. Какая-нибудь тварь божья найдет, съест и мне спасибо скажет!»

Скатал он из мамалыги катышек, положил на пень, запряг волов в каруцу и, благословясь, восвосяси путь направил. А уже полдень был.

Только лишь выехал он из леса — буран поднялся страшный — дождь пополам со снегом. Ни сзади, ни спереди ничего не видно. Что тут началось! Кара господня, да и только!.. Хороший хозяин собаку из дома не выгонит, а уж человек и подавно не выйдет. А для чертей нет погоды лучше: кто угодно может терпение потерять и поневоле в грех впасть.

Вот чертячий вожак Скараоский¹ и порешил в такой день потешиться на свой лад — созвал всех своих слуг и наказ им дал: разбежаться на все четыре стороны и повсюду — на суше и на море — людей между собой ссорить и пакости им чинить.

Словно молнии, разлетелись черти во все стороны. Один из них в лес кинулся — посмотреть, нельзя ли там натворить чего-нибудь — кого на богопротивное дело толкнуть, кого заставить волов своих мучить, у кого ось либо что другое в каруце сломать, вола покалечить, кого на драку подбить, чтобы тузили друг друга до смерти. Словом, поглядеть, нельзя ли учинить беззакония и проказы, на какие черти большие мастера.

Как уж там другие черти со своими делами управились, ей-богу, не знаю. А вот тому, что в лес забежал, не повезло. Нечего говорить, что он из кожи вон лез, лишь бы в дела людские свой хвост сунуть, но ничего у него не получалось. Так и ушел бы с чем пришел. Но уж больно упрямый был чертенок — повсюду шастал, ко всему принохивался и к вечеру на след напал. Крадучись пробирался он по следу и прибрел как раз туда, где Стан каруцу дровами грузил. Правда, нашел он там

¹ Скараоский — одно из наименований Сатаны в молдавском фольклоре.

пустое место. Стан, как уже сказано было, давно из леса выбрался и уехал по своим делам.

Видит черт, что и здесь нет ему удачи, зубами заскрипел, чуть не лопнул с досады: как же ему с пустыми руками перед Скараоским появиться? К тому же он так долго по лесу бродил, что в кишках заурчало от голода и в голове помутилось.

Стал он и стоит, в мрачные мысли погружившись, что делать — не знает. Вдруг видит — на пеньке мамалыги комок! Ох и обрадовался бесенок! Не говоря ни слова, схватил мамалыгу и слопал. Потом, поджав хвост, к господину своему поплелся. Что же ему оставалось делать?

Добрался до преисподней.

— Ну, малыш, — спрашивает Скараоский, — чем похвастаешься? Много ли душ крещеных в соблазн ввел? Давай отчет!

— Ни единой, хозяин! — ответил бесенок сокрушенно и задрожал, как лозинка на ветру. — В недобрый, зная, час я на дело вышел. Слишком уж погода мерзкая была. Да вы и сами знаете. Всего один человек и был-то в лесу сегодня, да и тот от меня ускользнул. Напал я на его стоянку, а его уже и след простыл. У меня от голода кишки слипались. Хорошо еще, что я на пеньке мамалыги комок нашел и съел. А больше мне сказать нечего, ваше темнейшество!..

— Ах ты, мерзопакостник этакий! Мамалыгу ты сожрал. А вот что сказал тот человек, что ее на пеньке оставил, небось и не знаешь?

— Не знаю, хозяин!..

— Так чем же ты занимаешься, ежели до сих пор не научился узнавать, о чем говорят смертные? Я с тобой в том лесу не был, но так уж и быть!.. Вот послушай, что сказал тот человек: «Кто съест этот комок мамалыги — спасибо мне скажет». А ты, сожрав мамалыгу, сказал что-нибудь?

— Нет, хозяин, ничего не сказал!..

— Ах, вот как?! Вместо того, чтобы рук не покладая стараться проникать в мысли людские, ты до сих пор так и не научился узнавать, о чем люди вслух говорят!.. Как же мне на вас положиться? Ну смотри — доберусь я до тебя, научу понимать, что к чему!.. А теперь — убирайся с глаз долой! Ступай к тому человеку, что мамалыгу на пеньке оставил, и служи ему верой и правдой полных три года! Покорно служи, все, что скажет — выполняй. Жалованья не бери, а уговор между вами пусть такой будет: чтобы, когда срок твоего служения выйдет, позволил он тебе взять из его дома то, что тебе приглянется. А взять ты должен, что нам пригодится, — у нас подпорка под адом прогнила!.. Вот я и посмотрю, догадаешься ты, что взять надобно, или нет!.. Ну как? Готов в путь?

— Готов, хозяин!

— Тогда убирайся!

— Уже иду!..

Пробежал чертенок по всему аду, посмотрел, где чего не хватает, потом, словно искорка, из преисподней вылетел и помчался наказ Скараоского выполнять.

Возле Станова подворья обернулся черт пареньком лет восьми в чужеземном одеянии!.. Съежился от холода и к воротам побрел.

Стан только что чугунок с огня снял и собрался мамалыгу замешивать. Вдруг почудилось ему, что собаки на человека напали — вот-вот разорвут. Выглянул в окно, пригляделся получше, и что же увидел? Мальчишка, от собак спасаясь, на ворота взобрался!

Побежал Стан к воротам, закричал:

— Цыц, Хормуз!.. Назад, Балан!.. Прочь, Зурзан!.. Вот я вас сейчас,

сукины дети!.. А ты, малыш, откуда взялся? Чего тебе здесь надобно? Зачем собак всполошил?

— Откуда я взялся, дяденька?.. Сирота я бедный. Ни отца у меня нет, ни матери — на всем белом свете один... Вот и хочу наняться к кому-нибудь...

— Да ведь ты даже гусей пасти не годишься!.. Лет-то тебе сколько?

— Тринадцать стукнет скоро.

— Да ты что?.. Верно, значит, говорят, что малый воробей до старости птенец... А я бы лет семь тебе дал, от силы — восемь. Думается мне, прости господи, что это из-за одежки твоей непотребной выглядишь ты таким замороженным да чахлым. Бродил тут у нас по селу один вот такой же ряженный. Только он был поплотнее малость, да и одет по-другому:

Кафтан, золотом расшитый,
Да дырявый, словно сито.
А аглицкие портки
Порваны на лоскутки!..

Так вот, идет он по дороге, а штаны рядом с ним шествуют!.. Говорят, овчины он скупал. К моим воротам подошел, так я его у Зурзана из зубов едва вырвал. Зурзан его так прочесал, что только клочья летели!.. Недаром говорится: зашел бы я к тебе, да собак твоих стесняюсь! Я до сих пор его, словно наяву, вижу — как он ошметки своего одеяния с земли подбирает... Еще немного, и с тобой такое же сделалось бы!.. А зовут тебя как?

— Все Кирикэ кличут.

— Ах ты, немчик!.. Уж не во имя ли Кирикэ Кривого окрестили тебя так? Это такой святой, что самого дьявола за чуб ухватил.

— Во чье имя крестили — не знаю, только зовут меня Кирикэ!

— Как бы то ни было, но думается мне — крестный твой знал, что делает, когда тебе имя выбирал! Кирикэ похоже на чирикэ, а ты и в самом деле, как воробей, чирикаешь!

— Как там воробей ни чирикает, а я — такой, как есть... Бывают и орлы, от каких проку мало. Повидал я их... Человек в делах познается. А меня как назвали, так пусть и кличут. Тебе, дяденька, дела нет до этого... А тебя самого-то как зовут?

— Отроду Станом звали. А когда я совсем маленьким заболел тяжело, так чтобы смерть обмануть, переменили мне имя на Ипата. С тех пор меня и Станом зовут, и Ипатом.

— Так значит, дяденька, это про тебя песенку сложили?

Того Ипатом прозывают, кто кружку духом осушает,
А сам рукой знак подает, что другую кружку ждет...

— Тут ты мне прямо на мозоль наступил, Кирикэ! Ах, чертов ты сын! Как в воду глядел!.. На вид ты хиловат, что и говорить, а умом-разумом, видать, силен. Ну-ка поглядим, сумеешь ли мою загадку разгадать? На широком — широкое, на широком — раскаленное, на раскаленном — раскоряченное, на раскоряченном — округлое, в округлом — прозрачное, в прозрачном — желтое, а в желтом — добрый молодец!

Улыбнулся Кирикэ и говорит:

— А дашь мне, коли угадаю, кусочек того, что получится?

— Сначала узнать надобно, о чем ты думаешь. Угадай, тогда поглядим...

— Чего ж тут отгадывать? — пожал плечами Кирикэ. — Стоит дом, печка в нем, в печке огонь, на огне таган, на тагане — казанок, в ка-

занке вода, в воде — мука кукурузная, в муке пестик, чем мамалыгу замешивают!..

— Верно, Кирикэ! Теперь и я вижу, что ты не из глупых... Ладно! Сколько за год возьмешь, коли ко мне пойдешь?

— Нет, на один год я не нанимаюсь.

— А как же ты нанимаешься?

— На три года сразу. Потому как не в моем обычае от хозяина к хозяину таскаться с торбой за плечами! Да и научиться у тебя хочу чему-нибудь.

— Мне так даже лучше, Кирикэ. А что попросишь ты за три года службы?

— Чего ж с тебя взять?.. Будешь меня кормить, поить и одевать, как положено. А срок кончится — возьму я из твоего дома, что мне приглянется!

— Это что же за уговор? А ежели тебе душа моя приглянется либо еще черт знает что в голову взбредет?

— Да нет, дяденька Ипат, не тревожься! Ничего такого я с тебя не потребую, а возьму то, что тебе без надобности будет..

— Вот те на! Ничего-то в твоих речах понять не могу!.. Коли толком сказать не можешь — пусть пес Балан с тобой разбирается!

— Так ведь спрос не во гнев, дяденька Ипат! Только чем после дела спорить, лучше перед делом договориться!..

— И я говорю то же самое, чертов ты недоносок! Высказывай-ка сразу все до конца — надо же мне знать, что мое, а что твое!..

— Да будет тебе, дяденька Ипат, из-за безделицы торговаться! Ведь не полцарства же я у тебя попрошу!..

— Ну вот что, Кирикэ — оставайся! Уж как-нибудь да поладим. Парень ты, видать, умом шустрый. Кто знает — может, и в работе такой. Понимаешь, вроде, где взять и куда положить!..

— О том не держи заботы, дяденька Ипат. Не гляди, что я мал. Что мне ни поручишь, лучше любого другого сделаю, будь он хоть семи пядей во лбу!..

— Вон даже как? Хорошо, коли сбудется, что ты сказал!.. Но тебе повезло — хозяин у тебя наидобрейший! Только условимся заранее: языку своему воли не давай! Выведешь меня из терпения — плохо тебе будет!..

— И в этом не сомневайся, дяденька Ипат.

— Значит, обо всем договорились... А теперь пойдём — перекусишь, чем бог послал. Вот тебе козий сыр с муждеем¹, вот мамалыга... Подкрепись да за дело берись!..

Примостился парнишка по-чабански на коленях, быстрехонько съел, что дали, и за работу принялся. Таким он был прилежным, так ловко управлялся со всеми делами, будто отроду здесь хозяйничал. Ипат, глядя на него, про скуку забыл и зажил в свое удовольствие.

С того самого дня, как нанял он в работники Кирикэ, счастье так и повалило к нему со всех сторон — как из прорвы. Он уж и не знал, сколько чего у него в доме есть. Плетень колючий вокруг всего двора, такой, что и ветерок сквозь него не проберется, хлев и загоны для скота, овчарни, птичники, свинарники, сусеки для кукурузы, амбары для пшеницы, прочие хозяйственные строения — все возникало, словно по мановению руки Кирикэ! Скажу, не совру, что с тех пор, как принял Ипат к себе в услужение Кирикэ, разбогател он стократно и тысячекратно. Увидел теперь Ипат, чего Кирикэ стоит, и полюбил его душе глаза своего!

¹ Муждей — чесночный соус.

И вот однажды, года через два, говорит Кирикэ хозяину своему:

— Не подумай чего дурного, хозяин, только послушай, что я тебе скажу. Почему ты жену в дом не приводишь? Время-то идет. Не сегодня-завтра постареешь, и потомства после тебя не останется. Следом за жизнью — смерть ходит. Кто знает, что, упаси боже, случиться может?.. Кому тогда свое добро оставишь?

— Да ты что, Кирикэ? Уж коли я в свой срок не женился, как же мне теперь решиться на такое? Хочешь, чтобы надо мной черти смеялись? Разве не видишь, что мое солнце уже к закату клонится, что я к старости ближе, чем к молодости?

— Побей меня гром, хозяин, но это ты людей пугаешь такими разговорами! Стариком не прикидывайся, но и время не упускай. Самая сейчас пора, по-моему, жениться тебе — есть чем и жену прокормить, и детей. Многие, слава богу, хотели бы иметь столько, сколько у тебя добра есть!

— Чего надумал? — отозвался Ипат. — Мелешь ты, Кирикэ, иногда невесть что! Пашню я, что ли засеял? Или в хозяйстве у меня все есть, что требуется? Думаешь, так просто жену в дом привести? Недаром говорят — жениться, не резвиться!..

— Так вот что тебя огорчает, хозяин!

— А что же еще, Кирикэ? Разве не знаешь — прежде всего брюхо, а уж потом все остальное...

— Коли только за этим дело, хозяин, захоти только — я тебе столько зерна добуду, что хлебов да калачей и на свадьбу хватит, и на крестины останется!..

— Где ж ты возьмешь столько, Кирикэ?

— А вон видишь вдали поле виднеется? Пшеница на нем совсем созрела...

— Вижу.

— Ступай теперь же к боярину и скажи, что берешься всю пшеницу скосить и в скирды собрать. А спросит он тебя, какую плату хочешь за столь тяжелую работу получить, от денег отказывайся, а проси столько пшеницы, сколько сможешь вдвоем с работником на себе унести, в колосьях, с соломой вместе...

— Да в своем ли ты уме, Кирикэ? Неужто думаешь, что я и впрямь смогу в одиночку такую уйму пшеницы скосить да в скирды собрать? Это дело не шуточное. Тут работы на сотни рук хватит, а то и на тысячи! И за все за это получить всего-навсего пару охапок пшеницы! За такое только безумный возьмется!..

— Коли хочешь узнать, хозяин, каков я в деле и на что гожусь... — послушайся меня: ступай к боярину и скажи, как я тебя научил.

Долго не решался Ипат. То надумает пойти, то десять раз передумает. Наконец, собрался с духом и на боярский двор отправился: погляжу, мол, что из всего этого выйдет...

Предстал перед боярином и говорит:

— Не прогневайся, боярин! Не нужны ли тебе работники пшеницу убирать?

— Очень даже нужны. Тебя ко мне, видать, сам бог направил! Созрела пшеница, перестояться может.

— Так я тебе ее уберу!

— Как, один?

— А это, боярин, мое дело. Берусь урожаем убирать и в скирды сложить. Дело я говорю?

— У тебя, видать, много помощников будет?

— Много ли, мало — как бог даст. А только дело я сделаю.

— Что же просишь за работу?

— А вот что прошу, боярин: когда уберу я урожай и в скирды сложу, дашь ты мне столько пшеницы, прямо в колосьях, с соломой вместе, сколько я на себе унести смогу вдвоем с помощником.

— Ты это в шутку или всерьез, человече?

— Упаси бог, боярин, шутки с тобой шутить!

Подумал боярин, что спятил Ипат, и, чтобы отвязаться, говорит:

— Ну коли так — приходи завтра утром и принимайся за работу. Посмотрим, как дело сделаешь, тогда и о плате поговорим...

— Плата как я сказал, боярин!

— Ладно, ладно, ступай! Там видно будет!

Вернулся Ипат домой, а Кирикэ его спрашивает:

— На чем, хозяин, с боярином расстались?

— На чем расстались-то? Подрядился я его пшеницу скосить да в скирды сложить, как ты сказал. Потом прошел вдоль поля, увидел, какое оно огромное, и страх меня одолел. Слишком уж трудное дело мы затеяли и как сумеем до конца его довести — ума не приложу! Знаю, что боярин меня за сумасброда принял, а теперь и сам вижу, что ума лишился! Черт знает, что нам теперь делать!..

— Да не тревожься ты, хозяин! Ведь я-то с тобой, — сказал Кирикэ. — А бери все, что для работы нужно, и пойдем с вечера, чтобы к рассвету уже на поле быть...

Собрались они и отправились. Когда стемнело — до поля добрались.

— Видишь, Кирикэ, — сказал Ипат, — это не шутки! Сдается мне, что тут мы влипли...

— Знаешь что, хозяин? Ложись-ка ты спать. Завтра утром поговорим.

Как ни одолевали Ипата заботы, как ни ломал он голову над своим положением, но усталость свое взяла. Прилег он на траву да сразу и уснул.

Тогда Кирикэ, — а уж он-то знал, что делать надобно, — всех чертей созвал и каждому работу дал: одни косили, другие снопы носили, третьи копнили и на копны дули, чтобы просушить пшеницу, четвертые скирдовали. Да что тут много говорить? Чертова была толока!..

Проснулся Ипат на зорьке и обомлел: все как есть сделано. Вместо нивы колосающей — один большой скирд стоит и два поменьше. А Кирикэ нигде не видно. У Ипата от страха волосы дыбом поднялись. Стал он во все стороны кидаться, Кирикэ искать. И тогда только успокоился малость, когда увидел его спящим на верхушке скирда.

Ни свет, ни заря встали сыновья боярские — какие-то у них дела были. Пошли они на поле посмотреть, что там делается. Как увидели готовые скирды — страх их обуял. Со всех ног побежали к отцу дивную весть сообщить.

Вскочил боярин с постели, прыгнул в седло и до самого поля вихрем скакал...

Такое предстало его глазам, что никто еще видом не видывал, слухом не слыхивал!..

— Ну, боярин, я свое дело сделал, — сказал Ипат. — Хорошо, что ты припожаловал — сам можешь убедиться.

А Кирикэ, без лишних слов, размотал с себя веревку, что была у него вместо пояса, обвязал как можно лучше самый большой скирд, взвалил на спину и пошел себе

Когда боярин еще и это увидел, совсем руки опустил и, как стоял, так с места не стронулся. Он думал, что сам Ипат уж и давно унесет остальные два скирда и совсем его разорит. Чуть не лопнул с досады, а что поделаешь? И вот, не зная, как быть, говорит он Ипату по-хорошему:

— Возьми-ка, человече, лучше вместо пшеницы, что ты унести соби-

раешься, деньги. И в расчете будем. Не ведал я, что с самим чертом связался!..

— Упаси меня боже, боярин! Христианин я, вот те крест!.. Одно скажу — поработал от всего сердца!..

— Ну уж это ты, мужик, заврался! Не тебе говорить, не мне слушать. Будто я вчера увидел, как пшеницу убирают!.. Сам ты, может, и не дьявол, да дело здесь нечистое!.. Впрочем, не мне о твоей душе заботиться! Бери деньги, как я тебе говорю, и — от ворот поворот!.. Пусть я один буду знать, какие убытки понес, наняв тебя!..

Обрадовался Ипат такому исходу, взял денег, сколько запросил, и пошел вслед за Кирикэ. Когда домой добрался — скирд был уже обмолочен, зерно провеяно и даже в муку перемолото. Словом, пока он шел, все, что нужно, сделано было. Увидел все это Ипат и что сказать — не знает. Стал догадываться, что в самом деле с нечистой силой связался.

— Знаешь, Кирикэ, — сказал о н , — помещик, хоть и боярин, а опростоволосился! Вот, я и деньги еще домой принес!

— Тоже неплохо, хозяин! Клади их в карман, да молчок. Я ведь заранее знал, что уйдем мы не с пустыми руками!

А назавтра говорит Кирикэ Ипату:

— Ну, хозяин, теперь-то уж тебе сказать нечего! Срок моей службы скоро кончится, и останешься ты без меня. До моего прихода ты кое-как обходился — привык один жить. Теперь тебе тяжелее будет. Да и хозяйство у тебя выросло... Так что решай — будешь женоу в дом брать или нет?

— Да я уж и не знаю, Кирикэ, как быть. Вроде бы и надо. Подвернись хорошая невеста, может, и решился бы. Только очень уж боюсь — а ну как ведьму посажу себе на шею? В дом ее введу — лэутары играть будут, а из дома выдворить — и тысяча попов не управится! И она мне опротивеет, и все добро, что скоплено, да и сама жизнь!..

— Так вот о чем ты тревожишься, хозяин! Перестань об этом думать и положиись во всем на меня! А я тебе такую девку подберу, какой нигде не отыщешь!.. Я ведь знаю, чем они дышат. Скажу не хвалясь — все мне о них ведомо, до самых тонких тонкостей. Тут уж я не ошибусь. Ночью с закрытыми глазами могу выбрать ту, что надо! Для кого другого — пальцем бы не шевельнул, хоть бы мне все на свете обещали. Но я хочу, чтобы ты непременно был не хуже иных прочих, что нос перед тобой задирают только потому, что ты — холостой! Словно ты не можешь жену прокормить!

— Эх, Кирикэ! Слишком уж ты какой-то не такой! От твоих речей с ума-разума сойти можно! Нашел я в тебе хорошего свата. Не знаю, кто тебя в мой дом направил, но мне повезло. Я вот частенько думаю: как это так — за что ты не возьмешься, все у тебя получается? Порой я сам себя спрашиваю, как тот боярин меня спросил, — кто ты такой? Дух бестелесный, человек или дьявол? Одно вижу — дело тут нечистое! Однако, кто бы ты ни был, меня не касается. А пользу ты мне большую принес — ничего не скажешь!.. Ладно. Как по-твоему я должен жену себе выбирать?

— А вот как: наступит воскресенье, пойдём мы с тобой в село на гуляние. Я буду с мальчишками в сторонке стоять, а ты в круг ступай, поближе к той девке, что тебе больше всех приглянется. Я подойду незаметно, гляну на нее, а потом тебе расскажу, чего она стоит...

— Это ты хорошо придумал, Кирикэ! А только знаешься ты с нечистой силой, не иначе!..

— Так ведь нынче, хозяин, коли с чертями маленько не знаться — святые к рукам приберут. Тоже не сладко!..

¹ Лэутары — музыканты.

О чем бы там еще ни говорили Ипат с Кирикэ, но наступило наконец воскресенье, и они оба пошли в село на гуляние. Кирикэ, как и положено мальчишке, забрался на плетень, уселся там и принялся зубоскалить со своими ровесниками, а Ипат сразу же наметил себе подходящую девку и встал в круг рядом с ней. Сначала рассмотрел ее с головы до ног и с ног до головы, потом, когда закружился хоровод, стал ей ручку пожимать, стал на ножку наступать, стал... Словом, все стал делать, что делает парень, когда ухаживает. И пошло — топ-топ-топ, да хлоп-хлоп-хлоп!.. Влюбился наш Ипат — дальше некуда!

Кирикэ болтался поблизости, и, как только Ипат из круга вышел, говорит ему чертенюк:

— Что-то, хозяин, тебя пот прошиб? Или девка по нраву пришлась?

— Да уж не знаю, что и сказать... Видно, за грехи мои тебя ко мне принесло!.. Думается мне, пора к делу приступать. Девка — огонь! Приворожила меня!..

— Ну нет, хозяин! Коли хочешь к моему совету прислушаться — не женись на ней! Она и впрямь огонь, и когда-нибудь здорово обожжет! Заметил, как она на улыбку скупа? Слишком уж она благочестивой кажется. Из-за такой вот святоши мой дед за одну ночь в колодце поседел!..

— Это как же, Кирикэ?

— Да уж так... Лучше тебе не знать, хозяин...

— Послушайте-ка его! Да скорее ему челюсть выбьешь, чем у него слово!.. Нет, Кирикэ, я думаю, как выйдет она за меня — сразу хорошей станет!

— Хм! Это почему же? Я тебе, хозяин, говорю по-дружески: этой девке три ребра от черта достались. Оно конечно — даже у самой лучшей из них хоть одно чертово ребро, да есть. Вот ты и погоди, хозяин, пока мы найдем с одним только ребром. А тогда я скажу, что дальше делать...

— Эх, Кирикэ, Кирикэ? До сей поры ты мне голову морочил, чтобы я жену себе взял, а как разохотил меня — тебе мой выбор не подходит!..

— Знай, хозяин, что не желаю я тебе зла. Слушайся меня — не прогадаешь!

Послушался Ипат и вечером вслед за Кирикэ домой пошел. Ни с чем вернулся, как и уходил. Однако, возвратившись с гуляния, он уже не таким стал, как раньше был. И работа ему не в работу, и думал он только о том, чтобы поскорее воскресенье настало. Пришло воскресенье, и Ипат с Кирикэ снова отправились в село. На сей раз в другое. Кирикэ, по своему обыкновению, к мальчишкам присоединился, а Ипат стал в круг, поближе к девице, что ему теперь приглянулась. Все танцы танцевал, во все игры играл возле нее и в разговор вступил. Хитрая девка голову ему кружит, а он от нее оторваться не может.

Но Кирикэ был рядом, и, когда Ипат из круга вышел, говорит работник:

— Что, хозяин? Вижу, и от этой не отказался бы? Уже влюбиться успел?

— Так оно и есть, Кирикэ!

— Тогда я тебе скажу, что эта нам тоже не подходит. На вид такая тихая, а в ней два чертовых ребра! Так что потерпи-ка ты еще, хозяин!

— Ей-богу, не знаю, Кирикэ, где мы, по нынешним временам, такую благочестивую найдем, чтобы тебе подошла? Я уж думаю — мы все выбираем, выбираем, да так ничего и не выберем!

— Зря так думаешь, хозяин. Положись на меня — уж я-то знаю, что делать!..

Снова Ипат поступил, как Кирикэ сказал, и к вечеру домой ни с чем возвратился. На сей раз он уже ни за какие дела не брался, еда ему

впрок не шла, сон его не брал — так плохо ему было. Целыми днями ловил он божьих коровок, пускал по руке ползать и напевал:

Божья коровка, божья коровка!
Ты скорей туда лети,
Где смогу жену найти!..

Да что говорить! Приспичило ему жениться, да и все тут. Ведь недаром говорят: пьяного сторонись, на беду не напорись. Или еще: в мокрой соломе огонь тлеет, да когда-нибудь вспыхнет. Так и с Ипатом: то икает, то вздыхает и ждет не дождется воскресного дня.

Снова пришло воскресенье, и снова пошли они на гуляние в соседнее село. Опять в другое. А как пришли туда, Ипат сразу выбрал себе место в кругу рядом с пригожей девицей, что так и сверкала глазами, словно змейка! Он уже ушлым стал, научился красивых девиц с первого взгляда выбирать, а вот каковы они внутри — одному Кирикэ ведомо! Что может быть труднее, чем пару себе подобрать? Но Кирикэ — тут как тут. Уж как он сделал, что придумал, только девица и Ипат стали сохнуть друг по другу. Видно, сам Сатана их булавкой кольнул.

Когда вышел Ипат из круга, отвел его Кирикэ в сторонку и спрашивает:

— Ну, хозяин, как она тебе?

— Как она мне, Кирикэ? До чего ж полюбилась! Кажется, так бы и съел ее глазами! Коли и эта не подходит — никогда ни на ком не женюсь! Ты и так уже голову мне совсем заморочил!..

— А эта какраз и подходит, — сказал Кирикэ. — Нечего и говорить, что и у нее чертово ребрышко имеется. Но, живы будем, вытащим из нее это ребро!

Ох и обрадовался Ипат! Прилип к девице, как чертополох к овце. Что он только ни делал, чтобы ее к себе привлечь! То намек бросит, то загадку загадает, то пошутит, то одно, то другое, и мало-помалу они без ума друг от друга сделались...

Не вытерпел Ипат, сватать ее отправился. Как в народе говорят:

К матушке моей пойди,
Меня в жены попроси.
Не отдаст, так укради!..

Как услышали батюшка с матушкой, что у них такой хороший зять будет, обрадовались и отдали ему свою дочку.

Через несколько дней и свадьбу сыграли. Привел Ипат жену домой вместе со всем ее приданым. Тут и делу конец.

Зажили они в любви и согласии, как голубок с горлицей.

Однажды Ипат, преисполненный великой благодарности, сказал своему работнику:

— Слава богу, Кирикэ, хорошая у меня жена! Хороший мы выбор сделали!..

— Хороший, хозяин, что и говорить... Только, знаешь, есть такая присказка — там упадешь, где и не думаешь! Поживем, увидим... Помнишь, я говорил тебе, что и у этой, уж до чего она хороша да скромна, а есть одно ребро, самым дьяволом вставленное? Ребро это непременно вынуть следует, коли хочешь, чтобы жена у тебя была, какая нужно, и чтобы жил ты с ней до самой старости...

— Ну, Кирикэ, я уж и не знаю, кто тебе угодить может! Столько тебе всего ведомо, что и черт не разберет!..

Года не прошло — родила Ипатова жена сына. А еще через пару месяцев разбудил как-то Ипата тесть — приехал молодых на свадьбу тещино брата звать. Кирикэ, поскольку чертом был, пронюхал, о чем речь, отозвал хозяина в сторонку и говорит:

— Хозяин, пусть твоя жена без тебя на свадьбу поедет, с сыном. А ты скажи, что, дескать, делами занят и коли сможешь — потом приедешь, а коли нет — пусть не прогневаются. Потом я тебя научу, что дальше делать.

Послушался Ипат совета и говорит тестю:

— Батюшка! Не могу я сейчас на свадьбу ехать. Сам видишь, дел у меня по горло, вдвоем с работником едва управляемся. Жена пусть без меня едет, а я, коли сумею, буду следом за ней, а коли нет — не прогневайся!..

Тестю против сказать было нечего, забрал он дочь, младенца-внука и уехал.

На второй день говорит Кирикэ Ипату:

— Вот теперь, хозяин, самое время из твоей жены чертово ребро вынимать. Седлай-ка коня и скачи скорей на свадьбу. Только сначала послушай, что там делать будешь. Недалеко от дома твоего тестя хатенка стоит неприметная. В хатенке той баба-сводня живет. В своем деле — мастер. Куда угодно пролезет, словно чертов бурав. Вот к ней ты и поезжай. Прикинешься странником-чужеземцем. Рассыпся перед ней мелким бисером, что хочешь пообещай — хоть небо, хоть землю, а только добейся, чтобы она твою женушку к тебе привела. Вот тогда ты и увидишь, на что способны бабы и насколько можно жене доверять!..

— Да ты что несешь-то, Кирикэ?! За свою жену я голову на заклад положу!..

— Не разбрасывайся своей головой, хозяин! Лучше побереги ее — пригодится!

— Но ведь меня там узнают, Кирикэ!

— Не твоя забота, хозяин. Можешь хоть на самую свадьбу пойти, а я уж так сделаю, что никто тебя не узнает!..

Захотелось Ипату самолично проверить, правду ли говорит Кирикэ. Послушался он и поехал.

Приехал в село и сразу к той бабе завернул. Сначала издали с ней речь повел, а потом напрямик сказал, чтобы привела она к нему вечером жену Стана, что в таком-то селе живет.

Выслушала его баба, рот рукой прикрыла, головой замотала:

— Господь с тобой, добрый человек! Как же я могу учинить это дело? Тем паче, что муж у нее дюже хорош — красив да богат. И сама она не из таких...

Тогда достал Ипат из седельной сумы флягу с водкой, дал бабе глотнуть как следует, протянул ей увесистый кошель с деньгами.

— Тетушка, — говорит, — сделаешь, как я прошу, еще больше от меня получишь! Можешь мне поверить — никто на свете об этом не узнает!..

Пораскинула баба умом: вроде бы и не стоит за такое дело браться, да ведь и от кошелька неохота отказываться! Думала, думала, наконец, взяла деньги и говорит:

— Ох ты, добрая душа, чтобы тебя блохи покусали! Ведомо мне, что такое муки сердечные, черт бы их побрал!.. Да вот не знаю, как это дело уладить... Лишь только подумаю, что надо идти к мужней жене с таким разговором — от стыда сгораю!.. Ну да ладно — попытаю счастья. Выйдет — хорошо. Не выйдет — не взыщи, сам понимаешь, уж больно трудны такие дела, редко их до конца довести удается...

— А ты, тетушка, поверь — коли сделаешь, как я прошу, — в обиде не останешься!

— Посмотрим, — отвечает баба. — Попытка не пытка! Поди знай, откуда заяц выскочит!.. Мужа-то ее здесь нет!..

Как вечер наступил, оставила сводня странника в своем доме одного, а сама отправилась к соседям на свадьбу.

Пришла, отозвала в сторонку Ипатову жену, набрехала ей с три ко-роба, совсем голову заморочила.

— Как же нам сделать, тетушка, — спрашивает же н а , — чтобы все гладко сошло?

— Да уж это, молодушка, не бог весть как трудно. Пойди в дом и младенца своего разбуди. Он проснется, заплачет. Ущипни его легонько, он в голос завопит. Отец твой разгневается, велит отнести его к соседке — ко мне, значит. Ты повинуйся, бери сыночка вместе с колыбелькой и приходи. А уж тогда...

Послушалась Ипатова жена, все сделала, как сводня наказала, и поздно вечером пришла к ней с младенцем.

Как вошла в дом, стала про свадьбу рассказывать всякое. Начались тут хиханьки да хаханьки. А мужа своего совсем не узнала.

Тогда Ипат напоил их обеих влежку, взял из колыбельки своего сына, как его Кирикэ научил, сел на коня и домой поскакал.

Издали завидел его Кирикэ, из ворот навстречу выбежал:

— Ну что, хозяин? Обманул я тебя?

— Не обманул, Кирикэ! Теперь я вижу, на что бабы способны! Ни часа больше с ней жить не стану! Выгоню ее, сукину дочь, ко всем чертям!

— Не надо так, хозяин! Твоя жена еще из самых лучших. Я-то знаю, кто тут виноват. Пусть только она домой вернется, а уж тут мы из нее вытащим чертово ребро, о каком я тебе говорил. Тогда увидишь, какая хорошая из нее жена получится!..

А теперь давайте мы с вами опять в то село вернемся.

Прочухались обе бабы — Ипатова жена и сводня — ни чужестранца в доме, ни ребенка! Зашлись они в рыданиях, стали себя кулаками по голове бить — а что толку? Заметалась ведьмака-сводня туда-сюда: хоть бы след какой от младенца отыскать — ничего! Как сквозь землю провалился!

— Охо-хо! — запричитала ба б а . — Вот ведь оказия какая вышла! Горе мне, молодушка! Нагрешила я с тобой... Черт знает, что теперь делать!.. — Окаменела бабка от горя. Тут-то ее дьявол и надоумил: — Эх, молодушка! Ничего теперь другого нам не остается, как только взять моего кота, в тряпки завернуть, в колыбельку положить, дом изнутри поджечь, а самим выйти. Когда разгорится хорошенько, станем мы с тобой вопить во весь голос — пожар, мол! Пока люди со свадьбы сбегутся, пока суд да дело — дом и сгорит дотла. Увидят люди пепел от кота — подумают, что это ребенок сгорел. Так мы, может, и избавимся от беды!

— Хорошо ты придумала, тетушка! Так мы и сделаем!..

— Сделать-то сделаем, а вот мне на старости лет придется без крива остаться!..

— Тетушка, милая! Не тревожься об этом: я тебя с собой к нам заберу. Будешь жить, как у Христа за пазухой! Муж у меня — человек добрый, будет о тебе, как о матери родной, заботиться!..

Дала баба себя уговорить. А что ей еще оставалось? Подожгла свою хибару и, пока сбежался народ, пока то, пока се — дом, кот и все остальное в пепел обратилось.

А обе бабы рыдали, слезами землю орошали и причитали в голос:

— Ох, горе нам! Ох, беда какая! Сгорел младенец! Живьем сгорел!.. Люди, видя, как они убиваются, утешают...

На другой день снарядил Ипатов тесть батрака, дал ему каруцу, волов и наказал отвезти к зятю дочь свою и бабу-сводню да печальную весть передать о несчастье свершившемся.

По пути сказала бабе Ипатова жена:

— Залезай-ка ты, тетушка, в этот мешок. Когда домой приедем, я перво-наперво мужу скажу, что мне матушка конопляной кудельки да-

ла — мешковину ткать. Но это только до тех пор, пока наш чертов работник от нас не уйдет. Сегодня срок его найма кончается...

Послушалась баба, залезла в мешок.

Когда приехали, завели во двор каруцу. Ипатова жена оставила все как есть, а сама заплакала и прямо в дом побежала, чтобы мужа разыскать и рассказать ему, что случилось. Однако ни Ипата, ни Кирикэ дома не оказалось. Вместе с батраком своего отца перетасила она кое-как мешок с бабой в летнюю кухню-временку и на печь за трубу забросила.

Батрак уехал восвояси, и тут сразу Ипат объявился.

Завидев его, зарыдала жена и говорит:

— Ох, горе-то какое, муженек!.. Что мне пережить пришлось!.. Ведь сыночка нашего нет больше на свете!..

И рассказала мужу, что произошло, как ее баба научила.

— Ладно уж, не убивайся так! — сказал Ипат. — Живы будем — еще детей нарожаем. Кого тебе винить? Видать, так господу угодно было!..

А тут и Кирикэ пришел. Принес он молоток, долото да клещи.

Ипатова жена и ему начала было жаловаться. Но Кирикэ перебил ее:

— Неужто ты поверил, хозяин? Нечего ей в рот глядеть. Давай-ка лучше от скверны ее очистим. Повалим да вырвем чертово ребро!

Схватил тогда Ипат жену свою за косы, швырнул на землю да прижал крепко-накрепко. А Кирикэ стал ребра ей считать: одно, другое, третье. Как дошел до четвертого ребра, приставил к нему долото, молотком ударил, отрубил и клещами наружу вытащил. Потом кожу на рану натянул, приложил что-то, и сразу зажила рана.

— Теперь, хозяин, жена твоя в полном порядке. Только ты вожжи из рук не выпускай, осаживай ее иногда, чтобы не забывалась да рогов тебе часом не наставила!..

Потом вошел Кирикэ в дом и вынес ребенка. Мать как увидела — онемела и похолодела вся от страха.

Поцеловал Кирикэ руку Ипату и говорит:

— Ну, хозяин, сегодня как раз три года исполнилось, как я служить к тебе нанялся. Будь здоров, а я пойду, откуда пришел. Но узнай и всем расскажи, что служил тебе целых три года черт за кусочек мамалыги, что ты на пеньке оставил в лесу, да за дрянную подпорку для нашего ада!..

Выволок Кирикэ мешок с бабой из-за печной трубы и тут же с глаз исчез.

Спохватилась жена, закричала истошным голосом:

— Беги за ним, муженек! Задержи его! Матушка мне кудельки дала мешковину ткать. Из чего мы мешки шить будем?!.

Однако мешок Ипата мало заботил. Очень уж он огорчался, что Кирикэ лишился такою паренька хорошего. И даже не знал, где его искать, как отблагодарить за все доброе.

А Кирикэ был уже в преисподней. Скараоский принял его с распростертыми объятиями и содержал в чести и холе.

Баба-сводня стенала под тяжестью ада. Один лишь кот ее оплакивал и сожалел о ней за то, что при жизни ласкала она его и баловала.

Вот так, люди добрые, избавился Ипат от черта и от бабы-сводни и зажил с женой да детьми в мире и довольстве.

С тех пор, когда рассказывали при нем о том, о сем, что то, мол, так, а это — этак, он только головой покачивал:

— Занимайтесь-ка вы лучше своими делами да не морочьте мне голову всякой ерундой! Я ведь не кто-нибудь, а Стан — человек бывалый!

СКАЗКА ПРО БЕЛОГО АРАПА

Сказывают, жил когда-то король, у которого было три сына. И еще был у короля старший брат, который царствовал в далекой стране. А звали того царя, королевского брата, Зелен-царем. И не было у Зелен-царя сыновей, а только дочери. Немало лет минуло с тех пор, как виделись в последний раз оба брата. А двоюродные братья и сестры, королевичи и царевны, и вовсе друг с другом знакомы не были. И так случилось, что Зелен-царь не знал своих племянников, ни король — племянниц, ибо страна, которой правил старший брат, находилась на одном краю земли, а королевство младшего — на другом. К тому же в те времена почти во всех странах велись опустошительные войны, пути как по воде, так и по суше были мало изведаны и весьма путаны, потому и нельзя было странствовать так легко и безопасно, как в наше время. Тот, кто отправлялся в дальние страны, нередко расплачивался жизнью за свою безрассудную смелость.

Но не будем отвлекаться и начнем разматывать нить нашей сказки.

Говорят, царь, состарившись и захворав, написал брату-королю, чтобы тот прислал ему немедля достойнейшего из сыновей, которому мог бы он после смерти оставить свое царство. Получил король грамоту, призвал к себе всех трех сыновей и говорит им:

— Вот что пишет мне старший мой брат и ваш дядя. Того, кто себя достойным считает владеть столь великой и богатой страной, отпускаю я — пусть выполняет последнюю волю своего дяди.

Собрался старший сын с духом и говорит:

— Я так думаю, отец, что мне эта честь положена, ибо я старший из братьев. Поэтому прошу тебя денег мне выдать на расходы, платье дать на смену, оружие и коня верхового, чтоб отправиться мне без промедления.

— Хорошо, сынок. Если веришь, что сможешь добраться и что в силах править страной, выбирай себе из табуна любого коня, какой приглянется, денег прихвати, сколько понадобится, платье по вкусу, оружие по плечу — и счастливой тебе, сынок, дороги.

Взял королевич всего, сколько потребовалось, руку у отца поцеловал, принял от него грамоту к царю, попрощался с братьями, сел на коня и веселый пустился в дорогу.

Король, желая его испытать и никому не сказав ни слова, к вечеру надел на себя медвежью шкуру, сел на коня, обогнал сына по другому пути и схоронился под мостом. Выехал королевич к мосту, видит — навстречу ему с ревом выходит медведь. Взвился конь королевича на дыбы, захрапел, чуть было не сбросил седока. И не в силах совладать с конем, не отваживаясь продолжать путь, вернулся королевич обратно к отцу. Король же, опередив его, тоже домой прискакал, отпустил коня, шкуру припрятал, сидит, поджидает сына. Вот наконец является к нему сын поспешно, однако не так поспешно, как уезжал.

— Видать, забыл ты что-то, сынок, коли домой вернулся? — удивился король. — Недобрый это знак, насколько мне известно.

— Забыть-то я ничего не забыл, но у самого моста вышел мне навстречу медведь, такой свирепый, что меня в страх вогнал. Еле спасся я из его лап и решил лучше вернуться к тебе домой, чем стать добычей хищных зверей. Пускай теперь кто хочет, тот и отправляется, а мне ни царства, ни другого чего не надо; ведь не жить мне, сколько свету стоять, всей земли не унаследую.

— Что ж, правильно решил, сынок. Видать, не для царства ты, и царство не для тебя; чем людей путать, лучше тебе, как сам говоришь, в стороне оставаться, потому, слава богу, был бы пруд, а лягушек хватает. Только не знаю, с дядей твоим как быть? Сам видишь, нехорошо как получается...

— Отец, — сказал тогда средний сын. — Я поеду, если позволишь.

— За моим позволением дело не станет, сынок, но большое диво будет, если и ты на попятный не пойдешь. Грех его знает, вдруг возьмет да и выскочит тебе заяц какой навстречу! Так и вижу, как вслед за братцем домой являешься. Позора тогда не оберешься. Но, однако же, попытайся. Посмотрим, как тебе удача послужит. Как говорится: всяк молодец своего счастья кузнец. Коли выйдет — хорошо, а нет, так что ж! И с другими удалцами такое случалось.

Вот собрался средний сын в дорогу, принял из отцовских рук грамоту к царю, простился с братьями и на другой же день отправился в путь. Ехал он, ехал, пока не стемнело. А когда выехал к мосту, медведь тут как тут: как зарычит! Конь под королевичем храпит, на дыбы встает, пятится. Увидел королевич, что дело не шуточное, махнул рукой на царство и со стыдом к отцу воротился. Как завидел его король, говорит:

— Ну, сынок дорогой, верно ведь сказано: защити меня от кур, а собак не боюсь.

— Что это ты говоришь, отец, — сказал королевич с обидой. — Или медведи у тебя курами зовутся? Теперь я впрямь верю брату, что этакий медведь может истребить целое войско... Сам удивляюсь, как я уцелел; не надобно мне ни царства, ни другого чего. Слава богу, еда-то для меня найдется у тебя в дому,

— Еда-то, конечно, найдется, не о том, сынок, речь, — нахмурился король. — Только позор свой куда денете? Чтобы из трех сыновей, сколько их у отца, ни один ни к чему не был пригоден! Зря вы тогда еду переводите, дорогие мои. Болтаться всю жизнь, как лист на ветру, да хвалиться, что, дескать, королевич я — не к лицу молодцу... Как видно, нечего моему брату надеяться на вас: когда рак свистнет, исполнится желание его. Нечего сказать, хороши племяннички:

На пирог —
Со всех ног,
А из схватки —
Без оглядки!

Услыхал младший сын, покраснел от стыда. Вышел в сад и заплакал горько: до самого сердца дошли отцовы слова обидные. Не знает бедняга, что ему делать, чтобы смыть позор. Вдруг видит перед собой сгорбленную старуху с протянутой рукой.

— Что задумался, ясный королевич? — говорит старуха. — Прогони кручину из сердца, ибо счастье тебе улыбается отовсюду и незачем тебе горевать. Лучше подай старухе.

— Не серди ты меня, бабуся, — ответил королевич, — другая у меня теперь забота.

— Королевич, королевич, быть бы тебе царем! Поведай старухе, что тебя тревожит? Кто знает, может, и я тебе сгожусь.

— Знаешь что, бабуся! Дважды два — четыре, а пять больше. Оставь меня лучше в покое, потому я и без того от горя света не вижу.

— Добрый королевич, не гневайся на старуху. Кто знает, откуда к тебе помощь прийти может...

— Что ты, бабуся, вздор мелешь? Неужто от тебя мне помощи ждать?

— Может, и чудно тебе покажется, — сказала старуха. — Только знаешь, свет-королевич, случается, что всевышний проливает благодать свою и на немощных телом; видать, так уж угодно ему. Не смотри, что я горбата и оборвана; волшебная сила дана мне заранее знать, что замышляют сильные мира сего, и часто смеюсь я над несмышленостью и слабостью их. Не верится тебе, верно ведь? Но упаси тебя бог от соблазна! Ибо немало глаза мои видели за те долгие века, что на плечи мои легли. Ох, королевич! Имей ты силу мою, облетел бы моря и страны, землю бы перевернул, весь бы свет в руках своих держал, и все бы по твоему хотению было. Но ишь ты, как разболталась немощная горбунья! Прости меня, господи, сама не знаю, что рот мой мелет! Свет-королевич, подай-ка старухе милостыньку!

Королевич, замороженный словами старухи, достает монету и говорит:

— Возьми, бабуся, от меня малость, от бога много.

— Тебе, дающему, да воздаст господь милосердный, — отвечает старуха, — и долгую жизнь пусть дарует тебе, ибо большая ожидает тебя удача. Скоро ты станешь царем, которому равного не было на земле, самым любимым, и славным, и могучим. А теперь, свет-королевич, будет тебе награда за милосердие твое. Не шевелись, прямо смотри мне в глаза и внимательно слушай, что я скажу: ступай к отцу твоему и проси у него коня, оружие и одежду, что были при нем, когда в женихах он ходил, и тогда доедешь ты, куда братья твои не сумели добраться. Ибо тебе эта честь предназначена свыше. Будет спорить отец твой, не захочет тебя отпускать, а ты стой на своем, знай проси его — и упросишь. Платье, о котором говорю, старое и поношенное, оружие — ржавое, а коня сам выбирать будешь; выставишь посреди табуна жаровню, полную жара; тот конь, что к жару подойдет и грызть его станет, вынесет тебя на царство и от многих опасностей уберезет. Запомни же, что я сказала тебе, ибо, может, и встретимся мы еще с тобой где-нибудь на краю света; ведь гора с горою сходятся, а человек с человеком и подавно!

Говорит старуха, и видит вдруг королевич, как окутало ее белым облаком и подняло, все выше и выше, пока вовсе не скрылась она из глаз. Содрогнулся королевич, обомлел от изумления и страха; когда же очнулся, то, полный веры в себя и успех свой, пришел к отцу и сказал:

— Позволь и мне, отец, попытать счастья вслед за братьями. Будет ли мне удача, нет ли — наперед тебе обещаю, что как выеду из твоего дома, обратно уже не вернусь, хотя бы пришлось мне со смертью самой в пути повстречаться.

— Не думал я, не гадал, сынок дорогой, что от тебя придется такие речи слышать, — ответил король. — Братья твои малодушными оказались, и махнул я на них рукой. Что-то не верится мне, чтоб ты оказался храбрее. Но уж если ты так крепко стоишь на своем, то удерживать тебя не стану. Смотри же, как бы тебе не столкнуться в пути с напастью и тоже не сменить честь на позор, потому что тогда, прямо скажу, не будет тебе больше места в моем доме.

— Ну что же, отец, попытка не пытка. Поеду и положусь на свое счастье, как бог даст. Только прошу тебя, дай мне коня, оружие и платье, что при тебе были, когда ты в женихах ходил.

Услыхал король такие слова, и вроде не по вкусу они ему пришились. Насупил он брови и сказал:

— Эге-ге, сынок дорогой, своими речами напомнил ты мне песенку:

Юный витязь, старый конь —
Не сдружиться им в пути!

Да и кто знает, где нынче кости того коня тлеют! Не человеческий же век жить ему было! И кто только тебе такое в голову втемяшил?! Или, как говорится, за подковами дохлых лошадей гоняешься?..

— Отец, только того и прошу у тебя. Жив ли тот конь, нет ли, это ты мне предоставь. Я только знать должен, что отдаешь мне его:

— С моей стороны, пожалуй, бери, сынок дорогой, но только дивлюсь я, откуда коня возьмешь, коль его на свете нет.

— Об этом я не печалюсь, отец, лишь бы ты согласие дал! Есть он, нет ли его, а уж если отыщу, моим будет.

Забирается королевич на чердак, достает оттуда узду, поводья, кнут и седло — все запыленное, иссохшее, древнее, как земля. И еще достает из кладовой одежду старую-престарую, и лук, и стрелы, и меч, и булаву, ржавчиной покрытые, давай их чистить да тереть. Потом полную жаровню жару накладывает, идет к табуну и ставит жаровню среди лошадей. Выходит тогда из табуна кляча горбатая, лохматая, до того костлявая, что хоть ребра считай, и прямо к жаровне — мордой жар берет. Хватил королевич клячу уздой по голове:

— Ах ты, — говорит, — мерзкая животина! Из всего табуна тебе одной вздумалось жар глотать? Смотри, если снова грех попутает, не сдобровать тебе.

Начал он снова лошадей взад-вперед прогуливать, и опять кляча как кинется да как начнет жар с жаровни глотать! Снова хватил ее королевич изо всей силы уздой по голове, и опять туда-сюда лошадей водит, приглядывается, не подойдет ли другой конь жар глотать. И в третий раз все та же кляча подошла, столько жару отхватила, что больше и не осталось. Совсем распалился королевич, снова хватил ее уздой что было мочи, а потом набросил на нее поводья, надел узду и так про себя подумал:

«Взять или отпустить? Боюсь, как бы не засмеяли меня. Чем на таком коне, лучше пешком».

А пока стоял он да раздумывал — брать или не брать? — отряхнулся конь трижды и стал вдруг гладкий, да холеный, да резвый, как трехлеток, и не было во всем табуне красивее жеребца. Глянул он королевичу прямо в очи и сказал:

— Садись на меня, господин мой, и крепко держись.

Сунул ему королевич удила в рот, вскочил на него — до самых облаков взвился под ним конь и опять на землю стрелой опустился. И снова взлетел до луны, и снова быстрее молнии на землю вернулся. И в третий раз поднялся он до самого солнца, а когда опустился на землю, сказал:

— Ну, господин мой, что скажешь? Думалось ли тебе когда-нибудь, что достанешь

Солнце
Ногами,
Месяц
Руками,
И корону будешь искать
За облаками?..

— Да что сказать, дорогой мой друг! В смертный страх вогнал ты меня. До того дух захватило, что и сам я не знал, где нахожусь, едва не погубил ты меня.

— Вот так же и у меня дух захватывало, господин мой, когда честил ты меня уздой по голове, и захотелось мне отплатить тебе за три удара твои. Как говорится: око за око. Теперь, думаю, уже знаешь ты меня и уродом и красавцем, и старым и молодым, и хилым и могучим. Поэтому стану я снова таким, каким видел ты меня в табуне. Отныне готов я сопроводить тебя, куда прикажешь. Ты только мне наперед скажи, как тебя мчать — с быстротой ветра или с быстротой мысли?

— Если помчишься, как мысль, — погубишь меня; а если как ветер, то послужишь мне, добрый мой конь, — отвечал королевич...

— Хорошо, господин мой. А теперь садись на меня без боязни и помчу тебя, куда пожелаешь.

Сел королевич на коня, погладил его по гриве.

— Ступай, — говорит, — конек мой хороший!

Полетел конь плавно, как ветер, и через мгновение опустился у королевского дворца.

— Добро пожаловать, удалец, — сказал король без особой радости. — Вот, значит, какого коня ты себе отобрал?

— Да уж как привелось, отец. Во многих местах придется мне побывать, не хочу, чтобы люди меня заметили. Где верхом проеду, где пешим пройду, как сумею.

Сказав, оседлал он коня, оружие к луке прикрепил, прихватил снеди и денег вдоволь, смену одежды в переметной суме и флягу с водой. Облобызал руку отца, взял у него грамоту к царю, простился с братьями и на третий день к вечеру отправился в путь, шагом пустив коня. Ехал он ехал, пока не стемнело. Тогда у моста вышел ему навстречу со страшным ревом медведь. Ринулся конь на медведя, замахнулся королевич булавой, готовясь ударить, как вдруг слышит — говорит медведь человеческим голосом:

— Не бей, сынок дорогой, я это.

Слез королевич с коня, а отец обнял его, поцеловал и сказал так:

— Сын мой, доброго ты себе товарища выбрал. Если кто научил тебя, то хорошую тебе службу сослужил, а если дошел ты своей головой, то голова у тебя светлая. Ступай же теперь вперед, ибо достоин ты быть царем. Только запомни мой совет: повстречаются тебе в дороге люди и злые и добрые, но остерегайся рыжего человека, а еще пуще — безбородого. Не водись ты с ними, уж очень они опасны. И во всех превратностях конь, твой товарищ, надоумит тебя, как быть, ибо и меня он в молодости из многих опасностей выручал. И еще возьми с собой эту шкуру медвежью, крепко она тебе когда-нибудь пригодится.

Потрепал он по шее коня, поцеловал обоих и сказал:

— Езжайте с миром, дорогие мои. Один бог знает, когда еще свидимся!..

Вскочил королевич в седло, а конь снова обернулся молодым, каким любил его видеть король, сделал скачок назад, потом вперед и:

Оба двинулись в дорогу,
Мы ж положимся на бога,
Потому что путь у сказки
Некороткий до развязки...

Едут они день, едут два и все сорок два, и вот заводит их дорога в лес, а в лесу выходит им навстречу безбородый человек и смело обращается к королевичу:

— Добрый день, удалец! Не нужен ли тебе слуга в дороге? По этим

местам трудно одному ездить; того и гляди, зверь нападет, тропу жизни твоей оборвет. Я тут стежку каждую знаю и, пожалуй, в пути тебе пригожусь.

— Может, пригодишься, а может, и нет, — отвечает королевич, глядя прямо в глаза Безбородому, — но пока положусь я лучше на свое счастье.

Пришпорил он коня и поехал дальше. Едет по лесу, и в ущелье снова выходит ему навстречу Безбородый, переодетый в другое платье, и говорит ему измененным голосом:

— Доброй дороги, путник!

— Доброго сердца тебе, как добр твой взгляд, — отвечает королевич.

— Что до моего сердца, то дай боже каждому такую доброту, — со вздохом говорит Безбородый. — Но что проку? Хорошему человеку нету счастья; это известно. Не гневайся, путник, но раз уж об этом речь зашла, поведаю тебе, как брату, что с самого детства у чужих людей служу. И не так было б обидно, кабы отлынивал я от работы, а то ведь тружусь, с каких пор себя помню. Тружусь, тружусь, а толку ни на грош. Потому хозяева мне все горемыки попадались. А ведь как говорится: горемыке служишь, горемыкой останешься. Попадись мне хоть раз такой хозяин, как я понимаю, не знал бы, как и угодить ему. Уж не нужен ли слуга тебе, удалец? Ты, по всему видать, человек с достатком... Что же ты скупись, не возьми себе достойного слугу, в дороге помощника? Места эти опасные; кто знает, как еще дело обернется: может, не сдобровать тебе тут одному.

— А все-таки нет и нет, — сказал королевич, кладя руку на булавку. — Сам себе пока послужу, как сумею. — И, снова пришпорив коня, поскакал быстрее. Едет он дальше по темному лесу, кончается дорога перед ним, и стежки все так перепутались, что и не понять королевичу, в какую сторону путь держать.

— Тьфу ты, черт! Вот в какую передрагу попал, — сказал он. — Это тебе не пожалуйте кушать! Ни деревни, ни города — ни души! Чем дальше, тем больше глушь. Словно сгинул род человеческий с лица земли. Зря я все-таки второго безбородого с собою не прихватил. Ежели он в матушку свою уродился, его разве вина? Правда, остерегал меня отец, но в большой нужде что будешь делать? Как говорится, плохо с плохим, а без плохого и того хуже.

И пока блуждал он, выходя то на тропинку, то на заброшенную дорогу, снова навстречу ему Безбородый, по-иному одетый, верхом на статном коне. И говорит ему Безбородый, меняя голос, да жалостливо этак:

— Бедняга ты, бедняга, по опасной дороге пошел. Видать, чужой ты здесь и не знаешь этих мест. Счастье твое, что со мной повстречался, прежде чем спуститься по этому склону, а то пропал бы... Там, в расщелине, свирепый бык многих смельчаков загубил. Я сам, на что молодец, а наемни едва-едва от него ушел. Вернись-ка лучше назад или, если уж дозарезу идти надобно, возьми себе хоть кого-нибудь в помощь. Я и сам бы к тебе в услужение пошел, будь на то твоя воля.

— Надо бы, добрый человек, — отвечал королевич, — но по правде тебе скажу: наказывал мне отец, еще когда я из дому отправлялся, чтоб сторонился я человека рыжего, а пуще того — безбородого; чтоб не вошел я с ними ни за что на свете. Не будь ты безбородым, с радостью принял бы я тебя в услужение.

— Ну, уж если на то пошло, то знай, путник, что коня изъездишь, а такого слуги не найдешь, какого ищешь. Тут ведь одни безбородые и водятся. И потом, говоря начистоту, какой ты для себя от этого помехи ждешь? Видать, не слыхал ты такой поговорки, что на волосы и на бедность пенять не след. Да и то сказать, когда нет черных глаз, голубые

целуешь! Благодарю же господа бога за то, что встретил меня, и бери к себе в услужение. Если со мной хорошенько свыкнешься, нелегко потом от себя отпустишь, ибо таков мой характер, одно знаю — хозяину верой и правдой служить. Не раздумывай долго, а то нас ночь застигнет. И хоть бы еще конь у тебя был добрый, а на этакой-то кляче, боюсь, далеко не ускачешь.

— Право не знаю, Безбородый, как быть, — отвечал королевич. — Сызмальства привык я отца почитать, и нанимать мне тебя вроде даже неловко. Но поскольку повстречалось мне уже безбородых двое, и ты после них третий, то, видать, и впрямь попал я в страну безбородых и выбирать нечего. Хоть кровь из носу, нанять тебя надо, раз уж тебе эти места так хорошо знакомы.

В два счета поладил с ним королевич, отправились они вместе, и вывел его Безбородый на дорогу. Прошли немалый кусок пути, и делает вид Безбородый, будто пить ему захотелось. Попросил он флягу у своего господина, приложил ко рту и тут же, скривившись, выплеснул всю воду на землю. Рассердился на него королевич:

— Ты что ж это, Безбородый, делаешь? Не знаешь разве, какая в этих местах нехватка воды? В этакий зной мы сгорим от жажды.

— Прошу прощения, господин мой! Вода была затхлая, и мы заболеть могли. Но ты не тревожься; скоро выйдем к колодцу со свежей водой, студеной, как лед. Там передохнем малость, флягу прополощем и водой наполним на дорогу, потому впереди колодцы нам не очень-то попадаться будут и, того и гляди, соскучимся по воде.

Свернули они на другую тропинку, продвинулись немного вперед — перед ними поляна, а от поляны рукой подать — колодец, с дубовым срубом и откидной крышкой. Колодец глубокий, и ни колеса при нем, ни журавля, а только лестница до самой воды.

— Ну-ка, Безбородый, теперя себя покажи, увидим, на что ты горазд, — сказал королевич.

Усмехнулся Безбородый, спустился тотчас же в колодец, наполнил флягу и на бок себе прицепил. Потом, постояв немного на лестнице у самой воды, сказал:

— Ну и прохлада же здесь:

Не знаю беды
На берегу воды.

Хоть и вовсе отсюда не вылезай. Отпусти, господи, грехи тому, кто этот колодец выкопал, доброе дело он сделал. В это пекло прохлада дорого стоит!

Еще постоял он немного, потом вышел и сказал:

— Боже мой, хозяин, знал бы ты, до чего мне легко стало, ну просто летать впору. Спустись-ка и ты на минутку, освежись: так тебе станет хорошо после этого, что сам себе покажешься легким, как перышко...

Королевич, совсем еще птенец в таких делах, послушался Безбородого и спустился в колодец. А пока он стоял там да прохлаждался — трах! Безбородый захлопнул крышку, встал на нее и говорит злобным голосом:

— Алелей! Лукавого человека сын! Чего опасался, того не миновал. Здорово я тебя одурачил! А теперь признавайся, кто ты таков, откуда и куда путь держишь, а нет — в колодце тебя сгною!

Что было делать королевичу? Все рассказал он подробно, ибо кто же пуще всего жизнью своей не дорожит!

— Ладно. Это я и хотел узнать от тебя, змееныш ты этакий, — сказал Безбородый. — Только смотри, без обмана. А то ведь поймаю на

лжи — не поздоровится тебе. Я и теперь спокойно порешить тебя мог, да жаль мне молодости твоей... Если хочешь еще на солнце смотреть, зеленую травку топтать, то поклянись на клинке меча своего, что во всем будешь мне послушание и повиновение оказывать, даже если велю в огонь броситься. И отныне буду я вместо тебя царским племянником, а ты — слугой моим. До той поры будешь мне служить, пока не умрешь и вновь не воскреснешь. И куда ни поедем с тобой, слова не смей проронить о том, что произошло меж нами, а не то сотру тебя с лица земли. Хочешь жизнь сохранить — соглашайся! А нет — прямо скажи, и найду я тебе расправу по нраву...

Тут королевич, видя, что попался в ловушку и выхода нет, поклялся Безбородому в верности и послушании, положившись на милость божью. А Безбородый, завладев грамотой, деньгами и оружием королевича, выпустил его из колодца, меч велел целовать на верность и сказал:

— Знай, что отныне зовут тебя Белым Арапом; и другого тебе имени нет.

Сели они каждый на своего коня — Безбородый, как хозяин, впереди, Белый Арап, как слуга, за ним:

И пустилися в дорогу,
Мы ж положимся на бога,
Потому что путь у сказки
Некороткий до развязки...

Едут они, едут долго, и ночью, и днем, длинным путем, через тридцать земель, через тридцать морей, и приезжают наконец в то царство-государство.

Как только приехали, отправился Безбородый с грамотой королевской к царю. Прочитал Зелен-царь грамоту, возрадовался, что племянник к нему явился, и тут же представил его своему двору и дочерям своим, которые приняли гостя со всеми почестями, положенными и королевичу, и царскому наследнику.

Увидев, что обман ему сходит с рук, призывает к себе Безбородый Белого Арапа, говорит сурово:

— Ступай на конюшню и коня моего холь, береги, как зеницу ока. Если приду и увижу, что не все сделано, как мне по душе, не сносить тебе головы, а пока получай подзатыльник, чтоб запомнил слова мои. Зарубил себе на носу?

— Да, господин, — ответил Белый Арап, потупив глаза. И пошел на конюшню.

Этим хотел Безбородый свой нрав крутой показать и вселить в Белого Арапа еще больше страха.

Когда ударил Безбородый Белого Арапа, царские дочери были тут же. Пожалели они слугу и сказали Безбородому с упреком:

— Нехорошо ты, милый брат, поступаешь. Если поставил нас господь над другими, то жалеть мы должны их; ведь и они, бедняжки, тоже люди!

— Ну, дорогие сестрицы, — с обычным своим коварством отвечал Безбородый, — еще вам неизвестно, что на свете творится. Если диких зверей не держать в узде, давно бы они человека растерзали. Да будет вам известно, что большая часть людей — тоже звери, которых укрощать надобно, если хочешь чего-то от них добиться.

Что тут сказать? Только руками развести! Когда обрастет мамалыга кожей, упаси от нее боже! Как говорится:

Дай мне, господи, чего не имел,
Чтоб я сам подивился, до чего обнаглел.

Царевны повели речь о другом, но ни слова Безбородого, ни родственное чувство не загладили в их сердце жестокого его обращения, ибо добро сторонится зла. Как говорится:

Лоза винограда — людям отрада,
А плоды бузины никому не нужны.

И стали они с той поры меж собой толковать, что, мол, ни в кого не удался он в ихнем роду, ни лицом, ни нравом; что Белый Арап, слуга его, много приятнее на вид и гораздо душевнее. Видно, сердце подсказывало, что не брат им Безбородый, и не терпели они его. До того он им стал немил, что, будь их воля, открестились бы от него, как от нечистого. Но что было делать, не хотели они царя огорчать.

Однажды, когда пировал Безбородый за одним столом с дядей, сестрицами и гостями, поднесли им под конец салат необычайный. Тогда спросил Безбородого царь:

— Доводилось ли тебе, племянничек, такой салат пробовать?

— Нет, государь, — отвечал Безбородый. — Я как раз собрался спросить, откуда он у вас — уж больно хорош! Кажется, целый воз съел бы, — не наелся.

— Верю, племянничек, верю, но знаешь ли ты, с каким он трудом достается! Ведь только в Медвежьем саду — слыхал, может? — тот салат растет, и редко кому удается раздобыть его и живым остаться. Из всех моих подданных один только лесник отваживается на такое дело. Да и ему кто знает сколько приходится изворачиваться, чтобы в кои-то веки достать мне самую малость — полакомиться.

Безбородый, решивший любой ценой погубить Белого Арапа, сказал царю:

— Государь мой, дядя, подивлюсь я, если не добудет мой слуга такого салата хоть из голого камня!

— Что ты, что ты, племянничек, — изумился царь. — Где же ему, не знакомому с нашими местами, такую службу сослужить? Разве что жизнь его тебе в тягость?

— А вы за него, дядюшка, не тревожьтесь! Бьюсь об заклад, что достанет он мне точно такой же салат, и немало притом. Знаю, на что он способен.

Зовет Безбородый Белого Арапа и говорит ему:

— Ступай скорее, в лепешку разбейся, а достань мне такого салата из Медвежьего сада. Иди, иди, время не терпит. Но смотри, если приказа не выполнишь, то и в мышьиной норке от меня не скроешься.

Опечалился Белый Арап, пошел на конюшню, стал коня своего по гриве гладить, приговаривать:

— Эх, конек мой, знал бы ты, в какую беду я попал! Золотые слова отца моего, правильно он меня учил. Не послушался я его и вот до чего дошел, стал слугой проходимца и волей-неволей должен повиноваться, ибо голова моя в опасности.

— Господин мой, — отвечал ему конь, — отныне хоть головой о камень, хоть камнем по голове — один конец. Будь же мужчиной, не падай духом. Садись на меня — и в путь! Знаю я, куда тебя вынести, велик господь, вызволит нас из беды!

Белый Арап, приободрившись немного, сел на коня, доверился воле его — куда захочет, пусть вынесет.

Поплелся конь шагом, пока не удалились они настолько, чтобы никто их не видел. Лишь тогда решился он силу свою показать и молвил:

— Господин мой, хорошенько держись за гриву, ибо
Полечу быстрее ветра,
Облетим с тобой полсвета.

Велик господь, и хитер бес! Ничего, найдем и на Безбородого управу. Не поздно еще.

Вознесся конь с Белым Арапом до облаков и помчался поперек земли

Над лесными чашами,
Над хребтами горными,
Над морскими волнами.

А потом опустился плавно на прекрасный остров, что посреди моря, и встал у одинокой избушки, обросшей кудрявым мхом, в ладонь толщенной, зеленым, как лягушка, мягким, как шелк.

Слез Белый Арап с коня и, к великому своему изумлению, увидел на пороге старуху нищую, которой он перед отъездом милостыню подал.

— Ну, Белый Арап, верно ведь — сбывлись мои слова, что гора с горой сходятся, а человек с человеком и подавно? Узнай же, что я святая Пятница и что известно мне, какая беда тебя сюда привела. Во что бы то ни стало хочет тебя Безбородый погубить, потому и послал за салатом в Медвежий сад. Только выйдет ему это когда-нибудь боком. Оставайся здесь в эту ночь, а я обдумаю, как быть.

Обрадовался Белый Арап, поблагодарил святую Пятницу за радушие и заботу.

— Не я, а твое милосердие и доброта помогают тебе, Белый Арап, — сказала святая Пятница и вышла, велев ему отдохнуть и успокоиться.

А сама пустилась босая по росе в лесную чащобу. Нарвала сонной травы полон подол, отварила дома с ведром молока и ведром меда и поспешила в Медвежий сад. Там вылила она отвар в колодец, до самого верха полный воды. И видит святая Пятница — со страшным ревом бежит-торопится к колодцу Медведь. Добежал, воду жадно хлебает, губы облизывает — вкусная вода, сладкая. Перестанет пить — снова рычит, опять хлебнет и опять зарычит, пока наконец не оставили его силы, и упал он, и заснул таким мертвым сном, что хоть дрова на нем коли!

Увидав это, поспешила святая Пятница к Белому Арапу, разбудила его среди ночи и сказала:

— Скорее надень на себя медвежью шкуру, что досталась тебе от отца, и прямо ступай к развилке, там тебе и будет Медвежий сад. Смело входи туда, рви салат отборный, сколько душе угодно, потому что с Медведем я уже разделалась. А если увидишь, что дело худо, что проснулся Медведь и на тебя бросается, кинь ему шкуру медвежью и беги что есть мочи ко мне.

Так и сделал Белый Арап, как велела святая Пятница. Забрался в сад и начал салат рвать, да с отбором, и такую охапку нарвал, что едва-едва взвалил ее на спину. Только собрался идти, а Медведь проснулся — и за ним! Белый Арап, видя, что плохо приходится, швырнул ему медвежью шкуру, а сам, с ношей на спине, наутек, прямо к святой Пятнице.

Поблагодарил Белый Арап святую Пятницу за все добро, ему сделанное, поцеловал у нее руку, забрал салат, сел на коня —

И отправился в дорогу,
Мы ж положимся на бога,
Потому что путь у сказки
Некороткий до развязки...

Ехал он, сколько ехал, и вот наконец прибыл в то царство и отдал салат Безбородому.

Царь и его дочери удивились, а Безбородый, задрав нос, спрашивает:

— Ну, что теперь скажете, дядюшка?

— Что и сказать племянничек? Имей я такого слугу, вперед себя пропускал бы его.

— Потому и дал его мне отец в дорогу, — сказал Безбородый. — Только из-за его смышлености. Разве иначе взял бы я его с собой, чтоб он у меня в ногах путался!

Несколько дней спустя показал царь Безбородому дорогие камни и сказал:

— Случалось ли тебе, племянничек, когда-нибудь такие большие и красивые самоцветы видеть?

— Видал я, дядя, всякие камни, а таких, по правде сказать, не видел. И где только чудо такое водится?

— А где же и быть ему, племянничек, как не в Оленьей роще? Сам Олень-то усыпан камнями драгоценными, что намного крупнее и краше этих. А во лбу у него самоцвет — будто солнце горит. Но никто подойти к Оленю не может, ибо заколдован он, никакое ружье его не берет, а уж он-то кого приметит, живым не отпустит. Стоит ему только глянуть на человека, на зверя ли, как тот сразу же мертвым на месте падает. И множество людей и хищных зверей всяких бездыханно лежат в Оленьей роще по этой только причине; видать, и впрямь заколдован он, холощен до отлучения или бес его знает что, раз уж такой опасный. А все-таки знай, племянничек, что находятся люди сатаны сатане: не смиряются, хоть ты их убей. Сколько от него натерпелись, а все их к той роще тянет, присматриваются, нельзя ли Оленем завладеть. И у кого храбрости много, а счастья и того больше, находит в роще камень-другой из тех, что Олень роняет, когда отряхнется каждые семь лет, и лучшего промысла такому счастливцу и не надо. Несет тогда камешек ко мне, а уж я за него ничего не жалею; еще и радуюсь, что заполучил. Знай, племянничек, что камни эти драгоценные служат украшением моего царства. Ни в одном другом государстве нет таких больших и чудесных камней, и слава о них облетела весь мир. Немало царей и королей наезжает ко мне для того лишь, чтоб на них полюбоваться, и никто не может понять, откуда они мне достались.

— Государь мой, дядя, — сказал тогда Безбородый, — ты уж прости меня, но до чего же люди у вас тут робкие... Бьюсь об заклад на что угодно — доставит мне мой слуга шкуру того Оленя с головой и всеми его драгоценностями.

Тут же зовет он Белого Арапа и говорит ему:

— Ступай в Оленью рощу, делай, что хочешь, только доставь мне шкуру Оленя и голову со всеми его драгоценностями. И не вздумай хоть камешек с места сдвинуть, а главное — большой самоцвет, что во лбу у него, ибо тогда не жилец ты на белом свете. Ступай же и времени не теряй.

Видит Белый Арап, куда Безбородый гнет, но делать нечего. Грустный, поплелся он на конюшню, потрепал коня своего по гриве и молвит:

— Конек ты мой милый! Снова хочет меня погубить Безбородый. Уж если на этот раз живым останусь, значит, так на роду мне написано. Только, право, не знаю, вывезет ли меня теперь мое счастье.

— Не горюй, господин мой, — отвечает конь — Была бы голова здорова, а забот на нее не оберешься. Может, велено тебе жернов на мельнице ободрать и шкуру его на царство отдать?

— Нет, конек мой милый, еще того страшнее.

— Только вели, господин мой, — говорит конь, — за мною дело не станет. Не робей. Известны мне козни Безбородого. Захоти я только, давно бы его проучил, но пускай еще попрыгает. Ты как думаешь? Ведь и такие еще нужны иногда, чтобы люди уму-разуму набирались. Ты себе так

представь, будто дедовский грех искупать приходится. Как говорится, отец с матерью крыжовник едят, а у сыновей оскомина. Ну, довольно думать, садись на меня с надеждой на бога, ибо велика его сила, не даст он нам долго страдать. Ничего не поделаешь! Суженого конем не объедешь. Однако придет конец и твоим страданиям!

Сел Белый Арап на коня, и шагом пошел конь, пока не удалились они настолько, что никто их приметить не мог. А потом поднатужился, отряхнулся по-богатырски и сказал:

— Держись крепко, господин мой, сейчас опять полечу

По путям заоблачным,
Над лесными чашами
И хребтами горными,
Сквозь поля туманные
Прямо к морю синему,
Там, где диво дивное,
Где живет волшебница,
Фея милосердная
На цветущем острове!

Сказал — и помчался с Белым Арапом

По путям заоблачным,
Над лесными чашами

и дальше наперерез

От небесных туч до солнца,
Мимо месяца златого,
Мимо ярких звезд лучистых;

а потом опустился плавно, как ветер,

На цветущем острове,
Где живет волшебница,
Фея милосердная.

Очутились они снова у святой Пятницы. Как увидела святая Пятница Белого Арапа у своей двери, вышла навстречу, говорит приветливо:

— Что, Белый Арап, верно, снова нужда ко мне привела?

— Правда твоя, бабуся, — отвечает Белый Арап, задумчивый и бледный, краше в гроб кладут. — Хочет меня Безбородый во что бы то ни стало погубить. Хоть бы уж смерть поскорее, сразу бы от страданий избавился: чем такая жизнь, во сто крат умереть лучше.

— Что ты, Белый Арап, — сказала святая Пятница, — никогда не думала, что такой ты малодушный, а теперь вижу, что ты трусливее женщины. Да не стой, как мокрая курица. Оставайся у меня в эту ночь, и я помогу тебе. Велик господь, не станет он потакать Безбородому. Но только ты потерпи, сынок, ибо немало бед у тебя позади, немного уже впереди. До сих пор трудно тебе было, но и впредь будет не легче, пока не избавишься от Безбородого, с которым хлебнешь еще горя; но из всех испытаний выйдешь невредимым, и будет тебе удача.

— Может, оно и так, бабуся, — отвечал Белый Арап, — но только слишком уж много напастей на мою голову валится.

— Сколько бог пошлет, Белый Арап, — сказала святая Пятница. — Видать, так уж тебе суждено, и не на кого сетовать, ибо не так все делается, как человек задумает, а как бог захочет. Зато когда станешь всемогущим — будешь в суть вещей смотреть и верить угнетенным и несчастным, ибо сам теперь знаешь, почем фунт лиха. А до той поры терпи, Белый Арап, только терпением ты его доконаешь.

Что было сказать Белому Арапу? Возблагодарил он господа бога за все — за доброе и дурное, а также святую Пятницу за гостеприимство и помощь.

— Вот теперь разумно говоришь, сынок. Кто бы что ни толковал, а уж когда суждено с бедой повстречаться, догоняй, коли она впереди, а если позади, то дождайся. Да что говорить? Таков мир, и как ты ни крути, таким он и останется. Плечом не повернешь его, хоть разорвись. Но подумаем лучше, как нам быть с Оленем; поди, Безбородый ждет тебя не дождется. А разве ж он не господин? Ты его слушать обязан. Как говорится: там коня привязывай, где хозяин велит.

И вот достает невесть откуда святая Пятница маску и меч Стату-Палма-Барбэ-Кот¹, вручает Белому Арапу и говорит:

— Бери, Белый Арап, очень тебе это пригодится там, куда мы пойдём. А теперь — за мной. С божьей помощью справимся и с этим делом.

Когда запели петухи, отправились святая Пятница и Белый Арап в Оленью рощу, выкопали яму в рост человека у источника, к которому всегда в полдень приходил Олень воду пить; напившись, ложился тут же и спал непробудно до заката солнца. Потом вставал, уходил восвояси и не показывался больше у источника до следующего полудня.

— Вот и готова я м а , — сказала святая Пятница. — Ты, Белый Арап, оставайся в ней весь день. Вот что тебе делать надо. Надень маску и не выпускай меча из рук. В полдень придет Олень к источнику воду пить. Когда ляжет он и заснет по своему обыкновению с открытыми глазами, ты из ямы тихонько вылезешь и так изловчишься, чтобы одним взмахом меча голову ему снять. Потом обратно бросайся в яму и не выходи оттуда, пока не зайдет солнце. Будет тебя Оленья голова по имени звать, будет просить, чтобы показался ты, но не вздумай этого делать: как уставится она на тебя смертоносным взглядом — прощайся с жизнью. Когда же закатится солнце, знай, что умер Олень. Смело тогда выходи, шкуру с него сдери, голову бери себе целиком, как есть, и приходи ко мне.

Святая Пятница вернулась домой, а Белый Арап засел в своей яме. К самому полудню слышит Белый Арап приглушенный рев — Олень приближается. Подошел Олень к источнику, жадно потянул студеную воду; опять взревел и снова воду пьет, и снова ревет, и снова пьет, пока мочи не стало. Принялся он тогда, словно бык, через голову землю бросать, а потом, трижды землю копытом взрыв, тут же на лужайке растянулся, пожевал жвачку, пожевал, да так захрапел, что только держись.

Услыхал это Белый Арап, вышел тихонько из ямы и как рубанет мечом по оленьей шее — далеко откатилась голова от туловища. А сам, себя не помня, бросился обратно в яму, как научила его святая Пятница. Брызнула оленья кровь, забулькала, растеклась во все стороны, хлынула в яму, где Белый Арап стоял, едва не захлестнула его. Забилась голова оленья в предсмертных судорогах, жалобно застонала:

— Белый Арап, Белый Арап! Много я о тебе слышан, а самого не видал. Выйди, Белый Арап, покажись хоть раз; только бы увидеть тебя, узнать, что достоин ты тех сокровищ, что тебе оставляю. Увижу тебя — с радостью умру.

Но Белый Арап, словно воды в рот набрал, сидит себе в яме, еле ногами шевелит в запекшейся крови, что яму почти до краев наполнила.

Кричала голова, кричала, а Белый Арап знай молчит, не показывает. Вот наконец наступила тишина. А когда закатилось солнце, вышел Белый Арап из ямы, шкуру с Оленя осторожно снял, чтоб ни камушка с

¹ Стату-Палма-Барбэ-Кот — легендарный персонаж молдавских народных сказок, о внешности которого говорит само его имя (Рост в Ладонь, Борода с Локоть).

места не сдвинуть, голову взял целиком, как была, и отправился к святой Пятнице.

— Ну, Белый Арап, — сказала святая Пятница, — выходит, что и с этим делом мы тоже управились.

— Да, — отвечал Белый Арап, — с помощью божьей и твоей удалось нам, бабуся, послужить Безбородому, сроду бы мне его не знать, видеть бы мне его как свои уши, да и того не надо, потому что в глазах у меня и так темно.

— Бог с ним, Белый Арап, не горюй, найдется и на него управа, ибо какова заслуга, такова и награда, — сказала святая Пятница. — Ступай, отнеси ему все, рано или поздно выйдет оно ему боком.

Поблагодарил Белый Арап святую Пятницу, поцеловал у нее руку, вскочил на коня —

И отправился в дорогу.
Мы ж положимся на бога,
Потому что путь у сказки
Некороткий до развязки...

И где только он ни проезжал, со всех сторон народ сбегался, ибо камень большой во лбу Оленя так сверкал, что, казалось, Белый Арап солнце с неба достал и в дорогу с собою взял...

Короли и цари выходили Белому Арапу навстречу, наперебой умоляли отдать им сокровища, предлагая взамен: кто — денег без счета, кто — дочь свою и полцарства, а кто — дочь и все свое царство, но Белый Арап бежал от них, как от огня, продолжая путь к своему господину.

Однажды вечером, когда сидел Безбородый вместе с дядей и сестрицами в высокой башне, увидели они вдалеке сверкающий сноп лучей; чем больше он приближался, тем сиял ярче и ослепительнее. И внезапно все живое пришло в движение, толпы за толпами сбегались, недоумевая, что за диво приключилось. А это Белый Арап шагом ехал на своем коне со шкурой и головой Оленя. А когда приехал, все Безбородому и отдал.

При виде таких сокровищ все словно окаменели, не зная, что и сказать. И было чему подивиться!

Один Безбородый не растерялся. С обычным своим нахальством обратился он к царю:

— Ну, дядя, что теперь скажешь? Сбылись мои слова или нет?

— Что сказать, племянничек? — развел руками царь. — Скажу, что, будь у меня столь добрый и верный слуга, усадил бы я его за стол рядом с собою, ибо дорого он стоит.

— Не дождется, — злобно сказал Безбородый. — Этого я не сделаю, хоть бы он выше себя подскочил. Кто он — брат моей матери, что ли, чтоб ему почести воздавать? Я так думаю, дядя, что слуга есть слуга, а хозяин — хозяин, и все тут. Потому и приставил его ко мне отец, что смысленый он, а иначе на кой он мне сдался? Эге-ге, не знаете вы, что за чертово семя этот Белый Арап! Пока укротил я его, душу он из меня вымотал. Только меня и боится. Как говорят: страх огорода бережет. Другой господин на моем месте каши не сварил бы с Белым Арапом во веки веков. Зря ты всем потакаешь, дядя. Ты, я вижу, слишком к людям доверчив. Потому и не дают тебе олени драгоценных камней, а медведи — салата. Зато мне никто на борщ дуть не станет. Увижу, что кошка балуется, так хвост прищемлю, что траву будет грызть и не пикнет. Ежели, дядя, с божьей помощью меня поскорее на свое место посадишь, увидишь тогда, как переменится царство: не будет застоя в делах, как теперь. Знаешь ведь, как говорится: человек место красит... Может, и был ты в молодости резв, да на старости изъездился. Немудрено, что и в делах порядка нет...

Под конец замолел у Безбородого язык, словно жернов, так что голова у царя кругом пошла; позабыл он и Белого Арапа, и Оленя, и все на свете.

А царевны смотрели на братца, как собака на кошку, и был он им люб, как соль в глазу. Чужало их сердце, что человек он без чести и совести. Но как было наперекор отцу идти? Что ж, гуляй, Безбородый... Как говорится: нашел село без собак и гуляет без палки. Иначе не скажешь.

Несколько дней спустя устроил царь в честь племянника большой пир, на который созвал самых знатных гостей: царей, королей, воевод, правителей городов и других именитых людей.

Незадолго до пира стали царевны Безбородого упрашивать, чтоб позволил он Белому Арапу за столом служить. Не посмел Безбородый отказать им, позвал Белого Арапа и в присутствии царевен дал согласие, не с уговором: пусть все время за спиной своего господина стоит, а на других чтоб и глаз поднять не смел; а не то он ему на месте голову снесет.

— Слышал, слуга недостойный, что я сказал? — закричал Безбородый, показывая клинок, на котором Белый Арап поклялся ему когда-то в верности и послушании.

— Да, господин, — со смирением отвечал Белый Арап. — Как твоей милости будет угодно.

А царевны и на этом сказали Безбородому спасибо.

В самый разгар пира, когда гости, отведав доброго вина, порядком уже захмелели, постучалась вдруг вещая птица в окно; постучалась и говорит женским голосом:

— Кушаете вы, пьете и веселитесь, а о дочери Рыжего царя и думать не думаете!

И тут же вылетел хмель из всех голов, пропало у гостей веселье, и каждый понес, что только на ум пришло: одни говорили, будто Рыжий царь, у которого лютое сердце, пьет кровь человеческую, как воду; другие — что дочь его ведьма и что это по ее вине столько людей погибает; третьи уверяли, что она-то и прилетела в облике птицы и стучится теперь в окно, чтобы и тут людям покоя не давать. Иные говорили, что как бы то ни было, а уж птица-то не к добру и что, видать, кем-то она подослана выследить, что в домах у людей делается. Кто потрусливее, тот себе за пазуху плевал, заклиная птицу обернуться на голову того, кто ее подослал. Словом, одни твердили одно, другие другое, и немало было сказано про дочь Рыжего царя, но никто толком не знал, где правда и где ложь.

Безбородый, внимательно выслушав всех, покачал головой и сказал:

— Упаси, боже, от людей, которые даже тени своей боятся. Видать, вы, честные гости, утят пасете, если не знаете, чьих это рук дело.

И внезапно, устремив взгляд на Белого Арапа, Безбородый подметил — или только показалось так? — на лице его улыбку.

— Ах ты, слуга коварный и лживый! Значит, известно тебе обо всем, а от меня утаил! Иди же немедля, что хочешь делай, разорвись, а доставь мне сюда дочь Рыжего царя! Ступай и не вздумай ослушаться, а не то в порошок сотру.

Повесил голову Белый Арап, пошел на конюшню, потрепал по гриве коня, поцеловал и сказал так:

— Дорогой друг, снова ввергнул меня в беду Безбородый. Новое теперь выдумал: вынь да положи ему дочь Рыжего царя. Совсем как говорится:

Прошу, дружище, за стол,
Коль со своим угощеньем пришел...

Видать, конец мне приходит. Кто знает, что еще со мной приключится. С Безбородым худо-плохо, но как-то тянул лямку. А от Рыжего, ей-

богу, не знаю, унесу ли голову. И бес его ведаёт, где этот Рыжий царь находится с дочкой своей, которая к тому же и лютая ведьма, каких больше нет! Будто черт наколдовал — не успеешь из одной беды выкарабкаться, попадаешь в другую. Видать, родила меня матушка в недобрый час, или как уж сказать, чтобы перед господом богом не согрешить. Знаю я хорошо, что мне сделать надо, чтобы раз навсегда от всего избавиться... Но привык я влачить жалкую жизнь мою. Как говорится: не дай человеку, боже, сколько он вытерпеть может.

— Господин мой, — сказал конь, нетерпеливо заржав. — Полно тебе сетовать. Настанет после непогоды и ведро. Если бы вздумал каждый по всякому случаю себя жизни решать, на всех бы дорогах только трупы валялись... Имей же терпенье! Почем знать, может, и обернется к тебе счастье лицом! Человек, пока сил хватает, с волнами жизни бороться должен, ибо знаешь ведь поговорку: не приносит год, что приносит час. Кому жить суждено и удача назначена, тот сквозь огонь и воду пройдет, невредимым останется. Как в песне поется:

Был бы я счастливым сроду,
А уж там — в огонь и воду.

Положись на меня, хозяин, знаю я, как тебя к Рыжему царю доставить. Уже носила меня нелегкая в те края вместе с отцом твоим, когда молод он был. Садись же на меня и хорошенько держись, ибо теперь с места покажу я чудесную силу мою Безбородому назло, чтобы сердце у него ядом облилось.

Вскочил на коня Белый Арап, громко заржал конь и взвился вместе с ним

Над лесными чашами,
До высот заоблачных;

а после напрямиком

От небесных туч до солнца,
Мимо месяца златого,
Мимо ярких звезд лучистых.

И вот уже начал опускаться плавно, как песня, и, опустившись,

Дальше двинулись в дорогу.
Мы ж положимся на бога,
Потому что путь у сказки
Некороткий до развязки...

А покамест посмотрим, что произошло за столом у царя, когда умчался Белый Арап.

— Ах, так! — сказал Безбородый, дрожа от злости. — Не знал я, кто ты таков, а то давно бы тебя порешил!.. Но если жив буду и не умру, отплачу тебе, голубчик!.. Достанет тебя мой меч! Смотрите же, дядя, и вы, честные гости, как черта выкармливают, не зная, с кем дело имеют! Уж на что я, кажись, малый не промах, а одурачил меня Белый Арап! Хорошо сказал, кто сказал: где крепость сильнее, там и черт злее воюет.

Царь, дочери его и гости так и обомлели от этих слов. Безбородый продолжал браниться, не в силах сдержать свою ярость, а в это время Белый Арап, тревожась о том, что ожидает его впереди, ехал да ехал по пустынным и труднопроходимым местам.

Только собрался он по мосту через широкую реку переправиться — ан муравьиная свадьба через мост спешит. Что было делать Белому Арапу? Остановил он коня, сам с собою совет держит: пройду по мосту — кучу мурашек растопчу; в воду кинусь — на дно вместе с конем пойду.

А все-таки лучше уж в воду, чем столько неповинных тварей загубить. Сказав «господи, помоги», бросился он в воду с конем, вplash перебрался на тот берег и невредимым продолжал свой путь. Едет он, едет, как вдруг догоняет его летающий муравей, говорит ему:

— Белый Арап, коль уж ты добрый такой, на мосту над нами сжалился и веселья нашего не омрачил, то и я хочу сослужить тебе службу. Возьми это крылышко и, если понадобится тебе моя помощь, подпали его. Я тогда со всем своим племенем к тебе па выручку поспешу.

Взял Белый Арап крылышко, за пазуху спрятал, муравью спасибо сказал за обещанную помощь и поехал дальше.

Едет он, едет, вдруг слышит жужжание. Смотрит вправо — ничего не видит, влево — и того меньше. После вверх посмотрел — что такое? Над головой пчелиный рой кружится, мечется, как ошалелый, не знает, куда опуститься. Сжалился Белый Арап над пчелками, снял с головы шляпу, положил на землю, а сам отошел в сторону. До чего же обрадовались пчелы! Вмиг слетелись они и всем роем собрались в шляпе. Белый Арап, очень довольный, кинулся туда-сюда, не успокоился, пока не отыскал трухлявую колоду, выскоблил в ней для летка отверстие, как сумел; колышков потом понатыкал, протер изнутри мятой, желтым донником, мелиссой, вьюнком и другими пахучими травами, приятными для пчел, взвалил колоду на плечи, высыпал осторожно пчел из шляпы в колоду, опрокинул улей отверстием вниз, лопухом накрыл от дождя и солнца и, оставив его посреди поля, меж цветов, поехал дальше.

Едет он, едет, радуясь, что доброе дело сделал, как вдруг догоняет его царица пчел и говорит:

— Белый Арап, раз уж ты добрый такой, ради нас потрудились, нам жилье построил, то хочу и я услугу тебе оказать. Возьми это крылышко. Если понадобится тебе моя помощь, подожди его, и я тотчас же к тебе на выручку поспешу.

С радостью взял Белый Арап крылышко, спрятал за пазуху, поблагодарил царицу пчел за обещанную помощь и поехал дальше.

Едет он, едет, видит — сидит у лесной опушки великан, греется у костра из двадцати четырех саженей дров и знай кричит во всю глотку, что погибает от стужи... Выглядел он страшилищем: лопухий, губы толстые, отвислые. Когда дул он, то верхняя губа выворачивалась за макушку, а нижняя накрывала брюхо. Все, к чему прикасалось его дыхание, вмиг покрывалось инеем толщиной в ладонь. Невозможно было к нему подойти, ибо дрожал он так сильно, что казалось, сам черт его тряс. И хоть бы дрожал он один, а то ведь вся природа, все твари окрест тряслись ему в лад: ветер стонал, как безумный, охали деревья в лесу, вопили камни, выл хворост, и даже дрова на костре трещали всюю от мороза. В дуплах деревьев прижимались друг к дружке белки, дули себе в когти и рыдали в кулак, проклиная час своего рождения. Словом, мороз на весь мир — и все тут. Постоял Белый Арап чуток, поглядел — уже на губах у него сосульки выступили. И не в силах удержаться от смеха изумленно сказал:

— Чего только не увидит человек за свою жизнь! Ну-ка, адово семя, сознавайся, не Жерила¹ ли ты? Молчишь? Видать, так оно и есть, коли сам огонь вблизи тебя замерзает, до того ты тепленький!

— Смейся, Белый Арап, смейся, — отвечал Жерила, весь дрожа. — Но только там, куда едешь, все равно без меня не обойдешься.

— Так ступай со мной, — сказал Белый Арап. — Еще и согреешься в пути, вредно тебе сиднем сидеть.

¹ Жерила — герой молдавских народных сказок, терпящий ужасные муки от мороза (жер — по-молд. мороз).

Пристал Жерила к Белому Арапу. Вместе кусок пути отмахали, видит Белый Арап новое диво, еще дивнее: пожирает великанище борозды за двадцатью четырьмя плугами и всю кричит, что с голоду подыхает.

— И смех и грех, — говорит Белый Арап. — Чего только не бывает на свете! Наверное, это Фламынзила¹, обжора, бездонный мешок, ненасытная утроба, которую вся земля прокормить не в силах.

— Смейся, Белый Арап, смейся, — говорит Фламынзила, — только там, куда едете, без меня дела не сделаете.

— Если так, ступай и ты с нами, — сказал Белый Арап, — не на спине же тебя таскать.

Пристал Фламынзила к Белому Арапу, втроем дальше отправились. Прошли немного — видит Белый Арап новое диво, еще дивнее: стоит чудище, воду выхлебал из двадцати четырех прудов и одной речки, на которых полтыщи мельниц вертелось, и во все горло кричит, что сохнет от жажды.

— Вот чертова образина, — говорит Белый Арап. — Лютое брюхо, бездонная бочка, которых не могут напоить все источники земли! Экое болото, верно, в желудке у него! Видать, это и есть знаменитый Сетила², пожиратель вод, сын засухи, который рожден под знаком Водолея и мучим безмерной жаждой.

— Смейся, Белый Арап, смейся, — сказал Сетила, пуская воду из ноздрей и ушей, как из мельничного желоба. — Но только без меня все равно зря идете!

— Так ступай и ты с нами, — отвечает Белый Арап. — Перестанешь в воде плесневеть, от лягушечьей пакости избавишься, мельницам дашь вертеться, хватит дурака валять! Господи боже мой, от такой сырости лягушки в животе разведутся!

Пристал Сетила к Белому Арапу, дальше отправились вчетвером. Еще кусок пути отмахали, видит Белый Арап новое чудо, еще чудеснее: стоит уродина, с одним только глазом во лбу, а глаз с решето. Откроеет уродина глаз — ничего не видит, тычется сослепу, а закроет — все видит хоть днем, хоть ночью, землю до самых недр просматривает.

— Все на свете, — заорал он, полоумный, — вижу я продырявленным, что твое решето, и прозрачным, как вода: над головой тьму-тьмущую вижу видимого и невидимого: видно мне, как трава из земли растет; как солнце за гору катится; как месяц и звезды в море тонут. Вижу деревья вершинами вниз, скотину — ногами вверх и людей — с головой меж плеч; и еще вижу, чего видеть никому не желаю — рты вижу, на меня разинутые, и невдомек мне, чему вы дивитесь — своей красоте, что ли?

Хлопнул себя Белый Арап ладонью по губам и говорит:

— Не приведи господь с сумасшедшим встретиться, уж очень беднягу жаль! Хоть смейся над ним, хоть плачь. Но, видать, уж таков он отроду. Может, это и есть знаменитый Окила³, родной брат Орбилы, двоюродный брат Кьорилы, племянник Пындила, из деревни Китилы через дорогу от Нимерилы, или из города Сэ-л-каць, по соседству с Каутацьши-де-урмэ-ну-й-май-даць. Словом, один только есть на земле Окила, что весь свет навыворот видит — не так, как все люди, только себя не видит — до чего пригож! Урод: кривой рот, во лбу один глаз, чтоб не сгладить как раз!

¹ Фламынзила — герой молдавских народных сказок, ненасытный обжора (флэмынд — по-молд. голодный).

² Сетила — герой молдавских сказок, мучимый неутолимой жаждой (сете — по-молд. жажда).

³ Окила, Орбила, Кьорила, Пындила — герои молдавских сказок (окь — глаз, орб — слепой, кьор — кривой, пынди — подстерегать). Далее следуют вымышленные названия городов и сел (кити — искать, нимери — попадать, сэ-л каць — ищи его, каутаць ши де урмэ ну-й май даць — ищите, не найдете).

— Смейся, Белый Арап, смейся, — покосился на него Окила, — только там, куда идешь, не поздоровится тебе без меня. Не так-то легко дочь Рыжего царя раздобыть, как тебе кажется. На чертов праздник отдаст тебе ее царь, если меня там не будет.

— Ступай же и ты с нами, — сказал Белый Арап. — Не за ручку же тебя водить, как слепого.

Пристал Окила к Белому Арапу. Дальше отправились впятером. Отшагали еще кусок пути, видит Белый Арап новую диковину, всех чудней: ублюдок какой-то из лука на птиц охотится. И думаете, вся его сила и сноровка в одном только луке? Не тут-то было! Владел он таким искусством и такой прытью, каких сам черт не вообразит: когда хотел, так раздавался вширь, что всю землю руками охватывал. Или так страшно вытягивался, что рукою доставал до луны, до звезд, до солнца, и до чего хотел. И ежели случалось ему, стреляя из лука, промахнуться, то птица все равно от него не спасалась: рукою хватал ее на лету, сворачивал шею со злости и живьем проглатывал вместе с перьями. Вот и теперь лежала перед ним груда птиц, которых пожирал он с алчностью изголодавшегося орла. Изумился Белый Арап и спросил:

— А этого, черт возьми, как еще звать?

— Вспомни, тогда скажу, — ответил Окила, улыбаясь себе в усы.

— Поди догадайся, как его окрестить! Назову Пэсарилой — не ошибусь... Лацилой — и того меньше... Лунжилой¹ — тоже... А вот — Пэсарь-Лаци-Лунжила — самое, пожалуй, подходящее имя при его повадках и нраве, — сказал Белый Арап, тронутый участью бедных пташек. — Видать, это и есть знаменитый Пэсарь-Лаци-Лунжила, сын стрелка и внук лучника, пояс земли и небесная лестница, гибель пернатых и бич людей, а то как же назвать иначе!

— Смейся надо мной, Белый Арап, смейся — сказал Пэсарь-Лаци-Лунжила, — а лучше бы над собой посмеялся, ибо не знаешь ты, какая беда тебя ждет. Думаешь, так уж и дастся тебе в руки дочь Рыжего царя? Видать, неведомо тебе, что за чертова ведьма она: захочет — жар-птицей обернется, хвост покажет — ищи ветра в поле. Если меня там не будет, то зря себе ноги бьете.

— Ступай же и ты с нами, — ответил Белый Арап. — Может статься, ухватишь Жерилу за чуб, носом в солнце уткнешь, пусть хоть на столечко согреется, перестанет лязгать зубами, как старый аист, у меня от этого спину сводит.

Пристал Пэсарь-Лаци-Лунжила к Белому Арапу, дальше отправились вшестером. Где пройдут — беда и разор: Жерила леса и рощи огню предает. Фламынзила землю с глиной пожирает и клянется, что помирает с голоду. Сетила воду выхлебывает из болот и прудов, так что рыба на суше бьется, лягушки стоном стонут, сетуя на жестокую засуху, а Окила все навыворот видит и такую несет околесицу, что только держись:

Плел такие небылицы,
Что со смеху подавиться,
Тыщи глупостей таких,
Что хоть выноси святых.

А Пэсарь-Лаци-Лунжила приманивал пернатых и глотал без разбору — с пером, без пера — так что никто уже не отваживался домашнюю птицу близ дороги держать.

Один только Белый Арап зла никому не причинял. Но как товарищ все с ними делил, и убыток и прибыль, и приветлив был с каждым, ибо нуждался в них, направляясь к Рыжему царю, о котором твердила мол-

¹ Пэсаре — по-молд. птица, лэци — ширить, лунжи — удлинять.

ва, что лют и жесток он до крайности — с людьми обращается хуже, чем с собаками. Но как говорится: на бездушного бессовестный нужен. Душаю, из пяти неумытых, что за Белым Арапом пошли, хоть один на Рыжего управу найдет. Нарвется Рыжий царь и на людей, не только на чурбанов, как до сих пор. Однако не стану вперед забегать. Кто его знает, как еще оно обернется.

В этом мире, как на грех,
Все идет ногами вверх.
Лишь немногим суждено
Молоть на мельнице зерно.

Зато уж у тех немногих — и хлеб, и нож в руках; режет как и сколько хочет, комар носа не подточит. Как говорится: кто может — кости глохнет, а кто нет — не разжует и котлет. Вот так-то и с Белым Арапом и его товарищами: может, удастся им дочь Рыжего царя добыть, а может, и нет; покамест идут они да идут, а уж дальше будет, как счастье присутствует. Мне-то что? Мое дело — сказку сказывать, а ваше — слушать.

Идет Белый Арап со своими товарищами, идет и наконец-то

К царству привела дорога,
Мы ж положимся на бога,
Потому что путь у сказки
Некороткий до развязки...

И как только прибыли все шестеро — на царский двор: Белый Арап впереди, остальные позади, один другого наряднее и пригожее — нитки и лохмотья за ними стелются, как за войском папуковым¹.

Явился Белый Арап к Рыжему царю, поведал, кто они, откуда и зачем прибыли. Изумился царь дерзости и бесстыдству оборванцев, пришедших за его дочерью. Однако не ответил он ни так ни этак, только попросил переночевать под его крышей, надеясь, что до утра надумает, как ему быть... А сам втихомолку вызвал своего верного слугу и приказал уложить гостей в доме раскаленной меди, чтобы заснуть им навеки, по примеру других женихов, может, почище этих.

Разжег царский слуга под медным домом костер — двадцать четыре сажени дров; огненным жаром раскалился дом. Когда же настал вечер, приходит слуга к гостям, просит располагаться на ночлег, а вещий Жерилла товарищей в сторону отводит, на ухо им шепчет:

— Мэй, как бы не дернул вас черт раньше меня сунуться, куда поведет вас слуга рыжего пса, а то не видать вам завтрашнего дня. Один только на свете Рыжий царь. Славен он в этом краю невиданной добротой своей и неслыханным милосердием. Известно мне, как радушен он и щедр... за чужой счет. Вот бы только околеть ему поскорее; пусть живет три дня, считая с позавчерашнего. А дочка-то, дочка его! Приказал дьявол, она и родилась. Вылитый батька во весь рост, и даже почище... Как говорится: козел — через стол, а козленок — через дом. Но нашла коса на камень. Если уж я с ними в эту ночь не слажу, то, значит, и сам сатана не справится.

— Я тоже так думаю, — сказал Фламынзила. — Запряг Рыжий царь волов в упряжку с чертом, но только выпряжет их без рогов.

— И еще, может, в придачу и плуг и телегу отдаст, лишь бы от нас избавиться, — добавил Окила.

— Слушайте, — сказал Жерилла, — язык наш — враг наш. Пошли лучше спать, а то нас царский слуга ожидает, стол накрыл, объятия раскрыв. Ну-ка! Навостри зубы и марш за мной!

¹ Войско папуково — сброд, голытьба.

Затопали они — топ, топ, топ! Дошли до двери, постояли маленько. Как подул Жерила трижды — стал дом и не горячим и не студеным, как раз впору спать в нем. Ввалились они гурьбой, улеглись кто где — и молчок. А царский прислужник, проворно дверь заперев за ними, злобно сказал:

— Вот и разделался я с вами. Спите, голубчики, вечным сном непробудным, потому постелил я вам на славу. До утра как раз в пепел успеете обратиться.

Сказал — и отправился восвояси. А Белому Арапу с друзьями и горя мало. Поразмякли у них от теплыни кости, стали друзья потягиваться и нежиться, назло Рыжему царю и его дочери. Один Жерила от холода ежится, колени ко лбу поджал, сам ворчит:

— Только ради вас я дом остудил. Для меня он как раз впору был. Вот с недоносками спутался! Да ладно, отзовется вам это счастье. Вам, значит, млеть от тепла, а мне от стужи трястись? Не бывать этому, не стану себя покоя лишать ради черт знает кого. Сейчас вас за волосы таскать буду, никого не пощажу. Раз уж мой сон по ветру развеяли, пускай и от вашего проку не будет!

— Придержи-ка язык, эй, Жерила! — закричали остальные. — Ночь на исходе, а ты все языком треплешь. Чертово семя! Хватит, уже голова от тебя распухла! Кому еще взбредет с тобою связываться, тот пускай и несет свой крест, а нас ты совсем заговорил, ни минуты от тебя покоя! Словно разбитая мельница. Мелет и мелет повсякому пустяку, будто умом повредился. В лесу тебе жить, с волками и медведями, а не в царских палатах с порядочными людьми!

— Но-но-но! Вы с каких это пор помывать мною стали, — обиделся Жерила. — А ну-ка, потише со мной, не то плохо придется. Я добр, пока добр. А попробуй меня из терпенья вывести...

— А ты не шутишь, эй, Губастый? Тьфу ты, храбрый какой! Как осерчает, так и в штаны делает, — сказал Фламынзила. — До чего ж ты мне люб. Сунул бы тебя за пазуху, да уши не лезут. Лучше успокойся маленько, язычок придержи за зубами. Просто так, чтобы после не жалеть — ведь не один же ты в этом доме.

— Ах, так! Как сказано: одолжи добром, уплатят злом, — сказал Жерила. — Поделом мне, зачем вас вперед себя не пустил? Будет мне наука. И пускай все так поплатятся, кто поступит, как я!

— Верно говоришь, Жерила, только зря не лечишься, — молвил Окила. — Проболтал ночь напролет, загубил нам сон. Ты бы что сказал, если бы тебе сон разбили? Скажи спасибо, что на кротких напал, другие бы тебе всыпали по первое число!

— Вы что ж, не замолчите? Вот я сейчас протиснусь сквозь стены, выйду с крышей на голове, — сказал Лаци-Лунжила. — И как это вас даже в эту пору черт унять не может? Эй, Губастый, сдастся мне, ты один тут причина раздора.

— А то кто же? — сказал Окила. — Придется ему, кажется, прописать средство.

— Причеши-ка ему вихор, поиграй на спине, попляши на брюхе, — молвил Сетила. — Иначе шалопая не угомонишь.

Увидел Жерила, что все против него, да как хватит по стенам инеем в три ладони толщиной — все затряслись от стужи, зуб на зуб не попадает.

— Нател! Проучил я вас. В другой раз сами скажете, чего вам надобно, — расхохотался Жерила. — Как тут со смеху не лопнуть! Ну, о Белом Арапе другой разговор, но вы-то, кривляки, негодники, сколько ночей в соломе на свалке отхрапели, — иметь бы мне столько монет в кошельке, больше не надо! Так пристало ли вам, валетам червонным, на кухне рожденным, из себя благородных корчить!

— Снова семя раздора ищешь, эй, Губастый! — сказали остальные. — Черт бы побрал тебя и все твоё племя, на веки вечные, аминь!

— Вот и я тоже о том вашей милости бью челом, отправить бы вас на слом, — сказал Жерила. — А теперь давайте-ка спать, а то скоро вставать, Белому Арапу помогать, верой и правдой ему служить, меж собою дружить, ибо спорами да раздорами рая нам не нажать.

Бубнили они, бубнили, а тут и заря занялась!.. А когда занялась, то царский слуга, считая, что от гостей начисто избавился, явился золу во двор выметать. И что же он видит? Медный дом, с вечера как жар раскаленный, ледяной глыбой стоит; не отличишь подо льдом, где тут двери, где решетки, где ставни на окнах — ничего! А из дому — шум столбом валит. Это гости по дверям что есть мочи колотят, как шальные орут:

— Что за царь, нас без капли огня оставил! Этак и вовсе замерзнуть можно. В самых убогих лачугах этак на дрова не скупятся. Вот беда, так беда! Да у нас язык к небу пристыл, мозг в костях промерз!..

Царский слуга, услышав такое, перепугался не на шутку, но и злость его тоже взяла. Силится дверь открыть — не может. С петель сорвать — и того меньше. Что тут делать! Бежит к царю, обо всем докладывает. Тут и царь прибегает, и пропасть народу с кирками острыми, с котлами кипятку. Одни лед кирками ломают, другие льют кипятком на дверные петли и в замочную скважину. Изрядно намаившись, с большим трудом открывают двери, гостей выпускают из дому, а гости-то, гости! Головы у них и бороды и усы в инее, не поймешь, люди это или черти, или призраки какие... Дрожмя дрожат — зубы так и лязгают. А Жерилу словно все черти ада трясут, такое губами выделывает, что сам Рыжий царь ужаснулся при виде его красоты.

Выступил Белый Арап вперед, поклонился царю и сказал:

— Ваше величество! Его светлость, племянник могущественного Зелен-царя, верно, ждет меня, не дождетя. Теперь-то уж, думаю, отдадите мне вашу дочь, а мы вас в покое оставим и уйдем восвояси.

— Что ж, удалец, — хмуро ответил царь, — придет и такое время. А пока подкрепиться надо, чтоб не сказали потом, что ушли вы из дворца моего, как из голодного дома.

— Золотые слова, ваше величество, — сказал Фламынзила, — давно уже у нас с голодухи кишки марш играют.

— Может, и выпивка будет, ваше величество? — спросил Сетила, — а то ведь глотки у нас пересохли от жажды.

— Перестаньте, — сказал Окила, то и дело моргая, — знает его величество, чего нам надо.

— Я тоже так думаю, — сказал Пэсарила, — не зря же попали мы в царский дворец. Не бойтесь, не допустит его величество, чтоб терпели мы голод, стужу и жажду.

— Какой тут может быть разговор? — вмешался Жерила, лязгая зубами. — Разве не знаете, что его величество — отец голодных и жаждущих? Оттого-то и радуюсь при мысли, что наконец-то согреюсь малость, хлебнув крови господней.

— Придержите-ка языки, — сказал Фламынзила. — Довольно и одной палки на воз горшков. Не приставайте к его величеству, тоже ведь человек он... Нашему брату, бедняку, не под силу дело такое провернуть, а для царства это все равно как если бы блоха укусила; даже и незаметно.

— Я так думаю, что еда — пустая забава, — сказал Сетила, — вот выпить другое дело. Я попросил бы его величество, если уж угодно попотчевать нас, пускай поднажмет на выпивку, ибо в ней вся суть и сила. Но сдается мне, слишком мы заболтались, так что его величество и не знает, как нам угодить.

— Да хоть бы уж дали поскорей, что дать решено, — сказал Фламынзила. — Так и сосет с голодухи под ложечкой.

— Потерпите маленько, — сказал Окила. — Не мышцы у вас ночевали в желудке. Сейчас и вино подадут и еду, только брюхо готовь.

— Тотчас же все поднесут, — сказал им царь, — лишь бы вам управиться! Не покажете себя едоками и выпивохами — на себя пеняйте.

— Другой заботы не дай нам боже, — сказал Фламынзила, держась за живот.

— А его величеству дай он мысли благие и щедрюю руку, чтоб побольше перепало нам еды и питья, — сказал Сетила, у которого слюнки так и текли. — Потому что по этой части едва ли тягаться может. Зато на работе мы на рожон не лезем.

Царь слушает все это молча, с досады слюной давится. А сам про себя думает:

«Ладно, ладно, пытайте пальцем море. Выйдет вам все это боком».

Повернулся и пошел домой.

Проходит немного времени, подкатывают двенадцать фургонов с хлебами, и тут же приносят двенадцать жареных коров и двенадцать бочек крепленого вина, от которого, только глотни, ноги вдруг отнимаются, глаза стекленеют, язык прилипает к нёбу и начинаешь лопотать по-турецки, не зная ни бельмеса. Сетила с Фламынзилой говорят тогда остальным:

— Ну, поначалу ешьте и пейте вы, сколько влезет. Но не вздумайте всю еду и питье ухлопать, не то узнаете, почем фунт лиха.

Сели Белый Арап, Жерила, Окила и Пэсарь-Лаци-Лунжила за стол, наелись, напились досыта. Но куда там! И незаметно, откуда ели-пили, ведь еды там было и питья со всего царства, не шутка!

— А ну-ка, бездельники, в сторону! Только еду искромсали, — сказали Фламынзила и Сетила, которым от голода и жажды совсем невольно стало.

И как начнет Фламынзила в рот себе по фургону хлеба сразу пихать да по целой корове, знай жуёт да глотает, жуёт да глотает. Глядишь, словно еды и не было. А Сетила как выбьет днище из бочки — одним глотком осушает. Раз-раз, все бочки подряд выхлебал — капли вина не осталось на клепках.

Стал тогда Фламынзила орать, что, дескать, пропадает с голоду, начал швырять костями в царских людей.

А Сетила тоже вопит, что от жажды ему конец приходит, и тоже клепки и днища во все стороны, как полоумный, швыряет.

Услыхал царь такой шум, выбежал из дому. Как увидел, за голову схватился.

— Вот беда на мою голову! — сказал он, вне себя от досады. — Видно, не сдобровать мне — нашла коса на камень!

Тогда подошел к нему Белый Арап, поклонился и сказал:

— Ваше царское величество! Теперь, я думаю, отдадите вы мне свою дочь, а мы вас в покое оставим и отправимся восвояси, ибо племянник Зелен-царя, верно, ждет не дождется нас...

— Что ж, придет и такое время, удалец, — пробормотал царь сквозь зубы. — Однако ж имейте терпенье, дочь моя не из тех ведь, что на перекрестках валяются — только подбирай. Как же так получается? Правда, ели и пили вы каждый за десятерых, а все же дело еще не сделано. Вот вам мера макова семени, перемешанная с мерой тонкого песка. До утра надо вам мак от песка отобрать зернышко к зернышку. Если найду хоть зернышко мака в песке или в маке одну песчинку — не будет меж нами мира. Головой оплатитесь за свою дерзость, чтобы и другим неповадно было, глядя на вас. Если же с делом управитесь, тогда еще погляжу я...

И ушел, предоставив им головы себе ломать сколько влезет. Белый Арап с товарищами только плечами пожимают, не знают, как быть.

— Вот так штука! Ох, и коварен же этот Рыжий царь, — сказал Окила. — Я-то, конечно, и в темень легко различаю маковины от песчинок; но муравьиная тут сноровка нужна, чтобы за этакий срок всю мелочишку отобрать. Верно сказал кто-то, что остерегаться нужно рыжего человека, потому что и впрямь сатана он во весь рост.

Вспомнил тогда Белый Арап про муравьиное крылышко, достал его, высек искру из кремня, поджег крылышко трутом. И чудо-чудное! Откуда ни возьмись тучами муравьи собрались. Было их, сколько пыли и пепла, травы и листьев. Шли они под землей и по земле, летели по воздуху, и не видно было им ни конца ни края. Вмиг они отобрали песок от мака. Тысячи лей¹ отдай — не отыщет никто маковину в песке или песчинку в маке. А на зорьке, когда сон до того сладок, что сама земля под человеком спит, видимо-невидимо муравьев, самых мелких, проникли в царскую спальню и давай кусать царя — словно огнем его жгут. Чувствуя зуд во всем теле, поспешно поднялся царь с постели — нечего было и думать, чтобы спокойно поспать, как в другие дни, до полудня. Встал, всю постель перерыл — что бы это было? Однако ничего не нашел, муравьи словно сквозь землю провалились.

— Экая чертовщина! Глянь, сыпь какая на теле выступила. Неужто без всякой причины? Что-то не верится. Но кто его знает?.. Либо я ошибаюсь, либо это к перемене погоды, — сказал царь, — одно из двух непременно. А покамест пойду, посмотрю, выбрали из мака песок те бездельники, что уши мне прожужжали — отдай да отдай им дочку?

Пошел он, а когда увидел, что отменно выполнен его приказ, не обрадовался.. Не зная, к чему бы еще придаться, задумался.

А Белый Арап выступил вперед, поклонился царю и сказал:

— Ваше царское величество, теперь, я думаю, отдадите мне вашу дочь, а мы оставим вас с миром и уйдем туда, откуда пришли.

— Что ж, придет и такое время, удалец, — обронил царь нехотя, — однако до того еще дельце есть. Дочь моя вечером спать ляжет, где всегда ложится, а вы ее охраняйте всю ночь. Если к утру будет она все там же, то, может, я ее и отдам; а нет — на себя пеняй. Понял?

— Так точно, великий царь, — ответил Белый Арап. — Только бы нам не слишком замешкаться. Господин мой ждет меня не дождется, и боюсь, страшная кара может меня постигнуть, если опоздаю.

— До твоего господина мне дела нет. Что тебе от него достанется, то будет впридачу, — хмуро сказал царь. — Пусть хоть шкуру спустит с вас, я-то тут причем? Вы старайтесь меня не прогневать. Стерегите дочь мою как зеницу ока. А нет, напрасна ваша прить — не сносить вам головы.

Сказал — и отправился восвояси, оставив их в полном смятении.

— В этом деле тоже, конечно, черт замешан, — сказал Жерила, качая головой.

— И даже старый чертяка, Ночная стрела или Южный бес, — отвечал Окила. — Однако сдается мне, недолго уже ему дурака валять.

Но вот наступает вечер, царевна ложится спать, Белый Арап становится на страже у самых ее дверей, остальные выстраиваются один за другим до самых ворот.

А перед самой полночью оборачивается царевна пташкой-невидимкой, пролетает мимо пяти сторожей. Долетела до Окилы, а тот ее сразу приметил, Пэсариле подмаргивает:

— Ишь, обвела нас царская дочка вокруг пальца. Чертова девка! Обернулась пташкой, стрелой мимо наших дружков пролетела, а они хоть

¹ Лей — румынская монета.

бы что! Ну и ну! Положись на них, если без головы остаться желаешь. Только нам под силу теперь ее обнаружить и обратно доставить. Никому ни слова — и за ней! Я тебе покажу, где она прячется, а ты знай хватай ее, да шею маленько намни, чтобы в другой раз неповадно было людей морочить.

Отправились за нею, много не прошли, и говорит Окила:

— Глянь, Пэсарила, где она! Позади земли, под заячьей тенью. Хватай ее, не упускай!

Как раздался вширь Пэсарила что было мочи, поворошил бурьяны, только изловчился — збрр! вспорхнула пичуга на вершину горы, за скалой схоронилась.

— Вот она, — говорит Окила, — на вершине горы, за той скалою!

Приподнялся маленько Пэсарила, стал шарить за скалами; только изловчился — збрр! и оттуда упорхнула, за самый месяц спряталась.

— Вон она где, Пэсарила! За месяцем притаилась, — говорит Окила, — жаль, не дотянусь, а то бы задал ей трепку.

Тут как вытянулся Пэсарила, — до месяца достал, обхватил месяц руками, нащупал птичку, ухватил за хвост, еще немного — шею свернул бы. Тогда обернулась птичка девушкой, закричала в испуге:

— Не губи ты меня, Пэсарила, а я тебя милостями осыплю и дарами царскими — честью тебе клянусь.

— Вот уж осыпала бы ты меня царскими милостями и дарами, кабы не заметил я тебя, ведьма! — ответил Окила. — Здорово намаялись, пока тебя изловили. Ну-ка, спать отправляйся, а то вот-вот рассвет. После разберемся.

Подхватили ее, один под одну руку, другой — под другую, и ходу! На рассвете добрались до дворца, прошли мимо стражи, втолкнули царевну в спальню.

— Ну, Белый Арап, — сказал Окила, — не будь меня с Пэсарилой, что бы с вами теперь случилось? Видишь ли, есть у каждого человека и прок и упрек. И где прока больше, там на упрек не смотрят.

Да, прока не было б от вас,
Не будь сегодня, к счастью, нас.
Вы нам едва не удружили
Тем, как царевну сторожили!

Что могли ответить на это Белый Арап и другие? От стыда повесили они головы и сказали спасибо Пэсариле и знаменитому Окиле за то, что были им, как братья.

А тут и сам царь явился, орел-орлом, за дочкой своей пришел; как увидел ее под стражей, так глаза у него засверкали от гнева, но делать было нечего. Подошел Белый Арап к царю, поклонился ему и сказал:

— Пресветлый царь, на этот раз, думаю, отдадите вы мне дочь, а мы оставим вас с миром и пойдем восвосяси.

— Ладно, удалец, — нахмурился царь, — придет и такое время. Но только есть у меня еще и приемная дочь, одних годов с родной моей дочерью, и ничем они друг от дружки не отличаются — ни красотой, ни ростом, ни обращением. Сумеешь отгадать, которая из них мне родная, бери ее и ступай от меня прочь, а то уже я поседел от вас. Ну, пойду подготовлю их, а ты приходи немного погодя. Отгадаешь — твое счастье, а нет — забирайте свои пожитки и убирайтесь отсюда скорее, потому что застряли вы у меня поперек горла.

С этими словами ушел царь к дочерям. Велел их одинаково причесать и нарядить, а потом послал за Белым Арапом, чтобы тот отгадал, которая из них царская дочь.

Видит Белый Арап, что плохо ему приходится, не знает, что делать, куда податься, чтобы теперь, под самый конец, маху не дать. Стоит он, задумавшись, и вспомнил вдруг про пчелиное крылышко. Достает он то крылышко, высекает искру из кремня, трутом крылышко поджигает. Откуда ни возьмись — перед ним царица пчел.

— По какой нужде позвал ты меня, Белый Арап? — спрашивает она, садясь к нему на плечо. — Говори, я готова служить тебе.

Рассказал ей Белый Арап обо всем, слезно просит помочь ему.

— Не печалься, Белый Арап, — говорит ему царица пчел. — Помогу тебе царевну из тысячи узнать. Смело входи в дом, я тоже там буду. Как войдешь, стой и смотри на обеих. Которая платочком помашет — та и есть царская дочь.

Входит Белый Арап с пчелой на плече, а там уже царь его поджидает с обеими дочерьми. Отошел Белый Арап в сторонку, то на одну глядит, то на другую. А царица пчел меж тем как вспорхнет да как сядет на царевнину щечку, вздрогнула царевна, вскрикнула — и давай ее гнать платком. Только того и надо было Белому Арапу. Приблизился он проворно к ней, взял ее легонько за руку, говорит царю:

— Светлейший царь, теперь, я думаю, не станете вы мне больше препятствий чинить, раз уж я выполнил все, что вы повелели.

— Что до меня, то хоть сейчас ее забирай, Белый Арап, — ответил царь, бледнея от стыда и досады. — Коли не сумела она вас перехитрить, сумей хоть ты владеть ею, а я теперь от всего сердца ее тебе отдаю.

Поблагодарил Белый Арап царя и говорит царевне:

— Что ж, пойдем, пожалуй, а то господин мой, его светлость племянник Зелен-царя, поди, состарился, меня поджидаячи.

— Погоди-ка маленько, нетерпеливый, — молвила царская дочь и, взяв в руки горлинку, что-то ей на ухо шепнула и нежно поцеловала. — Поспешешь — людей насмешешь. Еще нам потолковать с тобой надо. Пусть твой конь и моя горлинка отправятся сперва за тремя яблоневыми веточками и за живой и мертвой водой туда, где горы меж собою смыкаются. Если прилетит моя горлинка первая с веточками и водой, тогда и думать обо мне забудь, не пойду, упаси господь! Если ж посчастливится тебе: первым конь твой воротится и все принесет, знай, что пойду за тобой хоть на край света. Вот тебе мой последний сказ!

И тут же, с места, пустились конь и горлинка наперегонки — по воздуху ли, по земле ли, как придется.

Легкая горлинка примчалась первой и, уловив мгновение, когда солнце достигло высоты и отдохали горы, ринулась, будто через пламя, к трем яблоневым веточкам и живой и мертвой воде, схватила и стрелой назад полетела. Но вот у горных ворот выходит ей навстречу конь, ласково говорит:

— Гор-гор-горлинка хорошая, пташка пригожая, отдай-ка мне три яблоневые веточки и воду живую и мертвую, а сама вернешься, другие добудешь, и меня в пути догонишь, ибо резвее ты меня. Не раздумывай, давай, да поскорее, и будет тогда всем хорошо — и моему господину, и твоей госпоже, и мне, и тебе, а не отдашь — не сдобровать тогда моему господину, Белому Арапу, да и нам не сладко придется...

Горлинке вроде и неохота было, но не стал ее спрашивать конь, кинулся, выхватил воду и веточки, помчался обратно в путь, к царевне, и отдал ей все, а Белый Арап тут же стоял, и сердце его наполнилось радостью.

Скоро, правда, и горлинка прилетела, но что толку?

— Ах ты, изменщица, — сказала ей царевна. — Ловко же ты меня провела. Но уж так и быть, тотчас же лети к Зелен-царю, дай знать ему, что мы за тобой следом прибудем.

Умчалась горлинка, а царевна бросилась отцу в ноги и сказала:
— Благослови меня, отец, прощай! Так уж было мне, видать, на ро-
ду написано. Делать нечего, должна я с Белым Арапом пойти и все тут!
Собралась царевна в дорогу, села на вещего коня своего, а Белый
Арап, забрав своих друзей, тоже вскочил на коня и

Вместе двинулись в дорогу,
Мы ж положимся на бога,
Потому что путь у сказки
Некороткий до развязки...

Ехали они дни и ночи, а сколько — никто не знает; только однажды
Жерила, Фламынзила и Сетила, Пэсарь-Лаци-Лунжила и вещей Окила

Вдруг в пути остановились,
Поклонились, прослезились:
— Белый наш Арап, прощай,
Лихом нас не поминай.
Лихо помнить не годится —
Лихо может пригодиться!
Им спасибо от души
Тот сказал и дальше едет
С девушкой в ночной тиши.
Месяц ярко в небе светит,
А в сердцах стучится кровь...
Возникает в них любовь,
Чувство яркое, как солнце,
Дорогое, как алмаз,
Что рождается от искры
Милых глаз!

Вот снова едут они, едут и чем дальше, тем больше забывает обо
всем на свете Белый Арап, глядя на девушку, — до того была она моло-
да, хороша и полна очарования.

Салат из Медвежьего сада, шкуру и голову Оленя с радостью отдал он
своему господину, но дочь Рыжего царя очень уж не хотелось ему отда-
вать, потому что полюбил он ее без ума. Была она, как бутон майской
розы, утренней росой умытый, первыми лучами солнца обласканный,
дуновением ветра колеблемый, мотыльками не тронутый. Или, по-наше-
му, по-простецки, — была она чертовски хороша; на солнце и то смот-
реть можно, а на нее — никак. Потому-то Белый Арап глаз с нее не сво-
дил, от любви таял. Правда, и она подчас на Белого Арапа заглядыва-
лась, и в сердце ее словно происходило что-то... Какое-то тайное чувство,
которого не решалась она высказать. Как в песне говорится:

Уходи от меня, будь со мною!
Смирным будь, не давай мне покою!

Или как уж и сказать, чтоб не ошибиться? Одно знаю, что шли они, не
чувствуя, что идут, и казался им путь коротким, а время и того короче,
день — часом, а час — мигом; ну, как бывает с нами, когда идем мы
в пути с любовью рядом.

Не знал, не гадал Белый Арап, бедняга, что его дома ждет, а кабы
знал, не о том были бы его думы.

Как в песне сказано:

Знали б люди, что их ждет,
Береглись бы наперед!

Впрочем, не буду вперед забежать. Лучше о том расскажу, как прилетела горlinkа к Зелен-царю и оповестила, что едет следом Белый Арап с дочерью Рыжего царя.

Стал Зелен-царь готовить для царской дочери достойную встречу, а Безбородый зубами со злости скрипел, думая только о мести.

Едет, едет Белый Арап с дочерью Рыжего царя, и вот приезжает он наконец в то царство.

Выезжает навстречу ему Зелен-царь с дочерьми, с Безбородым и всем царским двором. Увидел Безбородый, до чего прекрасна дочь Рыжего царя, кинулся к ней с коня ее снять, на руках понести, а она оттолкнула его и воскликнула:

— Прочь от меня, Безбородый! Не ради тебя прибыла я сюда, а ради Белого Арапа, племянника Зелен-царя!

Услышав эти слова, обомлели Зелен-царь и его дочери, Безбородый же, видя, что обман и коварство его раскрыты, кинулся, как бешеный пес, на Белого Арапа и одним ударом меча отсек ему голову.

— Вот т е б е , — крикнул о н , — пускай так погибнет каждый, кто клятву свою нарушил.

Тогда кинулся конь Белого Арапа на Безбородого.

— Хватит, Безбородый! — крикнул он, схватил его зубами за голову, взлетел вместе с ним до неба и выпустил. Упал Безбородый на землю, в пыль и прах превратился.

А дочь Рыжего царя в суматохе голову Белого Арапа к плечам его приставила, трижды вокруг шеи провела тремя веточками яблони, мертвой водой окропила, чтобы кровь остановить и рану зарубцевать, потом живой водой обрызгала — и ожил Белый Арап. Протер он глаза, вздохнул и сказал:

— Крепко же я спал!

— Спал бы ты долго и не проснулся, Белый Арап, не будь здесь меня , — сказала дочь Рыжего царя, нежно целуя его и возвращая ему меч.

Склонили они оба колени перед Зелен-царем, поклялись один другому в верности и тут же от дяди благословение приняли вместе с царством.

А потом стали свадьбу справлять — только держись!

Толпы народа ими любовались,
Месяц и солнце с неба улыбались.

И были приглашены на свадьбу:

Царица муравьиная,
Царица пчелиная,
И еще волшебница,
Фея милосердная
С цветущего острова!

И еще были приглашены:

Короли, цари, принцессы,
Богачи и люди с весом,
И рассказчик молодой,
Ни алтына за душой;
Веселились юноши и старики,
Пили-ели даже бедняки.

И длилось то веселье целые годы и теперь еще длится. Кто туда ни приходит, пьет и ест. А у нас, кто имеет деньги, пьет и ест, а кто не имеет — смотрит и слюну глотает.

ДОЧЬ СТАРУХИ И ДОЧЬ СТАРИКА

Жили-были старик со старухой. У старика дочка и у старухи тоже. Старухина, хоть и некрасива была, ленива, сварлива и сердцем зла, нежила ее старуха да холила — родное ведь дитя. Вот она и пыжилась, как ворона в силке, а всю работу по дому на старикову дочку оставляла. А старикова дочка всем удалась — и красотой, и послушанием, и трудолюбием, и добросердием. Щедро наделил ее господь. Однако добрая эта душа великие обиды сносила от сводной своей сестры да от мачехи. Хорошо еще, что работающая она была да терпеливая. Иначе туго бы ей приходилось.

В доме старикова дочка, и в поле она же, и за хворостом в лес ее посылают, и на мельницу с мешком зерна за спиной. Без отдыха и срока — туда-сюда, во все концы. За целый день присесть не успевают. Только одно дело закончит, за другое приниматься велят. А тут еще старуха с дочкой своей ненаглядной все время едят ее поедом, неблагодарные... Для старухи старикова дочка, что мельничный жернов в горнице, а своя, что базилик душистый, — только перед иконой ставить...

Когда бывают они в селе на вечерних посиделках, старикова дочка ни в какие игры не вступает, а знай прядет себе. Глядишь — полное решето пряжи у нее набирается. А старухина — самое большее на одно веретено напрядет. Возвращаются они домой поздно ночью — старухина дочка быстренько через плетень перелезает и говорит стариковой, чтобы та ей решето с пряжей дала подержать, пока сама перелезет. И ведь до чего ж вероломная девка: с тем решетом в дом бежит и перед стариками хвастается, что все это, дескать, она напряла. И напрасно старикова дочка, следом придя, уверяет, что это ее рук дело: старуха со своей дочкой дружно на нее набрасываются, и все по-ихнему выходит.

Воскресенье или праздник какой — старухина дочка вся расфуфыренная да разнаряженная, будто телочка, с ног до головы коровой вылизанная. Ни одного гуляния не проходило в селе без нее, ни одной толоки. А старикову дочку в строгости держали, никуда не пускали.

Приезжает старик откуда-нибудь, а старуха ему в уши жужжит: и непослушна, дескать, его дочка, и бездельница, и распущенна, характер у нее дурной, мол, гнать ее надо из дома или в услужение куда угодно отдать, а терпеть ее дальше нет никакой возможности, ибо она и старухину дочку испортит...

Старик был размазня-размазней, или как там еще его назвать. Все старухе в рот глядел. Что она скажет, то и закон для него. В душе-то, бедняга, может, и хотел бы что-нибудь насупротив сказать. Да уж коли курица в доме петухом поет, самому петуху помалкивать надобно! Ну а даже ежели бы впал он в такой грех и попробовал в спор вступить, старуха с дочкой так бы его благословили, что долго помнил бы...

И вот однажды, когда старухины речи совсем старика доконали, подозвал он дочку свою и так молвил:

— Доченька моя милая! Все-то время мне про тебя говорят, что непослушная ты, злоязычная, и злонравная, что нельзя тебе больше в на-

шем доме жить. Потому ступай-ка ты, куда господь направит, чтобы не было больше раздоров из-за тебя! А на дорогу мой отцовский наказ прими: куда бы ни пришла, будь везде послушной, скромной и прилежной. У меня ты как жила, так и ладно — все ж под родительским кровом. А среди чужих людей... Бог знает, кто тебе попадется и будут ли терпеть тебя, как мы терпели!..

Поняла бедняжка, что старуха с дочкой хотят от нее избавиться во что бы то ни стало. Поцеловала руку родителю своему и со слезами ушла из отчего дома, куда глаза глядят, без всякой надежды когда-нибудь вернуться... Шла она, шла и попался ей навстречу щенок. Больной, хилый — ребра можно пересчитать.

Завидев старикову дочку, молвил щенок человеческим голосом:

— Девица-красавица, умница-умелица! Пожалей меня, позаботься обо мне! А когда-нибудь и я тебе пригожусь!..

Сжалилась старикова дочка над несчастным щенком. Искупала его, накормила, чем смогла, и ухаживала за ним, пока он не окреп. Потом оставила его там, где встретила, и пошла своей дорогой, довольная в душе, что довелось ей доброе дело совершить.

Не так уж много прошла она, вдруг видит — грушевое дерево стоит, красивое-прекрасивое, вешним цветом покрытое, но усеянное прожорливыми гусеницами.

— Девица-красавица, умница-умелица! — взмолилось дерево. — Позаботься обо мне, сбрось с меня гусениц! А когда-нибудь и я тебе пригожусь!..

Принялась она за работу. Сухие веточки пообломала, гусениц пообобрала, постаралась на славу и дальше пошла, хозяина себе искать.

Шла она, шла и видит колодец у дороги — запущенный, заиленный!..

— Девица-красавица, умница-умелица! Позаботься обо мне! — просил колодец. — И я тебе когда-нибудь пригожусь!..

Хорошо постаралась старикова дочка. Очистила колодец и снова побрела своей дорогой. Все дальше и дальше шла она, а на пути стоит печка. Необмазанная, вот-вот развалится.

Завидела печка девицу и молвит:

— Девица-красавица, умница-умелица! Почини меня, свежей глиной обмажь! Может, и я тебе пригожусь когда-нибудь!

Как за такое дело браться — старикова дочка знала. Никакой работы она и не чуралась. Засучила рукава, мигом починила печку, обмазала — любо посмотреть! Руки от глины отмыла и снова в путь отправилась.

День идет, ночь идет, а что делать — не знает. Заблудилась. Но на бога не теряла надежды и шла себе все вперед да вперед.

И вот ранним утром брела она по лесу дремучему и набрела на лужайку дивной красоты. На лужайке — избушка, сплошь лозой виноградной увитая. Подошла к избушке, а навстречу ей старушка выходит и ласково так спрашивает:

— Чего тебе, дитячко, надобно в этих краях? Кто ты такая?

— Кто я, бабусенька? Несчастливая сиротка без матушки... даже можно сказать, что и без батюшки... Один господь всевышний знает, сколько мне перетерпеть пришлось с того дня, как сложила я своей матушке руки на груди!.. Ищу, к кому бы в услужение наняться, да не знаю никого. Вот ходила, ходила и заблудилась. Не оставил меня господь, к дому твоему привел. Приюта прошу у тебя!..

— Бедное дитя! — сказала старушка. — Это уж поистине сам господь тебя ко мне направил и от многих напастей избавил! Я — святая Пятница. Сослужи ты мне сегодня службу, а завтра, уж поверь, уйдешь от меня не с пустыми руками!

— Рада сослужить, бабусенька, да не знаю, что сделать надобно.

— А вот что: детушки мои теперь почивают. А как проснутся — искупай их, да накорми. Мне поесть приготовить. Чтобы, когда вернусь из церкви от заутренней, еда была ни холодной бы, ни горячей, а как раз в самый раз...

Наказала так старушка и в церковь пошла. А девица, засучив рукава, за дело принялась. Перво-наперво воды для купания нагрела, потом вышла во двор и позвала громким голосом:

— Детушки, детушки! Бегите скорее к матушке! Она купать вас будет!..

Огляделась она вокруг и что же увидела?

Весь двор и весь лес кишмя кишат драконами и гадами всякими, большими и малыми!

Не испугалась девица. Уповая на господу бога, ему себя вверив, стала она этих тварей по одному на руки брать, мыть, кормить, да обихаживать как нельзя лучше.

Потом стала обед готовить.

Вернулась из церкви святая Пятница. Увидела, что все ее дети вымыты и ухожены, все дела по дому переделаны — возрадовалась.

После обеда наказала хозяйка стариковой дочке залезть на чердак, выбрать там сундук, какой приглянется, и взять себе за работу. Только сундук до тех пор открывать нельзя, пока домой не придет, к батюшке.

Послушалась девица, залезла на чердак, а там — великое множество сундуков. Одни ветхие и неприглядные, другие поновее и покрасивее.

Старикова дочка жадной никогда не была, а потому выбрала себе самый ветхий, самый неприглядный изо всех сундуков.

Когда принесла она сундук с чердака, святая Пятница слегка нахмурилась, но ничего не сказала и в путь ее благословила. Ввалила старикова дочка сундук на плечо и радостная к отчему дому направилась.

Возвращалась она той же дорогой, какой пришла.

Добрела до печки, что сама починила и обмазала, а в печке — плацинды — пышные да румяные. Наелась она досыта, еще с собой на дорогу прихватила и дальше пошла. А тут и колодец — вот он. Тот самый, что она от ила очистила. До краев полон сладкой, как слеза, прозрачной и, как лед, холодной водой. А на срубе — два кубка серебряных. Напилась она, освежилась, кубки с собой прихватила и дальше отправилась. Видит — дерево грушевое стоит, что она от гусениц спасла, спелыми грушами отягченное, желтыми как воск, сладкими, как мед. Склолило грушевое дерево ветви свои перед стариковой дочкой. Поела она груш вдоволь, с собой взяла, сколько ей надо было, дальше пошла. Спустила немного — щенка встретила, какого выходила. Только теперь это был уже большой красивый пес. На шее у него сияло монисто золотое. Отдал ей пес монисто за уход, за ласку. Дальше пошла она по тропе хоженной и добрела вскоре до отчего дома.

Как увидел старик свою дочку — глаза его слезами наполнились, а сердце — радостью. Достала дочка монисто золотое да кубки серебряные, отдала батюшке. Потом сундук открыла. И вдруг хлынули оттуда табуны коней несчетные, стада коров, отары овец!..

При виде такого богатства старик тут же помолодел. А старуха так и заметалась по хате, словно ошпаренная, — такая ее досада охватила.

— Ничего, матушка, — скрепя сердце сказала ее дочка. — Не оскудел еще белый свет сокровищами. Я пойду — побольше найду!

Сказала так и в путь отправилась. Идет — рвет и мечет от злости.

По той же дороге пошла, по которой старикова дочка ходила.

И ей тоже щенок повстречался — хилый да запаршивленный. И дерево грушевое видела она, гусеницами покрытое, и колодец заброшенный, песком да илом забитый, и печку необмазанную, вот-вот развалить-

ся готовую. Однако, когда просили ее щенок, груша, колодец и печка позаботиться о них, отвечала она зло и глумливо:

— Еще чего не хватало! Стану я ради вас ручки свои пачкать — белые, холеные! Много ли у вас слуг таких было, как я?

Догадались тогда щенок, грушевое дерево, колодец и печка, что легче от яловой коровы молоко получить, чем помощь от этой девицы — ленивой да избалованной, оставили ее в покое и ни с какими просьбами к ней больше не обращались.

Шла она, шла и набрела на избушку святой Пятницы. Но и там осталась старухина дочка такой же неприветливой, грубиянкой и дурехой. Вместо того, чтобы вкусной еды наготовить да хозяйкиных детишек, так же хорошо искупать, как старикова дочка сделала, ошпарила она их всех кипятком так, что убежали они от нее, как безумные, вопя от боли. А обед приготовила — все дымом воняет, все переваренное да пережаренное — в рот не возьмешь...

Вернулась святая Пятница из церкви — за голову схватилась: такое в доме творится! Но была она старушка мягкосердая, покладистая, не захотела с ленивой да вздорной девкой связываться, а послала ее на чердак, сундук по вкусу выбрать. А потом пусть, мол, уходит с богом. Взобралась старухина дочка на чердак, выбрала сундук покрасивее да поновее. Она ведь всегда норовила заграбастать побольше да получше, а вот службу как следует справлять — не любила. Слезла с чердака, со святой Пятницей не попрощалась, под благословение к ней не подошла, а вышла со своим сундуком из избушки, словно в ней никого не было, и домой отправилась. Идет, спешит, только пятки сверкают: боится, как бы не раздумала святая Пятница, не догнала да сундук бы не отобрала.

Дошла до печки, а там плацинды свежие готовы. Подошла, хотела взять хоть одну — жжет ей руки огонь, не дает до плацинд дотянуться!

Кубки серебряные стояли на колодезном срубе — это правда. И колодец до краев водой полон был. Но едва потянулась старухина дочка за кубком, чтобы напиться — оба кубка сразу в колодец упали и ко дну пошли, а вода вся до капли в землю впиталась. Так и не смогла она жажду утолить!.. Потом с деревом грушевым поравнялась. Ничего не скажешь — груш на нем, хоть лопатой греби. Но, думаете, удалось старухиной дочке хоть одну отведать? Как бы не так! Дерево сразу стало выше в тысячу раз и ветви с плодами в облаках скрылись. Так что пришлось ей в зубах поковырять да дальше идти. Идет она, а навстречу щенок и монисто золотое на шее блестит. Едва старухина дочь руку протянула, щенок — цап! Чуть палец не оттяпал! Так она сама стала от злости да от стыда свои пальцы кусать — белые да холеные. Только сделать ничего не смогла.

Долго ли, коротко, а добралась она наконец до дома, к матушке своей. Но и тут сокровища дареные ей впрок не пошли. Только лишь открыла она сундук, сразу множество драконов оттуда повыскакивало. Сожрали драконы и старуху, и дочку ее со всем, что на них было, словно и не жили они никогда на свете!.. Сожрали да тут же исчезли с глаз долой вместе с сундуком...

Так старик и от старухи избавился, и богатства несметные приобрел. Выдал он дочку за хорошего человека — доброго и к труду усердного.

Теперь на дворе у старика, на воротах и на пороге только одни пещухи кукарекали, а куры в его доме больше уже петь не осмеливались, боялись, как бы худо им не было, как бы не сгинуть раньше времени.

Только вот остался старик, как и был, лысым да горбатым. Слишком уж часто таскала его старуха за чуприну да кочергой по спине охаживала — пробовала, испекся ли малай...

ИВАН ТУРБИНКА ¹

Сказывают, жил когда-то русский человек по имени Иван. Сызмальства оказался этот русский в армии. Прослужив несколько сроков кряду, состарился он. И начальство, видя, что выполнил он свой воинский долг, отпустило его при всем оружии на все четыре стороны, дав еще два рубля денег на дорогу.

Поблагодарил Иван начальников, попрощался с друзьями-товарищами, хлебнув с ними глоток-другой водки, и отправился в путь-дорогу, песню поет.

Идет Иван, пошатываясь, то по одной, то по другой обочине, куда глаза глядят, а немного впереди идут по боковой тропинке господь со святым Петром. Услыхал святой Петр позади себя чье-то пение, оглянулся, видит — идет по дороге солдат, качается.

— Господи, — испугался святой Петр, — давай-ка поспешим или в сторону отойдем; как бы не оказался этот солдат забиякой, не попасть бы нам с тобой в беду. Ты же знаешь, уже случилось мне однажды от такого же забулдыги тумачков отведать.

— Не тревожься, Петр, — сказал господь. — Путника поющего бояться нечего. Этот солдат — человек добрый и милосердный. Смотри, у него за душой всего два рубля денег. Давай испытаем его. Сядь, как нищий, на одном конце моста, а я на другом сяду. Увидишь, что оба рубля свои он отдаст нам, бедняга! Вспомни, Петр, сколько раз говорил я тебе, что такие-то и унаследуют царствие небесное.

Сел святой Петр на одном конце моста, господь на другом, милостыню просят.

А Иван, взойдя на мост, достает из-за пазухи оба свои рубля, отдает один святому Петру, второй — господу и говорит:

— С миру по нитке — голому рубашка. Натя! Бог мне дал, я даю, и бог мне снова даст, потому имеет откуда.

Опять запекает песню Иван и дальше идет.

Удивился тогда святой Петр и сказал:

— Господи, поистине добрая у него душа, и не следовало бы ему без награды от лица твоего уйти.

— Ничего, Петр, уж я позабочусь о нем.

Прибавили шагу господь со святым Петром, и нагоняют они Ивана, а тот все песни распевает, словно он всему миру владыка.

— Добрый путь, Иван, — говорит господь. — Однако поешь-поешь, не сбиваешься.

— Благодарствую, — ответил Иван с удивлением. — Но откуда тебе известно, что Иваном меня зовут?

— Уж если мне не знать, то кому же и знать-то? — сказал господь.

— А кто ты таков, — в сердцах спрашивает Иван, — что хвалишься, будто все знаешь?

¹ Турбинка — торба, котомка.

— Я тот нищий, которому ты милостыню подал, Иван. А кто бедному подает, тот господу займы дает, как говорится в писании. Получай обратно заем, ибо нам не нужны деньги. Я только Петру показать хотел, как велико милосердие твое. Знай, Иван, что я господь и все могу тебе дать, чего ни попросишь, ибо человек ты великодушный и праведный.

Задрожал Иван и вмиг отрезвел; бросился на колени перед господом, говорит:

— Господи, коли и вправду ты господь бог, благослови, будь добр, эту турбинку, чтобы кого ни захочу, мог сунуть в нее, и чтобы не мог никто выйти из нее против воли моей.

Улыбнулся господь, благословил турбинку и сказал:

— Когда наскучит тебе скитаться по свету, Иван, приходи служить у моих ворот, и будет тебе неплохо.

— С великой радостью, господи, обязательно приду, — ответил Иван.

— А теперь хочу посмотреть, не попадется ли что в турбинку.

Сказал по полю — напрямик к большим дворам, что едва виднелись впереди, на вершине холма. Шел Иван, шел, пока не добрался под вечер к тем дворам. А добравшись, явился к боярину, у него пристанища просит. Боярин скуповат был, но видя, что Иван — царский солдат, понял, что делать нечего. Волей-неволей велел он слуге своему дать Ивану поесть, а после уложить в нежилом доме, куда он всех непрошенных гостей спроваживал. Слуга, выполняя боярский приказ, дал Ивану поесть и отвел его на ночлег.

«Уж тут-то выйдет ему отдых боком, — подумал боярин, отдав распоряжение. — Будет у него ночью хлопот полон рот. Посмотрим, кто кого? Он ли чертей, черти ли его одолеют?»

Ибо нужно вам знать, что дом тот стоял на отшибе и обитала в нем нечистая сила. Там-то и приказал боярин уложить Ивана.

А Ивану и невдомек, что к чему. Как только доставил его боярский слуга на место, привел он в порядок оружие, сотворил, как обычно, молитву и улегся, одетый, как был, на диване, мягком, как вата, положив турбинку с двумя рублями в изголовье и собираясь задать храпака, ибо ноги едва держали его от усталости. Но куда там! Не успел бедняга погасить свечу, как кто-то хват у него подушку из-под головы и как швырнет ее в дальний угол! Схватил Иван саблю, проворно вскочил, зажег свечу и давай шарить по всему дому, но не нашел никого.

— Мэй! Что за притча? То ли дом заколдован, то ли земля ходуном ходит, подушка вылетела у меня из-под головы, брожу, как полоумный. Что за встряска такая? — сказал Иван, осеня себя крестным знаменем и кладя земные поклоны, и снова лег спать. Но только задремал — слышит вдруг голоса, один другого отвратнее: кто по-кошачьи мяучит, кто хрюкает, как свинья, кто квакает по-лягушечьи, кто по-медвежьи ревет; словом, такой поднялся галдеж, что хоть святых выноси! Тогда-то Иван смекнул, в чем дело.

— Ну, погодите же! Сейчас посчитаюсь с вами. — И вдруг как заорет: — Марш в турбинку, черти!

Кинулись бесы один за другим в турбинку, словно их ветром несло. Когда все позалезли, начал их Иван по-русски дубасить. Потом завязал турбинку крепко-накрепко и положил себе в изголовье, отпустив чертякам напоследок таких русских тумачков, что чуть дух из них не вышиб. После того улегся Иван, положив голову на турбинку, и, никем более не тревожимый, уснул сном праведника...

Уже незадолго до петухов видит Скараоский, начальник чертячий, что не вернулся кое-кто из его слуг, и бежит к знакомому месту искать. В один миг примчался, влетел неведомо как к Ивану в комнату и как

даст ему, спящему, затрещину изо всех сил. Вскочил Иван как ужаленный и заорал:

— Марш в турбинку!

Скараоский без лишних слов залезает в турбинку, на головы других, ибо некуда деваться.

— Ладно, сейчас я с вами разделаюсь, нечистая сила, выбью из вас дурь, — осерчал Иван. — Вздумали со мной тягаться. Да я вас так проучу, что собаки смеяться над вами будут.

Одевается Иван, натягивает на себя оружие и, выйдя во двор, подымает такой переполох, что весь двор сбегается.

— Что с тобою, служивый? Встал ни свет ни заря и этаким шум подымаешь? — спрашивают боярские слуги, спросонок тычась один в другое, словно на них куриная слепота напала.

— Да вот, — говорит Иван, — наловил зайцев, ободрать их желаю.

Проснулся от такого шума сам боярин, спрашивает:

— Что за галдеж во дворе?

— Всю ночь не давал нам спать этот русский. Черт его знает, что с ним... Мол, наловил зайцев и ободрать их хочет, не во гнев вашей милости!

Тут и сам Иван к боярину является с турбинкой, полной чертей, а те, словно рыбы в верше, мечутся.

— Вот, господин, с кем я ночь напролет воевал... Зато очистил твой дом от чертей. С утра бью тебе ими челом. Прикажи сюда палок подать, я их сквозь строй пропущу, чтобы помнили, сколько жить будут, что напоролись на Ивана, раба божьего.

Боярин и струхнул и обрадовался, ибо немало сариндаров¹ раздал он попам, чтобы изгнали чертей из его дома, но так ничего и не добился. Видать, на этот раз пришел им конец от Ивана. Нашла коса на камень!

— Ладно, Иван, — сказал боярин, довольный. — Принесут тебе палок, сколько хочешь, и делай свое дело, как можешь, по крайней мере вздохну свободно!

Спустя немного подъезжает к Ивану воз, полный палок, как душа его пожелала. Берет он палки, связывает по две, по три вместе, по всем правилам.

Меж тем столпилось вокруг Ивана все село: кому неохота посмотреть на бесовы муки! Не шутка ведь! Развязывает Иван перед всеми турбинку ровно настолько, чтобы руку просунуть, одного за другим чертей за рожки вытаскивает и давай их палками колотить — аж шкура горит. Учинит расправу и отпустит, однако с условием больше сюда глаз не казать.

— И не подумаю, Иван, сколько жить буду, — говорили нечистые, корчась от боли, и вылетали, как из пушки. А люди смотрели и так и покачивались со смеху, особенно ребяташки.

Под конец вытащил Иван самого Скараоского за бороду да как задал ему русскую порку!

— На же тебе! Драки захотелось, получай драку, господин Скараоский. Пройдет охота другой раз людей мучить, бесово отродье. А теперь ступай! — и побежал Скараоский вслед за другими, только пятки за сверкали...

— Дай тебе, боже, долгой жизни, — сказал боярин, обнимая и целуя Ивана. — Отныне живи у меня; за то, что избавил мой дом от чертей, будешь у меня как сыр в масле кататься.

¹ Сариндар — плата за церковную службу.

— Нет, хозяин, — говорит Иван. — Пойду господу богу служить, владыке нашему.

С этими словами опоясался он саблей, прицепил турбинку к бедру, вскинул ранец за спину, ружье на плечо — и пошел к господу богу. А люди, сняв шапки, пожелали ему доброго пути, куда бы он ни направился.

— Скатертью дорога, — сказал боярин, — кабы остался, был бы мне как брат; а не останешься — будешь как два.

Сдается мне, что самого боярина турбинка в страх вогнала, и не так-то уж он сожалел об Иване, сделавшем ему столько добра.

А Ивану и горя мало; шел он себе да шел, вопрошая в пути каждого встречного, где господь проживает. Но все как один пожимали плечами, не зная, что и ответить на такой чудной вопрос.

— Только святой Николай это знает, — сказал Иван, вынул образок из-за пазухи, облобызал с обеих сторон и — чудо! — оказался у райских врат! Недолго думая, стал он в ворота стучать что было мочи, а святой Петр изнутри спрашивает:

— Кто там?

— Я.

— Кто я?

— Я, Иван.

— А чего тебе надобно?

— Табачок есть?

— Нету.

— Водка есть?

— Нету.

— Женщины есть?

— Нету.

— Музыканты есть?

— Нет, Иван, что ты мне голову морочишь?

— А где их найти-то?

— В аду, Иван, не здесь.

— Мэй! Ну и скучища у вас тут, в раю, — говорит Иван. И без лишних слов отправляется в ад. Кто знает, где он бродил, но только спустя не-много постучался он во врата адовы, кричит:

— Эй! Табачок есть?

— Ест ь, — отвечают оттуда.

— Водка есть?

— Есть.

— Женщины есть?

— А то как же!

— Музыканты есть?

— Сколько душе угодно!

— Вот хорошо. Это как раз по мне. Открывайте живее, — говорит Иван, притопывая и потирая руки.

Черт, стоявший у ворот, думал, что это всегдашний их посетитель, открыл и видит — перед ним Иван Турбинка!

— Ой, беда, ой, беда! — заохали черти, почесывая головы. — Не сдобровать нам теперь!

А Иван велит поскорее подать водки и табачку, и музыкантов, и красивых женщин привести, ибо охота ему гуляя задать.

Переглядываются чертяки, видят, что против Ивана им не устоять, и давай нести кто откуда водку, табак, музыкантов зовут, словом, все делают, что только его душе угодно. Мечутся во все стороны, волчком кружатся, угодить Ивану во всем стараются, ибо нагнала на них страху турбинка, пожалуй, больше святого креста.

Между тем напивается Иван вдрызг и давай по всему аду гикать, пляшет городинку и казачинку, хватает чертей и чертовок с собою в пляс; опрокидывает стойки, все по сторонам разбрасывает — лопнуть можно со смеху. Что было чертям делать? Думают, гадают, и так и этак прикидывают, никак не придумают, как от него избавиться. Адова Пятка, однако — ведьма побашковитее других чертей — говорит самому Скараоскому:

— Дурачье безмозглое! Не будь здесь меня, не знаю, что бы с вами и сталось! Несите сюда живее кадку, собачью шкуру и две палки; я из этого такую игрушку смастерю, в два счета духа Иванова здесь не будет.

Принесли все, что она хотела, и тут же сколотила Адова Пятка барабан; тихонько пробралась мимо Ивана за ворота и давай барабанить, будто в поход: там-тара-рам!

Опомнился Иван, одним прыжком выскочил за ворота с ружьем на плече!

Адова Пятка тогда — прыг внутрь, черти ворота за Иваном захлопнули, засовы задвинули прочно, радуются, не нарадуются, что от турбинки избавились. Колотит Иван по воротам что есть мочи, ружьем дубасит, ан нет — научились теперь черти уму-разуму.

— Ладно, рогатые! Попадетеь мне в руки — не даст вам турбинка спуску!

А черти на это — ни гу-гу.

Видит Иван, что врата адские — за семью засовами, железом окованы, и не думают черти открывать, — пропала у него охота и к музыке, и к табачку, и к водке, и ко всему, отправился снова в рай господу богу служить.

Приходит он к райским вратам, становится на страже, стоит, не смыкая глаз, дни и ночи кряду, с места не стронется.

Немного погодя является Смерть, хочет к господу богу пройти за приказаниями.

Приставляет Иван шпагу к ее груди, говорит:

— Что ты, ведьма, куда?

— К богу, Иван, за приказаниями.

— Нельзя, — говорит И в а н, — сам пойду, ответ тебе принесу.

— Нет, Иван, сама я должна.

Видит Иван, Смерть нахрапом лезет, да как осерчает, как заорет:

— Марш, ведьма, в турбинку!

Смерть волей-неволей в турбинку лезет, стонет, вздыхает, хоть плачь от жалости к ней. А Иван и в ус не дует, завязал турбинку, на дерево повесил и давай в ворота стучаться. Открывает святой Петр, смотрит — перед ним Иван.

— Что, И в а н, — говорит, — еще не наскучило тебе по свету бродить, дурака валять?

— Еще как наскучило, святой Петр.

— А чего тебе хочется?

— К богу хочу пройти, два слова сказать.

— Что ж, Иван, иди, путь тебе не заказан, ты же у нас теперь свой.

Проходит Иван прямо к господу, говорит ему:

— Господи, известно тебе или нет, только я уже долгое время у райских врат служу. А теперь Смерть пришла, спрашивает, что ты прикажешь?

— Передай ей, Иван, такой от меня приказ: чтоб три года кряду только таких, как ты, стариков прибирала... — говорит господь с доброй улыбкой.

— Хорошо, господи, — говорит Иван, призадумываясь. — Пойду, передам твой приказ.

Пошел Иван, выпустил Смерть из турбинки, говорит:

— Приказал господь, чтобы питалась ты впредь три года подряд только старым лесом, а молодого не трогай! Понятно? Ступай, выполняй свой долг!

Пошла Смерть по лесам, злая-презлая, и давай грызть старые стволы, только челюсти трещат.

Ровно через три года пускается она снова к богу за приказаниями, но как вспомнит, что опять ей с Иваном дело иметь — ноги подкашиваются, спину сводит от страха.

— Турбинка! Турбинка проклятая в гроб меня вгонит, — охает Смерть. — Ну, делать нечего, надо идти.

Идет она, идет, наконец, до райских врат добирается. А там опять Иван стоит.

— Ты все тут, Иван?

— А то как же, — отвечает Иван, делая налево кругом и вставая прямо перед Смертью. — Где же мне быть-то, коли тут моя служба?

— Я думала, ты по свету шатаешься, дурака валяешь.

— Да ведь я от света бежал. Знаю, до чего он сладкий и горький, чтоб ему пусто было! Тошно от него стало Ивану! Но ты почему исхудала так, ведьма?

— По твоей милости, Иван. Но больше, надеюсь, не станешь терзать меня,пустишь к богу, важное у меня к нему дело.

— Как же, держи карман шире! Что за спешка, не пожар ведь! Уж не вздумалось ли тебе с господом лясы точить!

— Э-ге, слишком уж ты зазнаешься, Иван.

— Вот как? Ты еще передо мною нос задираешь? Марш в турбинку, ведьма!

Лезет Смерть в турбинку, а Иван колотит ее, приговаривает:

— Шутила с кем шутила, а с Иваном не шути!

Господу все это было ведомо, но желал он, чтоб по воле Ивана было, а не все по воле Смерти, потому и она тоже немало на своем веку бед натворила.

— Ну-ка, святой Петр, отвори, — сказал Иван, постучав в ворота.

Открывает ему святой Петр, снова является к господу Иван и говорит:

— Господи, спрашивает Смерть, какие приказания будут? И, не во гнев твоей милости, очень уж она жадна и неугомонна, ждет не дождется, ответа требует.

— Передай ей, Иван, приказ, чтобы отныне три года кряду одни молодые умирали; а другие три года одни только непослушные дети.

— Слушаю, господи, — говорит Иван, кланяясь до земли. — Пойду, скажу, как ты повелел.

Идет, выпускает Смерть из турбинки, говорит:

— Приказал господь, чтобы впредь питалась ты три года кряду только молодым лесом; а затем три года лишь молодыми ветками, раkitой, лозняком, побегими всякими; старого леса не трогай, а то худо будет! Слыхала, ведьма? А теперь живее уноси ноги — выполняй приказ.

Проглотив обиду, понеслась Смерть по рощам, дубравам, кустарникам, — злая-презлая. Но нечего делать, то погрызет молодые деревца, то и побегии пожует, да так, что челюсти стучат, бока и затылок ломит — высоко к тополям тянуться, а за корнями кустарников и молодыми побегими нагибаться приходится. Утоляла голод, как могла. Промучилась три года кряду и еще три года, и, отбыв все шесть лет наказания, снова к господу за повелениями отправилась. Знала она, что ее ждет, но делать было нечего.

— Турбинка, огонь ее возьми! — говорила Смерть, отправляясь в рай,

как на виселицу. — Не знаю, что уж и сказать про господа бога, чтоб не согрешить. Совсем, видать, впал он в детство, прости господи, если уже Ивану полоумному власть такую надо мною дал. Хотелось бы мне увидеть самого господа бога, великого и всемогущего, в Ивановой турбинке; или хоть святого Петра; уж тогда бы они мне поверили.

Идет она, бормоча проклятия, и доходит до райских врат. Как Ивана увидела, в глазах у нее потемнело, и говорит она со вздохом:

— Что ж, Иван, неужто снова мне жизни не будет от турбинки твоей?

— Эге-ге, имей я побольше власти, скажу по правде, глаза б тебе выколот, как черту, и на вертеле бы тебя изжарил, — отвечает Иван с досадой, — из-за тебя ведь столько народу погибло от Адама и до наших дней. Марш в турбинку, ведьма! А господу богу даже и не заикнусь про тебя, старую каргу! Ты да Адская Пятка — два сапога пара! Зубами бы вас растерзал, ласковых да пригожих. Но теперь продержу тебя взаперти, сколько влезет, сгною в турбинке!

Вздыхает, охает Смерть, да что толку? Словно и не видит, не слышит ее Иван. Но вот через сколько-то времени выходит к воротам господь — посмотреть, что еще вытворяет Иван со своей турбинкой.

— Ну, Иван, как живешь-можешь? Больше сюда Смерть не приходила?

Опустил Иван голову, молчит, только в лице меняется; а из турбинки Смерть говорит глухо:

— Тут я, господи, взаперти. Выдал ты меня, бедную, Ивану полоумному на поругание!

Развязал господь турбинку, выпустил Смерть и говорит Ивану:

— Ну, Иван, хватит! Свой хлеб съел, свою песню спел! Конечно, милосердный ты, сердце у тебя доброе, ничего не скажешь. Но с каких-то пор, с того дня, пожалуй, как благословил я твою турбинку, стал ты вроде не тот. Чертей боярских в бараний рог скрутил. В аду такого гуляя задал, что слава о тебе пошла, как о попе-расстриге. Со Смертью пустил я тебя вытворять все, что только вздумается. Но все до поры до времени, сынок. Пришла и тебе пора умирать. Что поделаешь! Каждому свое воздать следует, и у Смерти ведь свой расчёт; не так уж и зря ей воля дана, как ты думаешь.

Иван, видя, что дело нешуточное, падает на колени перед господом, молит его слезно:

— Господи! Прошу тебя, дай мне хоть три дня: о душе своей позаботиться, гроб себе слабой рукой изготовить и самому в него лечь, а тогда уж пусть делает со мной Смерть, что захочет, потому вижу я, что конец мне приходит: на глазах таю.

Согласился господь, отобрал у Ивана турбинку и ведьме велит через три дня за душой его прийти!

Остался Иван один, горем убитый, и задумался.

— Ну-ка, вспомню да подсчитаю, сколько радости имел я от всей моей жизни, — говорит сам себе Иван. — В армии — одно беспокойство: Иван туда, Иван сюда! После болтался без дела, наломал дров — будь здоров! В рай пошел, из рая в ад, оттуда опять в рай. И как раз теперь, значит, никакого мне утешения! В рай мне приспичило! Ну и бедность же в этом раю! Как говорится: слава большая, котомка пустая; денег полный карман, а душу утолить нечем. Хуже наказания не придумаешь. Водки нет, табачка нет, музыки нет, гуляя нет, красивых баб нет, ни черта нет! Три денька всего жить осталось, и все, Иван, конец. Не схитрить ли как-нибудь, пока не поздно.

Сидит Иван, задумавшись, лоб рукой подперши, и вдруг мысль его осеняет:

— Стой! Нашел, кажется, выход. Будь что будет, но только зря не будет... Все равно один мне конец!

Покупает Иван на свои два рубля плотницкий инструмент, два горбыля толстых, четыре дверные петли, гвоздей, два кольца и замок здорovenный. Раз-два, смастерил себе гроб на славу, хоть царя в него клади.

— Вот, Иван, последнее твое убежище, — сказал о н . — Три аршина земли — все, что тебе осталось! Видишь теперь сам, сколько проку от всей этой жизни!

Не успел Иван слова эти вымолвить, глядь — Смерть тут как тут:

— Ну, Иван, готов?

— Г о т о в , — отвечает Иван, улыбаясь.

— Если готов, то хорошо! Живее в гроб ложись, а то мне некогда. Меня, может, еще и другие ждут, чтобы благословила я их в дорогу.

Лег Иван в гроб лицом вниз.

— Не так, И в а н , — говорит Смерть.

— А как же?

— Ложись, как мертвому подобает.

Повернулся Иван набок, ноги свесил.

— Ты что ж это, Иван? Тебе — стрижено, а ты — брито; долго ли меня держать будешь? Ложись, брат, как следует!

Повернулся Иван снова лицом вниз, голову — набок, ноги свесил.

— Ох, беда мне с тобою! Неужто и этого не умеешь? Видать, только на бесчинства всякие и был ты годен на этом свете. Ну-ка, вылезай, покажу тебе, безмозглая твоя башка!

Вылезает Иван из гроба, стоит пристыженный. А Смерть, решив, по доброте своей, научить Ивана, ложится в гроб лицом вверх, ноги вытянула, руки на груди сложила, закрыла глаза, говорит:

— Вот так и ложись, Иван.

Тут Иван, недолго думая, — х л о п ! — крышку закрыл, запер на замок, взвалил гроб на плечи и пустил его по широкой и быстрой реке, приговаривая:

— Тут-то я тебя и прикончил. Катись, пропадай! Выйдешь из гроба, когда тебя бабушка из могилы выкопает. Отобрал у меня господь турбинку из-за тебя, так и я ж тебе удружил.

— Видишь, господи б о ж е , — сказал апостол Петр, смеясь, — чего еще надумал Иван, любимчик твоей милости? Хорошо сказал, кто сказал: дай дурню волю, заведет в неволю.

Узрел господь дерзость Иванову, забеспокоился. Приказал он тот гроб отыскать, открыть и выпустить Смерть; а она пускай отомстит Ивану. Сказано — сделано, и когда уже и не снилось Ивану, что придется еще повстречаться со Смертью, выходит она к нему, лицом к лицу, и говорит:

— Что ж, Иван, разве таков был наш уговор?

Опешил Иван, слова не может вымолвить.

— Еще дурачком прикидываешься? Эх, Иван, Иван, только долготерпение и бесконечная доброта господня могут превозмочь твои беззакония и упрямство твое. Давно бы ты сгинул и стал у чертей посмешищем, кабы не полюбил тебя господь, как сына родного. Знай же, Иван, что отныне сам ты будешь смерти желать, на четвереньках за мною ползать, умолять меня будешь душу твою прибрать, а я прикинусь, будто вовсе и забыла про тебя, оставлю тебя жить, сколько жить будут стены Голии¹ и крепость Нямц, чтоб увидел ты, как несносна жизнь в глубокой старости!

¹ Голия — монастырь, и также дом умалишенных в Яссах.

И оставила его Смерть неприкаянным жить.

С той поры, как создан свет,
На полатах ветра нет.

А когда увидел Иван, что конец ему не приходит, сказал он сам себе:

— Неужто ж я колом себе голову прошибу из-за ведьмы? И не подумаю. Пускай она себе это делает, коли охота.

И с той поры, говорят, пустился он, Смерти назло, махоркой дымить и цуйку¹ с горилкой тянуть, словно его огонь сжигал.

— Гуляй Да гуляй, Иван, не то с тоски свихнешься! — говорил он.

И что было делать бедняге, когда Смерть, будто ослепла, его не замечает?!

Так вот и жил Иван, не знающий смерти, век за веком без числа, и, может, поныне живет, если не умер.



¹ Цуйка — сливовая водка.

СКАЗКА

Случилось это давно, а может, недавно, но если бы подобное не случилось, о том и речь бы не шла.

Мы не ровесники сказок, а появились на свет двумя-тремя днями позже, в ту самую пору, когда блохе подбивали семипудовые подковы к каждой ноге, а ей и такая тяжесть пустяковою казалась.

Жил-был однажды женатый мужчина, а проживал он вместе со своей тещей. Жена его, кормившая грудного ребенка, была глуповата, да и теща тоже особым умом не отличалась.

В один прекрасный день наш мужичок, как и каждый хозяин, отличился ненадолго из дому по своим делам. Тем временем молодая жена, выкупав младенца, спеленала его, дала ему грудь и уложила спать в небольшое корытце, подвешенное вместо люльки у печи, — дело-то было зимой. Она укачивала и баюкала ребенка до тех пор, пока он не заснул. Усыпив его, она слегка призадумалась и вдруг как заголосит:

— Ой, боже мой! Ой, дитяtko мое ненаглядное!

Старуха, сидевшая с прялкой на печи, отшвырнула в сторону веретено и, не помня себя, бросилась к дочери:

— Что случилось, дорогая, что с тобой?!

— Матушка, матушка, мой ребенок умрет!

— Как умрет, почему?

— А вот почему. Видишь, вон, ком соли за дымоходной трубой?

— Вижу. Ну так что?

— А если кошка заберется туда и сбросит этот ком ребенку на голову, он же убьет его!

— Боже мой, доченька, верно ты говоришь! Видать, пришел конец нашему малышу.

И, уставившись глазами на ком соли, что мирно покоился за печной трубой, со стиснутыми от страха руками они, как помешанные, стали так громко охать да причитать, что весь дом ходуном заходил.

И пока они так изводили себя, как раз и отец ребенка входит в дверь, голодный, едва волоча ноги от усталости.

— Что с вами? Что на вас нашло, оглашенные?

Тогда женщины, придя немного в себя и вытерев слезы, стали наперебой рассказывать ему о еще не свершившейся беде. Внимательно выслушав их, муж с изумлением сказал:

— Немало дураков встречал я на своем веку, но таких, как вы, вижу впервые. Уйду от вас куда глаза глядят. Если встречу глупцов глупее вас, то вернусь, а коли нет — не поминайте лихом!

И, тяжело вздохнув, вышел он из дому, не попрощавшись, и отправился по миру, кляня свою горькую судьбу. И пока шагал он понуро, не зная куда направить свои стопы, случилось ему стать свидетелем одного невиданного случая. В захолустном местечке какой-то тщедушный человек направлял ковш горлышком к солнцу и, подержав его несколько

мгновений, хватал сосуд и бегом пускался в дом. Затем снова выходил с ковшом, и все повторялось сначала.

Наш путник, недоумевая, произнес:

— День добрый, мил-человек!

— Спасибо на добром слове, приятель.

— А что это ты делаешь?

— Да вот, дня два уже тружусь, хочу перенести это упрямое солнце к себе в дом, чтобы и там было светло, да ничего у меня не получается.

— Ну и работенку ты себе придумал! — удивился странник. — У тебя топорика поблизости не найдется?

— Как не найтись, найдется.

— Тогда возьми топор в руки да проруби в стене небольшое отверстие — солнце само туда войдет.

И как только незадачливый ловец солнца это проделал, солнечный свет тут же проник в дом.

— Вот так чудеса! — воскликнул изумленный хозяин. — Если бы господь бог не привел тебя в наши края, наверное, всю жизнь таскал бы я солнце в кувшине.

«Еще один глупец», — подумал наш странник и продолжил свой путь. Через некоторое время, добравшись до небольшой деревушки, он остановился, по случаю, у одного из местных жителей. Хозяин, работавший колесным мастером, изготовил деревянный воз и собрал его по частям прямо у себя в доме. Затем, пытаясь вытащить его наружу, он изо всех сил тянул за дышло, но воз не двигался с места. Вы уже догадались, почему? Совершенно верно: двери были гораздо уже, чем воз, и хозяин собирался уже рубить косяки, чтобы вытащить его. Счастье, что пришелец надоумил хозяина разобрать воз, вынести его по частям во двор и снова собрать.

— Спасибо тебе, добрый человек, — поблагодарил хозяин. — Верно ты мне подсказал. Подумать только — из-за этой треклятой телеги чуть было не развалил свой дом!

Убедившись, что встретил еще одного дурака, наш путник отправился дальше. И вот он подошел к другому дому. А там, что бы вы подумали, довелось ему увидеть? Обливаясь потом, какой-то мужик всю орудовал вилами, пытаясь подобрать лежавшие на полу орехи и забросить их на чердак.

«На каждом шагу мне стали попадаться безмозглые бараны», — в сердцах подумал путник.

— И чего ты так маешься, мил-человек? — спросил он мужика.

— Вот пытаюсь забросить немного орехов на чердак, да, видать, эти проклятые вилы ни на что не годятся!

— Напрасно трудишься, хозяин! И незачем тебе проклинать свои вилы — они ни при чем. Есть у тебя обыкновенный мешок?

— Само собой...

— Положи в него орехи, взвали на плечи и поднимись с ним потихоньку вверх. Вилы хороши для стогования сена или соломы, а совсем не для орехов.

Хозяин последовал совету, и дело пошло на лад.

Странник не стал больше задерживаться и отправился дальше, убедившись, что встретил еще одну бестолочь. Продолжая свой путь, он добрался до другого места, где ему довелось повидать несурязицу еще похлестче.

Какой-то чудаки накинул корове на шею веревку, и, забравшись на высокий навес, где было сложено немного сена, тянул изо всех сил за

веревку, пытаюсь затащить животное наверх. Бедная скотина отчаянно мычала, а ее хозяин валился с ног от усталости.

— Послушай, дружище, — произнес странник, осеняя себя крестным знаменем, — что ты хочешь сделать?

— Что хочу сделать, спрашиваешь? А разве ты не видишь?

— Видеть-то я вижу, да уразуметь не могу.

— Эта чертова скотина порядком изголодалась, но заупрямилась и не хочет подняться на этот навес, чтобы отведать свежего сена.

— Ты погоди, христианин, удавишь ведь скотину! Возьми лучше сено, сбрось его вниз, корова и поест.

— Так сено-то ведь рассыпется!

— Гляди, сэкономишь на отрубях, потеряешь на муке...

Хозяин согласился, и корова была спасена.

— Спасибо, добрый человек, за совет, а то чуть было не загубил я напрасно свою скотину!

А наш путник, подивившись и этой невероятной глупости, подумал про себя: «Кошка в конце концов вполне могла бы сбросить ком соли с печи. Но пытаться переносить ковшом солнечный свет в помещение, забрасывать вилами орехи на чердак и едва не удавить корову, стараясь затащить ее при помощи веревки на высоченный навес, — такого я себе и представить не мог!»

После этого наш странник возвратился в родные места и остался вместе с домочадцами, посчитав их разумнее тех глупцов, которых повстречал во время своего путешествия.

А я лихо в седло вскочил
И сказ свой слегка округлил.
Затем колесо оседлал
И сказку вам рассказал.
И оседлал я, друзья, кобылицу,
И рассказал вам одну... небылицу.



СКАЗКА ПРО ЛЕНТЯЯ

Жил-был в одном селе человек ужасно ленивый, до того ленивый, что даже пищу не разжевывал. И село, видя, что человек этот не хочет работать, хоть убей, решило повесить его, чтоб и другим неповадно было. Выбрали двух поселян, пришли они к лентяю домой, схватили его, взвалили на телегу с волами, как чурбан бесчувственный, и повезли на виселицу.

Так уж было заведено в то время.

Повстречалась им по дороге барыня в коляске. Увидала барыня в телеге человека, похожего на больного, пожалела его и спросила у провожатых:

— Люди добрые! Видно, человек у вас в телеге больной и везете вы его, беднягу, в больницу на лечение?

— Вовсе нет, барыня, — отвечал один из крестьян. — Не во гнев твоей милости, уж это такой лентяй, которому равного, верно, в целом свете нет; а везем мы его на виселицу, чтобы избавить село от лодыря.

— Ай-ай-ай, люди добрые, — сказала барыня, содрогнувшись. — Не жалко разве, если погибнет бедняга, как бездомная собака? Отвезите-ка лучше его ко мне в имение; вот она, усадьба, на откосе. Есть там у меня амбар, полный сухарей. Так, на черный день припасено. Пускай себе ест сухари и живет при моем доме. В конце-то концов не обеднею я из-за кусочка хлеба. Должны же мы помогать друг другу.

— Эй, ты, лентяй, слышал, что барыня рассказывает? — спросил один из крестьян. — Посадит тебя на откорм в амбар с сухарями. Экое счастье тебе привалило, побей тебя гром, пакость ты этакая! Скорее слезай с телеги, кланяйся барыне, ведь она тебя от смерти спасла; будешь теперь жить припеваючи у нее под крылышком. Мы-то думали тебя мылом да веревкой наградить, а барыня в милосердии своем приют тебе дает и сухари в придачу; век живи, не умирай! Заступиться за такого и кормить, как трутня, — чудеса в решете! Хорошо сказал, кто сказал: волы пашут, а лошади жрут. Да ну же, отвечай барыне либо так, либо этак, потому нет у нее времени с нами тут толковать.

— А сухари-то моченые? — спросил лодырь, едва раскрывая рот и не двигаясь с места.

— Что он сказал? — спрашивает барыня.

— Да что сказал, милостивая барыня, — ответил второй крестьянин. — Спрашивает, сухари моченые ли?

— Вот тебе и н а , — удивилась барыня, — еще такого никогда не слышала. А сам он мочить их не может?

— Слышь ты, лодырь: берешься ли сам сухари мочить?

— Не берусь, — отвечал лентяй. — Везите лучше дальше. Уж больно много хлопот ради брюха поганого!

Говорит тогда один из крестьян:

— Ваша воля, милостивая барыня, только зря вы ячмень на гусей переводите. Сами видите, неспроста, не за здорово живешь мы его на виселицу везем. Вы как думаете? Разве не взялось бы все село дружно, как

один, кабы можно было его на путь наставить? Но кому помогать-то? Лень — сударыня знатная, локти у ней заплатаны.

У барыни тогда, при всей ее доброте сердечной, пропала охота к благодетельству, и сказала она:

— Люди добрые, делайте, как бог на душу положит!

А крестьяне повезли лентяя на место и повесили. Так избавился лентяй от крестьян и крестьяне от лентяя.

Пусть теперь пожалуют другие лентяи в то село, если с руки им и если духу хватит.

А я на седло сел, сказку сказал, как сумел.



ПЯТЬ ХЛЕБОВ

Как-то шли по дороге двое знакомых. У одного в котомке было три хлеба, а у другого два.

Проголодавшись, уселись они в тени развесистой вербы, у колодца. Достал каждый свой хлеб, и собрались они вместе пообедать, чтоб веселее было. Только вынули хлеб из котомок, подходит к ним незнакомый прохожий, здоровается и просит его попотчевать; очень ему есть захотелось, а с собой съестного из дому не прихватил, и купить негде.

— Садись, добрый человек, поешь с нами, — сказали путники. — Где двое едят, там и на третьего еды станет.

Не заставил себя незнакомец долго упрашивать, рядышком сел, и стали они все трое хлеб уписывать, студеной водой колодезной запивать, ибо другого питья у них не было.

Ели они, ели втроем, пока не исчезли все пять хлебов, словно их и не было. Вынул тогда незнакомец из кошелька пять лей, протянул их — наугад — тому, у кого три хлеба было, и сказал:

— Возьмите, люди добрые, в благодарность за то, что накормили меня досыта; выпейте в пути по стаканчику вина или делайте с этими деньгами, что заблагорассудится. Не знаю, как и отблагодарить вас за услугу, у меня ведь от голода в глазах темно было.

На первых порах не хотели они брать денег, но тот настаивал, и, в конце концов, они согласились. Вскоре попрощался с ними незнакомец и пошел восвояси, а те остались еще немного отдохнуть в тени под вербой. Слово за слово, говорит один другому.

— На тебе, брат, два лея. Это твоя доля, делай с ней, что хочешь. Было у тебя два хлеба, значит два лея тебе по праву и следует. А себе я три лея оставлю, потому что у меня три таких же хлеба было.

— Как это? — возмутился второй. — Почему мне только два лея, а не два с половиной, сколько причитается каждому из нас? Он ведь мог ничего нам не дать, и как бы тогда было?

— Тогда, — ответил первый, — моя часть услуги равнялась бы трем долям, а твоя только двум, и все тут. А этак мы и поели бесплатно, и денег у нас в кошельке с избытком: у меня три лея и у тебя два — каждому по числу его хлебов. Думаю, сам господь бог не поделил бы справедливее.

— Нет, дружище, — возразил второй. — Я так считаю, что ты меня обижаешь. Давай лучше в суд обратимся, и как скажет судья, так тому и быть.

— Что ж, давай судиться, — сказал первый, — если ты недоволен. Я уверен, что суд будет на моей стороне. Правда, отроду не таскался я по судам.

Так и продолжали они путь, решив судиться; прибыли в город, где находился суд, явились к судье и рассказали ему подробно, один за другим, все, как было: как шли они вместе, как сели в дороге обедать, сколько хлебов было у каждого, как поел незнакомец наравне с ними, как в

благодарность оставил им пять лей и как решил один из них поделить деньги.

Судья, выслушав внимательно обоих, сказал тому, кто был недоволен разделом:

— Ты, значит, считаешь, что тебя обидели?

— Да, ваша милость, — ответил тот. — Мы и не думали брать у незнакомца деньги за еду; по раз уж так случилось, то надо было поровну поделить подарок нашего гостя. Так, по-моему, следовало поступить по справедливости.

— Если уж поступить по справедливости, — сказал судья, — то, будь добр, верни один лей, раз у него было три хлеба.

— Вот уж этого никак не ожидал я от вас, ваша милость судья, — возмутился истец. — Я пришел в суд справедливости добиться, а вы, блюститель закона, еще хуже меня обижаете. Если таков будет и божий суд, то не сдобровать нам всем.

— Так тебе кажется, — хладнокровно возразил судья, — а на самом деле вовсе не так. Было у тебя два хлеба?

— Да, господин судья, два у меня было.

— А у спутника твоего было три?

— Да, господин судья, три.

— Питья ни у кого из вас не было?

— Ничего, господин судья, кроме хлеба и студеной воды из колодца, да вознаградит господь того, кто выкопал его прохожим на радость.

— Ты, кажется, сам говорил, что все поровну поели, не так ли?

— Да, господин судья.

— Давайте тогда подсчитаем, сколько каждый хлеба съел: предположим, что каждый хлеб был разрезан на три равных куска. Сколько кусков получилось бы из твоих двух хлебов?

— Шесть кусков, господин судья.

— А у спутника твоего из трех хлебов?

— Девять, господин судья.

— А всего сколько бы кусков получилось? Шесть и девять?

— Пятнадцать кусков, господин судья.

— Много ли человек съело эти пятнадцать кусков?

— Три человека, господин судья.

— Так! По сколько же кусков пришлось на каждого?

— По пять кусков, господин судья.

— Теперь припомни, сколько было у тебя кусков?

— Шесть кусков.

— А съел ты сколько?

— Пять кусков, господин судья.

— Значит, сверх того сколько осталось?

— Один только кусок, господин судья.

— А теперь перейдем к твоему спутнику. Вспомни, сколько кусков получилось бы из его трех хлебов?

— Девять кусков, господин судья.

— А сколько из них он съел?

— Пять кусков, как и я, господин судья.

— А лишку сколько осталось?

— Четыре куска, господин судья.

— Верно! Давайте теперь разберемся. Выходит, что у тебя один только кусок остался, а у товарища твоего — целых четыре. А всего у вас у обоих пять кусков осталось сверх того, что сами съели.

— Именно пять, господин судья.

— Верно ли, что пять кусков этих гость ваш поел и в благодарность за это пять лей вам оставил?

— Верно, господин судья.

— Ну, значит, тебе только один лей причитается за тот кусок, что у тебя лишку остался, а товарищу твоему за четыре его куса четыре лея причитается. Так что, будь добр, верни ему один лей. Если же ты считаешь мой суд неправильным, то ступай к самому богу, и пусть рассудит он справедливее меня.

Истец, увидев, что крыть ему нечем, вернул скрепя сердце один лей и, пристыженный, ушел восвояси.

А товарищ его, восхищенный столь мудрым решением, поблагодарил судью и вышел, разводя руками и приговаривая:

— Если бы повсюду были такие судьи, которые себе очки втереть не дают, навеки вечные закаялись бы неправедные люди по судам таскаться.

Пустобрехи, именуемые защитниками, утратили бы возможность жить одним обманом и либо за дело бы взялись, либо всю жизнь горе бы мыкали.

А добрые люди от этого бы только выиграли.



РАССКАЗЫ



МОШ НИКИФОР КОЦКАРУЛ ¹

Мош Никифор — это не выдумка какая-нибудь, не сказка, а человек, как все люди; проживал он в свое время в Цуцуенах, предместье Тыргу-Нямца, со стороны села Вынаторий Нямцулуй. Примерно в те годы жил мош Никифор в Цуцуенах, когда дед моего деда играл на волынке на крестинах у мош Дедиу в Вынаторах, а главным крестным был Чубар Вода, которому мош Дедиу сорок девять овечек черненьких подарил — и все одноглазых, а попом служил дядюшка дяди мамы моей, Чубук Клопотарул ² из Нямцкого монастыря, отливший за свой счет колокол большой для того монастыря и очень любивший сам звонить в него по большим праздникам: потому и прозвали его Звонарем. Вот в это время и проживал мош Никифор в Цуцуенах.

Мош Никифор был возницей. Каруца его, хоть и сбитая из чего попало, все-таки была еще куда, просторная и ладная каруца. Навес из рогожи защищал каруцу мош Никифора и от солнца, и от дождя. К распоркам подвешены были дегтярница с помазком и постеука ³, болтавшиеся на ходу и позвякивавшие друг о друга: тронк, транк! тронк, транк! А на кольце, на нижнем бруссе слева, висел топорик — на всякий случай. Две кобылы, белые, как снег, и проворные, как огонь, почти всегда подпирали дышло; почти всегда, однако же не всегда, потому что мош Никифор был вдобавок еще и барышником и, коли видел в том прок, менял или продавал кобылу тут же, посреди дороги, и тогда с одной стороны дышло пустовало. А кобылы были у старика молоденькие, чистенькие; уж такую он имел слабость. Может, спросите: почему кобылы, да еще непременно белые? На это я вам отвечу: кобылы потому, что мош Никифор желал иметь приплод: белые потому, что белизна кобыльа ночью вместо фонаря служила.

И не то чтобы мош Никифор не знал, что нехорошо быть при белых лошадях кучером, а у женщин — слугою. Нет, он это знал, но ведь кобылы-то его собственные были, и если холил он их, то на славу, а если нет — некому было его попрекнуть.

Мош Никифор увиливал от перевозок, как черт от ладана; опасался тяжести поднимать, чтобы не надорваться.

— Людей возить, — говорил он, — не в пример лучше: имеешь дело с живой поклажей, которая, если в гору, то слезет, если под гору — тоже пешком пойдет, а на стоянке, пожалуйста, сиди.

Был у мош Никифора кнутик конопляный, его рукою свитый, с шелковым узелком на конце. Как хлопнет — оглушит. И хоть с грузом, хоть порожняком, но если в гору, то слезал мош Никифор и тянул заодно с кобылами. Если под гору, опять же пешком топал, чтобы кобыл не

¹ Коцкарул — хитрец, пройдоха.

² Клопотарул — звонарь.

³ Постеука — короткий чурбак, которым подпирают ось каруцы при смазке колес.

надсаживать. Седоки, конечно, волей-неволей слезали: невтерпеж становилось от брюзжания мош Никифора, который сразу же принимался ворчать:

— Ну-ка, слезайте, ведь лошадь не то, что человек, — сказать не может.

Ежели кто умел потрафить ему, мош Никифор оказывался большим весельчаком. Когда попадался ему в дороге всадник, он спрашивал:

— А далеко ли ты, удалец, царя позади оставил?— И тут же нахлестывал лошадей, приговаривая:

Белые спереди, справа равны,
Дышло пустует с одной стороны.
Но-о! Уже недалеко Галац, но-о!

Если же встречались ему в пути женщины или девушки, он затягивал озорные песенки, вроде:

Когда взял я бабу в жены,
Всех любовниц слышал стоны, —
Четырех замужних жен
И пяти девчат притом.

Посудите сами, разве не приятно было пускаться в дорогу, особенно в мае месяце, с таким достойным и неизменно веселым человеком? Вот только иногда, ежели, проезжая мимо корчмы, вы делали вид, что это вас вовсе не касается, и не догадывались уважить мош Никифора, становилось ему как-то не по себе, но и тогда он гнал лошадей быстро, от корчмы к корчме...

Как-то достались мош Никифору две кобылки, которые везли просто на славу. Но у каждой корчмы, хоть кровь из носу, останавливались как вкопанные, потому что купил он их у по па, — поскольку не было в то время пожарных команд, где бы можно было достать других столь резвых лошадок.

Рассказывал отец, что говаривали старики, слыхавшие об этом от самого мош Никифора, будто в те времена хорошо было быть возницей в Тыргул-Нямцулуй — возницы были нарасхват. Стоило выехать из Варатика¹, как въезжали в Агапию¹; выезжали из Агапии — въезжали в Варатик; потом в Разбоены¹, потом в монастырские угодья; от клиентов отбоя не было; того в Пятру вези, того — в Фалтичены, того — на ярмарку, того — в Нямцкий монастырь, того — в Секу, того — в Рышку, того еще бог знает куда на престольный праздник.

И еще мне рассказывал отец, будто слышал от деда моего деда, как сказал однажды протопоп нямцкий монашкам, слонявшимся на страстной неделе по городу:

— Матушки!

— Благослови, святой отец!

— Почему не предаетесь благочестию в монастыре и о душе своей не помышляете хоть на страстной неделе?

— Видишь ли, святой отец, — якобы отвечали они со смирением, — шерсть нас заела, побей ее бог. Не стали бы мы ездить, но, как твоему священству известно, все-таки шияк² нас кормит; и если не густо, то хоть не пусто, а кто шевелится, тот и поживится...

Говорят, будто бедный протопоп вздохнул тогда тяжело и язык прикусил... А вину все на того же мош Никифора свалил, сказав:

¹ Названия монастырей.

² Шияк — грубая шерстяная ткань.

— Хоть бы раз навсегда окошел тот возница, который сюда вас привез. Некому было бы каждый раз вас в город катать.

Сказывают, когда дошли слова эти до мош Никифора, омрачился он сильно в душе своей и страшную клятву дал, — пока жив будет, никогда с духовным сословием дела не иметь; потому что на беду был мош Никифор еще и благочестив и весьма опасался под поповское проклятие попасть! Вот и помчался он единым духом в Вовиденский скит, к пустынику Кирияку из святой Агуры, что голову и бороду себе черной черешней красил, а в страстную пятницу яичко на свечке пек, дабы облегчиться от грехов... И тогда же решил наш возница только с купеческим сословием дело иметь.

— Только купец, — говорил мош Никифор, — на свой достаток и на свои средства живет.

А если спрашивали: почему? — мош Никифор отвечал, тоже в шутку: потому что бог ему не хозяин.

Да, весельчак был мош Никифор, ничего не скажешь. Только от всех напастей, что на него свалились, запечалился он как-то.

Старуха его с некоторых пор, неизвестно отчего, скрипеть начала: то одно у нее болит, то другое. То в ушах закололо, то сглазили ее, и стала она от бабки к бабке бегать за припарками да заговорами. Не по вкусу пришлось это мош Никифору, и потому был он теперь почти всегда не в своей тарелке. Даже раздражительным и придиричивым становился, если два-три дня не отлучался из дому. Так что бедная старуха рада-радехонька была, когда он наконец со двора трогался.

Видимо, был мош Никифор создан для дороги: стоило ему двинуться в путь, и он будто другим становился. Знай кнутом похлестывает да со всеми, кого в пути встретит, заговаривает, и обо всех интересных местах рассказывает, через которые проезжает.

Однажды утром, в среду перед троицей, разобрал мош Никифор свою каруцу и стал ее смазывать. Вдруг как из-под земли вырастает у него за спиной господин Струл из Тыргу-Нямца, торговавший бакалеей, мазями, пудрой, румянами, краской для волос, железным и медным купоросом, камнем для изготовления крема для лица, лечебными курениями и прочими отравками.

В те времена не было аптеки в Тыргу-Нямце, и господин Струл поставлял монахам и монахиням все, что их душе было угодно. Торговал он еще, конечно, и другими вещами... Словом, как бы вам сказать, был он больше, чем духовником, ибо без него и дня монастырям было не прожить.

— Добрый день, мош Никифор!

— Доброго вам здоровьечка, господин Струл. Что вас ко мне привело?

— Да вот невестке моей в Пятру надо. Сколько за это возьмешь?

— Так ведь багажа, почитай, немало, хозяин, — отвечал мош Никифор, почесывая затылок. — Но, конечно, ничего, что багаж, потому каруца у меня широкая, — хоть сколько поместится в ней. Словом, чтобы не торговаться, господин Струл, шестнадцать лей с вас будет и еще ирмилик¹ золотой, и повезу я ее вам как в карете. Потому, сами видите, у колес я только-только сменил ободья и такую задал им смазку, что заворачиваются пуше веретена.

— Повезешь за девять лей, мош Никифор, и еще мой сын в Пятре тебя отблагодарит.

— Что ж, по рукам! В добрый час с божьей помощью, господин

¹ Ирмилик — старинная турецкая монета.

Струл. И до чего ж хорошо, что ярмарка в самом разгаре. Может, и на обратном пути что-нибудь перепадет. Только хотел бы я знать, когда ехать будем?

— А хоть бы и сейчас, мош Никифор, если ты готов.

— Готов, господин Струл, вот только кобылок напою. Вы ступайте невестку в дорогу готовьте, а я следом за вами поспею.

И так как был мош Никифор в делах проворным и расторопным, то подкинул он свежего овса в каруцу, поверх овса — пару мешков, набитых сеном, запряг кобылок, кожух на плечи набросил, кнут в руки взял и в дорогу! Не успел господин Струл до дому дойти, а мош Никифор уже каруцу к крыльцу подает.

Малка — так звали невестку господина Струла — вышла на порог на возницу посмотреть. Ну, и как в песне говорится: во-первых, была она родом из Пятры, а во-вторых, еще и раскраснелась, как маков цвет... по той причине, что плакала, расставаясь с родителями мужа...

Впервые ведь побывала она в Нямце, первый путь к свекру и свекрови проложила, как у нас говорится. Считанные недели минули, как вышла она за Ицика, сына господина Струла, или, вернее, вышел Ицик за Малку: ибо он покинул родительский дом, по ихнему обычаю, а через две недели привез Малку в Нямц, на руки сдал своим старикам и тотчас же вернулся в Пятру *коммерцию* обдумывать.

— А ты слово свое сдержал, мош Никифор!

— А как же, господин Струл, слово есть слово. Я ведь долго не вожусь. В дорогу пускаться надо пораньше и вечером тоже пораньше на отдых становиться.

— Успеешь ли до вечера в Пятру, мош Никифор?

— Ну вот! Что это вы, господин Струл. Я так полагаю, что с божьей помощью сразу же после полудня невестку вашу в Пятру доставим.

— Ты, мош Никифор, человек бывалый, лучше меня знаешь. А все ж таки, прошу тебя, поезжай осторожно, невестку мою не вывали!

— Да разве ж я со вчера-позавчера людей вожу, господин Струл? Возил я немало барынь и матушек монастырских, и других почтенных особ, и, слава богу, никто еще в обиде не был... Вот только с матушкой Евлампией, Варатикской собирательницей¹, однажды повздорил маленько: она, куда бы ни ехала, корову свою позади каруцы привязывала, с такой, значит, думкой, чтобы в пути свое молочишко иметь; и тем самым большое мне беспокойство причиняла, ибо корова, сами знаете, то сенца из каруцы отхватит, то даже, бывало, леуку² оторвет. Или, когда в гору, вдруг так дергать начнет, что как-то кобылки мои чуть не задохнулись. Я даже, как бывает с досады, духу набрался: «Матушка, говорю, что ж это вы, за отруби запрашиваете, муку по дешевке отдаете?» Посмотрела она на меня, печально этак и ласковым голосом говорит: «Да замолчите вы, мош Никифор, не кричите вы этак на бедную коровушку; она, бедняжка, ни в чем не повинна. Отцы пустынники из святой Агуры велели мне от одной только коровы молоко пить, чтобы скоро не состариться. Что же мне делать-то? Должны же мы их слушаться, потому их преподобия больше знают, чем мы, грешные!» Услыхал я такое и подумал про себя, что, может, не совсем уж неправа матушка собирательница, и махнул на нее рукой — раз уж она такая чудная: во что бы то ни стало пить из одного источника хочет. Но уж вы-то, господин Струл, верно, не станете мне и коровами в дороге беспокойство причинять. А хозяйюшка Малка, где покруче под гору или в гору будет, и пешком

¹ Собирающей на монастырь.

² Леука — брусок, связывающий ось телеги с кузовом.

пройдется маленько. Особливо теперь, когда красота в поле такая, что с ума сойти. Однако что же мы лясы точим, время теряем? Давай, садись, хозяйюшка Малка, домой тебя к муженьку прикачу. Я-то ведь знаю, каково оно женушкам молоденьким, когда нету мужа при них: брыкаются и тянут до дому, словно лошадь к торбе с ячменем.

— Сейчас сяду, мош Никифор.

И сразу все принялись таскать перины пуховые, мягкие подушки, узелки со съестным и всяческую мелочь. Потом попрощалась Малка со стариками и взобралась на свои тюфяки в каруцу. Вскочил мош Никифор на козлы, вытянул кобылок хлыстом и оставил господина Струла и все семейство со слезами на щеках.

По городу мчал мош Никифор так, что, казалось, кобылы летят.

Берег, село и холм Хумулетский во мгновение ока скрылись из виду. От Очи до самых Грумазешт скакали без передышки. Но уже под Грумазештами хлебнул мош Никифор водочки из брашовской фляги своей, закурил трубку и кобылок слегка придержал.

— Глянь-ка, хозяйюшка, глянь! Село-то какое большое да красивое. Грумазешты называется. Эх, было бы у меня столько быков в загоне, а у тебя столько сынков, сколько... чертяк и чудищ поганых подошло тут, — катались бы мы как сыр в масле!

— Да услышит, тебя господь и пошлет мне сынков, мош Никифор!

— А мне быков, хозяйюшка... потому на сынков уже надеяться нечего. Баба у меня вовсе бесплодная: ни одного мне родить не сумела. Вот протяну ноги, и останется каруца моя без призору, а кобылки сиротинушками.

— Не огорчайтесь, мош Никифор, — говорит Малка, — может, так вам господом богом назначено; потому в наших книгах пишется про таких, у которых и под самую старость дети рождались!

— Ну, уж ты не говори мне, хозяйюшка, про книги-то ваши. Я что знаю, то знаю: нечего воду в ступе толочь, все равно масла не собьешь. У нас в церкви я слышал, что «дерево, плодов не дающее, рубят да в огонь бросают». Какого же тебе, хозяйюшка, другого слова, лучше этого, надобно? Да я сам удивляюсь, ей-богу, откуда у меня терпения достало до сей поры со старухой моею жить. В этой части в тысячу раз ваш закон лучше. Не рожает тебе жена детей, другую бери. Вторая не рожает, бери третью. В конце-то концов найдется одна, которую бог благословил, а не так, как у нас, чтобы все с той же, бесплодною, до скончания века жить, а детей — бог даст! Ведь господь-то великий, всемогущий, не ради одного-единственного человека распять себя дал. Верно, хозяйюшка?

— Может, и так оно, мош Никифор.

— Да уж это, конечно, так, хозяйюшка милая, как я говорю. Тпру! чиии!.. Однако немало уже отмахали мы. Господи боже, вот заговоришься в дороге, после спохватишься — ишь куда заехал! Хорошее это дело от господа бога, — чтобы, значит, вместе быть! Хи!!! Орлицы! Резвее бегите! Вот уже и лес Грумазештский, где проезду не было купцам и богатым. Эге-ге, хозяйюшка, будь у этого леса язык, много бы он рассказал обо всем, что перевидел на своем веку. Страшный бы вышел рассказ, было бы что послушать!

— А что же тут было, мош Никифор?

— Оф, хозяйюшка, оф! Что было, не приведи господь! Да разве случалось тут ездить кому-нибудь, и чтоб не ограбили, не избили, не убили? Правда, больше это ночью бывало, нежели днем. А меня, чтоб не сглазить, доньне уберег господь. Волки и другие звери попадались, правда, в дороге, только я им зла никакого не делал, не трогал их, притворялся, будто вовсе их и не примечаю, ну и уходили они восвояси.

— Ой, мош Никифор, не говорите мне про волков, очень уж страшно!

Вам уже известно, каким шутником был мош Никифор. Как скажет словечко, то либо за живот человек со смеху хватается, либо от страху сердце заходится.

— Вот и сейчас выходит к нам волк, хозяйюшка!

— Ой, беда, мош Никифор, ой, беда! Куда же мне спрятаться?

— Да, по-моему, хоть куда прячься, а мне и целой стаи не страшно.

Бедная Малка с перепугу как ухватится за шею мош Никифора, как пивка в него вцепилась. Жметя к нему, жметя, потом говорит, вся дрожа:

— Где же волк, а, мош Никифор?

— Где же ему быть? Перебежал дорогу и снова в лес подался. А ты, однако, чуть меня не задушила, хозяйюшка. Упустил бы я кобылок, вот было бы дело!

Не успел мош Никифор слово закончить, как Малка тихонько просит:

— Вы уж не говорите больше, что волк идет, мош Никифор, а то я со страху умру.

— Да чего там говорить? Вот он и в самом деле идет!

— Ой, беда! Что вы говорите?!

И опять прижимается к мош Никифору.

— Молодо — зелено! Порезвиться захотелось, хозяйюшка, а? Ну, счастье твое, что не из пугливых я, не очень-то волков боюсь; будь на моем месте другой...

— Что, мош Никифор, не идет больше волк?

— Ну, уж больно ты прыткая, хозяйюшка, все тебе волков подавай, а не за каждым ведь деревом по волку. На святого Андрея, правда, стаями они рыщут. Но и охотники, конечно, не спят. На больших облавах, думаешь, мало волков шкуры свои оставляют? Ну-ка, дадим передохнуть кобылам. Вот и Драконова Гора, хозяйюшка! Повадился как-то сюда дракон огромнейший; из пасти у него жар валил, от шипенья его лес гудел, долины стонали, звери дрожмя дрожали, головами друг о друга бились со страху, и ни одна человечья душа не решалась здесь появиться.

— Ой, беда! А где же дракон, мош Никифор?

— А мне, хозяйюшка, откуда знать? Лес велик, он знает, куда дракон девался. Одни говорят, будто, слопав великое множество людей и всю кору с деревьев сгрызая, он тут же и околел. А от других слышал, будто дали ему от черной коровы молока испить и тем заставили обратно на небо вознестись, откуда он прежде свалился. Не знаешь, кому верить! Болтают ведь люди, что на ум взбредет. Хорошо, мне такой заговор известен, что не очень-то я и драконов боюсь. Я змею из норы достать умею, как ты бы, хозяйюшка, цыпленка из сарая сгребла.

— А какой же это заговор, мош Никифор?

— Этого, хозяйюшка милая, сказать не могу. Я старухе моей — хоть и двадцать четвертый год пошел, как мы поженились, и чего только она ни делала, как ко мне ни приставала: расскажи да расскажи, — и то не сказал. И по этой причине и умрет она, когда умрет. Только бы не запоздала очень, потому я бы тогда на молоденькой женился: мне бы три денька только с этакой в согласии пожить, как я понимаю, а потом хоть умирай! Ну, прямо в горле встряла у меня древняя баба, брюзжит и брюзжит, молоденькими попрекает. Как подумаю, что снова к ней возвращаться, — волком выть хочется.

— Что вы, мош Никифор, перестаньте. Ведь вот вы какие все, мужчины.

— Ого, хозяйюшка, вот мы уже у самой опушки. Слезла бы, прошлась

пешочком до вершины холма. Просто так, чтобы поразмяться. Глянь, цветы-то какие чудесные на опушке, благоухание какое от них. А ты все сидишь в каруце, ноги поджав, не грешно разве?

— Я волков боюсь, мош Никифор, — отвечает Малка и вся дрожит.

— Да перестань ты волков поминать, или больше уже и говорить не о чем?

— Ну остановите, и я слезу!

— Тпру, чии!.. Сюда ногу ставь, на перекладину. Хопа! Теперь я и сам вижу, какая ты ладная; таков мне люб человек: в утробе выношенный, не из яйца вылупленный.

И пока Малка для Ицика мелиссу рвала, мош Никифор подле каруцы возился, мастерил что-то. Потом сразу вскинулся:

— Ну как, готова, хозяйюшка? Живее садись, поедем с божьей помощью, теперь все больше под гору дорога пойдет.

Села Малка в каруцу, спрашивает:

— А что, не поздно еще, мош Никифор?

— Да теперь море нам по колено: вот-вот в Пятру тебя доставлю. — И как хлестнет по кобылам, приговаривая:

Белые спереди, справа равны,

Дышло пустует с одной стороны.

Но-о! Уже недалеко Галац, но-о!

Двадцати пражин¹ не проехали и пррр! — сломалась ось.

— На, этого только не хватало!

— Ой, беда! Неужто в лесу ночевать будем, мош Никифор?

— А ты не сули худого, хозяйюшка. Нешто впервой мне такое случается? Пока перекусишь ты малость да кобылки овсом себе морды утрут, я ось и исправлю.

Хватился мош Никифор топора — ан топора и нет!..

— Всё куда ни шло, — говорит мош Никифор, гневно хмуря брови, — но уж это чересчур. Побей, господи, старуху мою! Так-то она заботится обо мне. Ведь топора-то нет!

Малка, бедняжка, услышала, захохла.

— Мош Никифор, — говорит, — что же с нами будет?

— Ничего, хозяйюшка, не падай духом, есть еще у меня надежды чуток.

Выхватил мош Никифор нож из чехла; о камень поточил — давай строгать молодой дубок прошлогодний. Обстрогал, как умел, стал в каруце шарить, веревок искать. А откуда их взять, коли не положил?..

Ну, раз такое дело, отрезает он шнуры от котомки да по прядке кобыльих грив, прикрепляет как может тот сук, куда надо; колесо ставит на место, вставляет леуку, скручивает ламбу² и привязывает ее к подножке, потом закуривает трубку и говорит:

— Вот, хозяйюшка милая, как нужда учит человека. С мош Никифором из Цуцуен никто еще в дороге не пропадал. А теперь покрепче держись за перекладыны, потому так погоню кобыл, что только копыта засверкают. Но знай, что бабе моей не сдобровать, когда домой вернусь. Отдеру ее за волосы, будет помнить в другой раз, как за мужем ходить, потому жена небитая все равно, что мельница разбитая. Ну, хозяйюшка, держись! Хи! хе!!

Как помчались кобылы, только колеса загремели, да пыль столбом взвилась. Проскакали вдоль сжатой полоски, вдоль другой, разогрелась новая ось и т р а х ! — снова колесо набок!

¹ Пражина — мера длины (примерно 6 метров).

² Ламба — цепь или веревка, связывающая конец оси с поперечиной каруцы.

— Бре! Скверное дело! Видать, сегодня поп мне с утра дорогу перешел или бес его знает кто!

— Мош Никифор, что же с нами будет?

— Сделаем, что надо, хозяйюшка, а пока успокойся, сиди себе смирененько и ни гу-гу. Хорошо, не где-нибудь посреди поля струсилось. Деревя-то, слава богу, в лесу хоть отбавляй. Авось нагонит нас кто или навстречу выйдет и топорик одолжит.

Слово за слово, а тут и впрямь человек навстречу выходит с котомкой па палке и говорит:

— Здорово, добрый человек. Уж не сломалась ли дорога посреди каруцы?

— Шутки в сторону, человеце. Лучше ось помоги справить, а то сердце у меня с досады лопается.

— Да я, видишь ли, в Ошлобены тороплюсь. Одну ночь и в лесу переночевать можешь. Думаю, не умрешь со скуки?..

— И не совестно тебе, — с досадой ответил Никифор. — Старый ведь хрыч, вроде меня, а в голове ветер гуляет...

— Прошу прощения, добрый человек, за шутку. Счастливо оставаться! Бог научит, как быть... — И пошел своей дорогой.

— Вишь, хозяйюшка милая, что за чертов народ пошел нынче? Только выгоды себе ищут. Была бы со мной бочка вина или водки, разве стояла бы каруца с разбитой осью посреди дороги? Видать, и на сей раз тот же мош Никифор выручать будет. А ну-ка, еще попытаюсь.

Срезает он еще один дубок. Возится, возится, ось налаживает. Снова вытягивает кобылок кнутом, рысью пускает; но, как назло, налетает колесо на пенек, и опять ось пополам...

— Теперь, хозяйюшка, пожалуй, и я скажу вслед за тем человеком, что ночевать нам в лесу придется.

— Ой, беда, ой, беда, мош Никифор! Что это вы говорите?!

— То и говорю, что глазами вижу. Вон! Не видишь разве, что солнце за гору клонится, а мы все на месте стоим! Но ничего, хозяйюшка, не тревожься. Знаю я полянку в лесу, тут же, рукой подать. К ней приткнемся, как дома будем. Место укрытое, и кобылы найдут, что похрупать. Ты-то в каруце уляжешься, а я тебя всю ночь охранять буду. Ночь-то, в конце концов, к забору не привязана. Пролетит она, одна ночка. Зато старуха моя это дело запомнит, сколько жить будет. Потому — только по ее вине...

— Делайте, как знаете, мош Никифор. Только бы все хорошо было.

— Ладно, хозяйюшка, не огорчайся. Все будет в полном порядке.

Берет мош Никифор кобылок под уздцы, поворачивает каруцу, с грехом пополам вывозит ее на поляну.

— Вот, хозяйюшка, какой тут рай божий; век живи, не умирай! Одно только ваше племя не дружит с этакой красотой. Вылезай, хозяйюшка, из каруцы, хворосту наберем дотемна, а ночью костер разведем, комаров и прочую мошкату гнать будем!

Бедной Малке теперь уже все равно. Слезает она с каруцы, хворост собирает.

— Бог ты мой! И хороша же ты, хозяйюшка. Совсем будто из наших. Уж не держал ли отец твой корчму в деревне какой?..

— Нет, он двор постоялый в Бодештах долгое время держал.

— А я все дивлюсь, откуда это ты по-молдавски так ладно говоришь, да и походкой тоже на наших похожа. Уж я теперь и не поверю, будто волков ты боишься. Ну, как тебе тут на полянке нравится? Ведь вот умерла бы и не узнала красивого на свете. Ишь, соловьи как заливаются! И до чего же горлинки воркуют сладко...

— Мош Никифор, а не случится ли с нами чего в эту ночь? Что скажет Ицик?

— Ицик? Ицику померещится, что он бога за ноги поймал, когда тебя дома увидит.

— А вы думаете, Ицик знает, что на свете делается? Что может в пути случиться?..

— Ну да. С печи на печь перейти — это и моя старуха-разруха умеет. А теперь покажи нам, хозяйюшка, как ты костер разводить умеешь.

Малка раскладывает хворост, мош Никифор высекает огонь, и оба раздувают пламя. Мош Никифор говорит:

— Слышь, хозяйюшка, как веточки славно потрескивают?

— Слышу, мош Никифор, но сердце у меня замирает со страху!

— Вот еще! Да что это, в самом деле, прости господи! Словно ты из племени ицикова. Да будь ты отважнее немного, хозяйюшка! Или, уж если ты робкая, залезай в каруцу да спать укладывайся, потому ночь теперь с воробьиный нос, вот-вот рассветет!

По совету мош Никифора Малка залезает в каруцу, укладывается спать. А мош Никифор раскуривает трубку, стелет на земле свой кожух — и у костра на боковую. Пых, пых! пых, пых! — попыхивает он трубкой, и уже совсем было сморил его сон, как вдруг искра ему — прямо в нос!

— Тьфу, черт! Искра-то, видать, от тех веток, что Малка насобира-ла, крепко обжигает... Спишь ли, хозяйюшка Малка?

— Да вот, совсем уже засыпала, мош Никифор, но тут разные мысли в голову пришли, и я проснулась.

— И со мной то же самое. Искра в нос залетела, и сон от меня отступился, будто я всю ночь проспал. Да и то сказать, разве дадут кому спать чертовы соловьи? Ты послушай, что вытворяют... Правда, ихнее теперь время любиться... Спишь, хозяйюшка?

— Вроде опять уж засыпала, мош Никифор.

— Знаешь что, хозяйюшка, не погасить ли костер? Потому я как раз вспомнил, что волки дым чуют и на него идут.

— Погасите, мош Никифор, если так.

Мош Никифор набрасывает земли на костер и глушит его.

— Теперь, хозяйюшка, спи спокойно, скоро рассветет... Эх, огонь погасил, а трубку-то забыл закурить. Ничего, огниво при мне... Черт бы вас побрал, соловьи, знаем, что любите вы на славу!

Сидит мош Никифор, задумавшись, потом раскуривает трубку, встает тихонечко, на цыпочках подходит к каруце. Малка уже и похрапывать начала. Мош Никифор трясет ее легонько за плечо:

— Хозяйюшка, а, хозяйюшка?

— Что, мош Никифор? — с перепугу вскидывается Малка.

— Знаешь, что я тут, сидя у костра, надумал?

— Что, мош Никифор?

— Вот как уснешь, сяду я на кобылу, мигом слетаю к себе домой, ось прихвачу да топор и к утренней зорьке обратно буду.

— Что вы, мош Никифор! Да я тут со страху умру, пока вернетесь.

— Упаси тебя боже от этого, хозяйюшка. Ну да ладно, не бойся. Это я только слово кинул на ветер.

— Нет, нет, мош Никифор! Теперь я уже и спать не хочу; слезу и буду всю ночь с вами сидеть.

— Да нет же, хозяйюшка, лежи себе спокойненько, где лежишь.

— Нет, нет, вот я слезаю.

Слезает она и рядышком с мош Никифором на траве устраивается.

Слово за слово, он одно, она другое, и так незаметно уснули оба крепко-накрепко. А когда проснулись, стоял уже белый день.

— Вот, хозяйюшка, и божий день настал. Пора вставать, подумать, как дальше быть. А ведь верно, никто тебя не съел? У страха всегда глаза велики.

Малка при этих словах снова заснула. А мош Никифор, как добрый хозяин, залез в каруцу, пошарил под овсом, да и нашарил на дне топор, веревку и буравчик.

— Вот так-так! С больной, значит, головы на здоровую! Я и то дивился, как это старуха обо мне не позаботилась. Раз уж я ее так, безвинную, обидел, то придется по справедливости красную феску и желтый платок привезти ей, пускай стариной тряхнет. Я, видать, вчера трубкой увлекся, а баба моя, бедняжка, уж какая она ни есть, хорошая-плохая, а смекнула, что мне в дорогу нужно, только не туда положила... Да откуда и знать-то женщине мужнины порядки? Хозяйюшка, а хозяйюшка!

— Что, мош Никифор?

— Вставай. А то ведь я и топорик нашел, и веревку, и буравчик, и все, что надо.

— Где нашли, мош Никифор?

— Да вот, под твоими вещами. Только языка у них не было отозваться. Случилось с нами, как с тем нищим, что, сидя на кладе, просил Христа ради. Но хорошо, что хоть сейчас нашлось; все-таки баба моя, бедняжка, положила.

— Видите, а вы какой горячий, мош Никифор, грехи какие на душу берете!

— Верно, хозяйюшка, сам вижу, что согрешил. Очень уж я ее хулил перед тобою. Зато теперь я ей песенку примирения спою:

Бабка старая моя!

Хороша она, плоха —

С ней до гроба буду я!

Засучил мош Никифор рукава, срубил буковый ствол — отменную ось смастерил. Приладил потом ее, куда надо, колесо поставил на место, запряг кобылок, помаленечку вывел каруцу на дорогу.

— Садись, — говорит, — хозяйюшка, и давай поедем.

Кобылы, досыта наевшиеся и отдохнувшие, к обеду доставили их в Пятру.

— Вот ты и дома, хозяйюшка.

— Слава богу, мош Никифор, мне и в лесу неплохо было...

— Уж это, конечно, хозяйюшка, а все-таки как у себя дома — нигде.

Слово за слово, подъехали к воротам господина Ицика. Ицик как раз из синагоги шел. Как завидел Малку, от радости не мог опомниться. А услышав о том, что случилось с ними в пути и как избавил их господь от опасности, не знал, как отблагодарить мош Никифора. Чем только не одарил его! Мош Никифор и сам дивился, какая удача ему привалила.

На другой день отправился он обратно с новыми седоками. А когда приехал домой, то был очень веселый, и старуха его только диву давалась. Давно уже не видала она его в таком благодущии. С тех пор каждые две-три недели ездила хозяйюшка Малка к мужниным родителям в Нямец и домой возвращалась только с мош Никифором, а волков уже не боялась.

Через год или сколько проговорился как-то мош Никифор за стаканом вина дружку своему про случай в Грумазештском лесу и про то, какого страху натерпелась тогда хозяйюшка Малка... Дружок мош Никифора тоже своим друзьям проболтался. С той поры люди, как все люди, чтобы мош Никифору крови попортить, прозвище ему дали, стали звать: Никифор Коцкарул, Никифор Коцкарул; и, может, теперь он давно уже в пепел и прах обратился, а все равно Никифором Коцкарул поминают беднягу и по сей день.

МОШ ИОН РОАТА И ОБЪЕДИНЕНИЕ

В 1857 году, когда Объединением¹ полны были умы в Яссах, молдавские бояре-либералы Костаке Хурмузаке, М. Когэлничану и другие сочли нужным вызвать на Собрание и кое-кого из ведущих крестьян по одному на уезд для участия в этом великом и благородном национальном деле. Как только крестьяне прибыли в Яссы, бояре меж собой сложились, вырядили их на один лад в белые свиты и новенькие кушмы², так что крестьяне только диву давались, какое им счастье привалило. А после того, сказывают, отправили их к одному из бояр, который взялся разъяснить, для чего вызвали их в Яссы.

— Люди добрые, знаете ли, зачем вас сюда, к боярам, вызвали? — ласково спросил их боярин.

— Будем знать, барин, ежели скажешь, — несмело ответил крестьянин постарше, почесывая затылок.

— Так вот что, люди добрые: сотни лет две сестры, две соседки, две страны христианские — Молдавия наша и Валахия, или Страна Мунтенская, о которой вы, может, слышали, — раздирают и терзают друг друга с, великим уроном и неисчислимыми бедствиями для румынского народа. Две христианские страны, две сестры, сказал я, люди добрые, ибо как молимся мы, молдаване, так и братья наши, валахи, молятся. Одна осанка, и речь, и пища, и одежда, и обычаи что у нас, что у мунтенских братьев наших. Страны-соседки, сказал я, люди добрые, ибо одна лишь речушка Милков, что у Фокшан, разделяет их. «Осушим же ее одним глотком» и осуществим святое единство, то братство, о коем наши деды мечтали, но не могли осуществить его в трудные те времена. Вот, люди добрые, какое христианское, благородное дело предстоит нам, и да поможет нам бог! Теперь понятно вам, люди добрые, зачем позвали вас? А если хотите слово молвить, то не робейте. Прямо в глаза скажите, как братьям. Для того мы здесь и собрались, чтоб друг друга наставить, а господь да научит нас всех, как ему будет угодно!

— Все понятно, барин, так сему и бытъ, — ответили несколько крестьян, что позастенчивей. — Ведь коли уж вам не знать, что на свете делается, то нам, мужикам от сохи, где уж разобраться, что хорошо и что плохо?

— А я вот, барин, правду сказать, не понял! — смело выступил вперед один из крестьян по имени Ион Р о а т а . — Если б даже и разбирались мы кое в чем, то кто же к словам нашим прислушивается? Ведь как это, барин, сказано: мужик, когда ходит, топают, а когда говорит — дребезжит. Не во гнев твоей милости, я так думаю, что могли и без нас обойтись; потому мы больше горазды сапой, косой да серпом махать. А вам

¹ Речь идет об историческом акте объединения Запрутской Молдавии с Валахией, осуществленном в 1859 г.

² Кушма — баранья остроконечная шапка.

и перо в руки: захотите, белое черным сделаете, а черное белым... Господь вас умом одарил, чтобы нас, темный народ, учить...

— О нет, люди добрые, прошло то время, когда одни бояре все дела в этой стране вершили и как липку ее обдирали. Нынче все, от владыки до опинки¹, должны делить беды и счастье страны. Труд и награда, права и обязанности — поровну между всеми.

Рассказал им затем боярин о происхождении румын, как и кто привел их в эти края, о бедствиях их и о том, как оказались они разобщенными и рассеянными по чужеземным странам. Примеров привел пропасть: и про пучок розог сказал, и про быков, меж собой враждовавших; словом, из кожи вон лез, бедняга, чтоб разъяснить, сколь благотворны будут плоды Объединения, не забыв упомянуть и о том, что «за единство всех» и святая церковь день за днем молится вот уже более тысячи восьмисот пятидесяти лет.

— Ну, люди добрые, теперь, полагаю, все вам понятно!

— Понятно, барин, как не понять, — ответили мужики. — Господь да поможет вам в добрых делах ваших!

— А я все-таки, барин, не понял, — отозвался мош Ион Роата.

— Да простит меня бог, мош Ион, но, видимо, туповат ты маленько; пойдем-ка в сад, там еще лучше вам растолкую. Видишь ли, мош Ион, во дворе у меня камень большой?

— Видим, барин.

— Будь же добр, приволоки мне его сюда, — сказал боярин, усаживаясь в кресле посреди крестьян.

— Прошу прощения, барин, но не смогу, тяжесть в нем нешуточная.

— А ты попробуй.

Пытается мош Роата поднять камень — куда там!

— А ну-ка и ты, мош Василе, и ты, баде Илие, и ты, баде Панде-лакый.

Вышло их трое-четверо, сдвинули камень с места, на плечи взвалили, сбросили к ногам боярина.

— Вот, люди добрые, видите? Пошел мош Ион один и не справился; а когда вас несколько в помощь приспело, и вовсе легко дело сделали — не та стала тяжесть. Как в песне сказано:

В одиночку сил не станет,
Коль беда внезапно грянет,
Если ж будем мы вдвоем,
Всех врагов мы разобьем!

Так же оно и с Объединением, люди добрые! Думаете, если поможет нам бог и объединится Молдавия с Валахией, то разве останемся мы одиноки? Братья наши из Трансильвании и те, что за Дунаем, и в Македонии, и в других частях света, если увидят, как хорошо мы живем, тоже возрадуются и возлюбят нас, и во веки вечные не посмеют враги посягнуть на румын. А наши братья единокровные — французы, итальянцы, испанцы и португальцы чего ожидают? В любой беде, упаси боже, готовы они пролить за нас кровь. Единство силу крепит, люди добрые. Ну, теперь-то, думаю, понятно и распонятно вам?

— А я вот, барин, не во гнев твоей милости, все не пойму, — отозвался мош Роата.

¹ Опинка (молд.) — лапоть из сыромятной кожи, символ бедняцкого крестьянства.

— Как же это, мош Ион? Уж я вам растолковал — и ребенку впору понять.

— Да так вроде, барин, — ответили все, кроме одного.

— Мош Ион, — сказал боярин, изрядно устал. — Ты бы нам сам, по-своему, рассказал, как ты там понял-не понял, о чем мы тут столько толкуем; а мы послушаем!

— Да уж ты, барин, не обессудь, только между словом и делом разница, значит, большая... Ты, как всякий боярин, только велел нам камень принести, а сам-то плечо не подставил вместе с нами, как давеча говорил, что, дескать, отныне всем в повинностях участвовать, от владыки до опинки. А ведь неплохо бы, кабы так; потому как известно, «на пирог — со всех ног, а из схватки — без оглядки» тоже вроде не очень подходит. А что до того камня... я так разумею: доньше, значит, мы, крестьяне, каждый в отдельности по камню на плечах таскали; а теперь призывают нас, чтобы мы же, опинки, сообща скалу на плечи свои взвалили. Дай боже, чтобы не так это было, барин, уж я-то об этом не пожалею...

Тогда остальные крестьяне стали пожимать плечами, переглядываться и говорить:

— Что ж, может, наш Роата не так уж неправ...

А боярин, не моргнув, проглотил пилюлю и шутками замял разговор.



МОШ ИОН РОАТА И ВОДА¹ КУЗА

Среди ведущих крестьян, принимавших участие вместе с боярами, епископами и митрополитом страны в работе молдавского Дивана Ad hoc² в 1857 году, находился также мош Ион Роата, человек честный, достойный, каковы почти все румынские крестьяне, где бы они ни находились. Но только мош Ион Роата столько перевидал и натерпелся в своей жизни, что не очень-то верил боярским словам, да и на язык был несдержан — правду резал в глаза хоть кому, если за сердце его хватало. Таков уж крестьянин: неведома ему хитрость. А мош Ион Роата, будучи, как уже сказано, крестьянином, хотя и удостоился чести заседать вместе с боярами, однако ничего в душе своей не таил.

В молдавский Диван Ad hoc входили всяческие бояре: и познатней, и попроще; постарше и помоложе; и более ученые, и менее ученые — как кого захватило время.

В числе последних находились престарелый Алеку Форэску, по прозвищу Тололой, Григоре Куза и несколько других, державшихся дедовских обычаев и в любой праздник благочестиво выстаивавших от начала до конца церковную службу, певших и читавших с клироса заодно с церковными певчими и священниками; а по большим праздникам, дабы веселье впрок пошло, делили они хлеб с сиротами, вдовами и другими убогими, как повелось от дедов. На это у них, в свое время, ума хватало, упокой их, господи, там, где пребывают они сейчас, ибо доброе у них было сердце.

Но вернемся снова к Дивану Ad hoc.

Тут, как на всех подобных собраниях, речей говорилось много; и ничего не было удивительного в этом, поскольку боролось настоящее с прошлым за самое что ни на есть правое дело румынского народа: за Объединение, святое Объединение!

Самые молодые бояре, с малолетства обученные за границей лишь по-французски да по-немецки, роптали на прошлое и в то же время болтали больше всех.

Дедовская речь и одежда, и нравы уже их не устраивали. Кое-кто в пылу даже называл стариков старою ржавчиной, бараньими шапками³, призраками и всем, что только приходило в голову — каждый по своему воспитанию.

На то они и ученые!

Правда, иные старики не уступали им в грубости. Иногда, случалось, в гневе тоже молодых по носу щелкали, называли их бонжуристами⁴, дуэлянтами, панталончиками, полоумными, выскочками и зазнайками, отще-

¹ Вода — воевода, господарь.

² Диваны Ad hoc — два собрания, созванные в Валахии и Запрутской Молдавии для обсуждения предстоящего Объединения.

³ Намек на высокие меховые шапки, которые в старину носили бояре.

⁴ Прозвище, высмеивавшее преклонение перед всем французским (от франц. «бонжур»).

пенцами, осквернителями языка и обычаев. В такой идейной войне пребывали старики бояре с молодежью в молдавском Диване Ad hoc, хотя и одни и другие стояли за Объединение. Правда, старики желали Объединения на условиях, а молодежь — без оговорок, как оно и произошло. Все ничего, но крепко пришлось повоевать кое-кому из молодых бояр с почтенным Алеку Форэску, то и дело брюзжавшим, что, дескать, не говорят они толком по-румынски, как их отцы говорили, и до того исковеркали дедовский язык, что больше и не понимает их никто; что хитрят они и обмануть хотят; что ежели люди меж собой самое что ни на есть малое дело затевают, все равно договор между сторонами нужен, а не так, чтобы с закрытыми глазами; потому что неученье — тьма, и все тут; что с тех пор как с границей спутались, лишились они закона, и языка, и любви крестьян; а из-за равнодушия нашего и расточительства — выбрасывают деньги на пустяки — уже немного нам осталось лишиться, и недалеко уже то время, когда все потеряем. Спросили бы лучше у бедных бездомных крестьян, знают ли те, кто им хозяин. Они, бедняги, — словно псы беспризорные! Кто с утра пораньше встал, тот и головой на селе у них, и жмет их, и пинает хуже, чем скотину! Выскочкам и чужеземцам приволье, они-то и доведут нас до ручки; и горе той стране, в которой дети верховодить стали; и «от пустой болтовни добра не жди»; и если на то пошло, то пусть делают, что хотят, а он-то, Форэску, лучше домой уедет, потому у него под дождем лошади мокнут и скотина пропадает по вине слуг, которым наплевать на хозяйское добро. И множество еще всякого подобного вздора городил, ибо если возьмутся старики судить кого-то и отчитывать по своему закону, то и попа не надо... Вот так оно, значит, и было с почтенным Алеку Форэску.

Однажды, когда очень уж красно выступал один из молодых бояр, не стерпел мош Ион Роата:

— Сделай милость, барин, и уж как-нибудь по-молдавски говори, чтоб и нам понятно было; а то я, по правде сказать, ничего не понимаю, разрази меня бог!

Тут боярин какой-то подступил к мош Иону Роата и как прикрикнет на него:

— А кому это надо, чтоб и ты понимал, мужицкое отродье! Заткни глотку, коль уж пришел сюда; вот разъедемся по домам, тогда держись! Проучу тебя! Ишь, грубиян какой! У меня, может, имение — восемьдесят тысяч фалч¹ а он, смерд с клочком земли, голос подымает рядом со мною.

Оскорбился мош Ион Роата до глубины души, отвечает жалобно:

— Но позволь, барин, ежели не угодно было вашей милости, чтоб и мы разумели кой-чего из ваших речей, зачем было звать нас сюда на посмешище? Эх, барин, барин! Силен ты, и сосед я тебе как рэзеш². Знаю, несладко мне придется, когда домой вернусь, где ждут меня заботы. Но не во гнев твоей милости, эти-то ладони наши мужицкие, терном исколотые, мозолями покрытые, кормят вас уже сколько времени, от них как сыр в масле катаетесь. Пуше того: любой чужак в этой стране сосет нашу кровь, а вы спокойно смотрите, и согрет и обласкан он вами! Зато мы, скотина рабочая, дороги вам, что соль в глазу... Иначе как мужланами, да грубиянами, да скотами нас не зовете! Да простит нас господь, и вы нас простите, барин, но воистину так: привыкли вы жар нашими руками мужицкими загребать... И нами же брезгуете!

¹ Фалче — старинная мера поверхности (14 342 м²).

² Рэзеш — мелкий землевладелец.

— Золотые твои слова, мош Ион, от самого сердца о ни, — отозвался почтенный Алеку Форэску, — я счастлив, что ты рядом со мной сидишь. Чем бонжурист с крохою учености, лучше мужик с палатой ума!

Многих бояр эти слова задели; обидчик сидел, как ошпаренный, а полковник Александр Куза приветливо пожал руку мош Иону.

После долгих и бурных прений в Диване Ad hoc Объединение было принято.

Депутаты разъехались по домам.

Несколько лет спустя проездом в Бухарест остановился Куза Вода в Аюде, где множество народа приветствовало его как государя.

Но вот над теснившейся толпой, сбежавшейся то ли с делом, то ли без него, взмыла на конце шеста бумага. Поняв, что чья-то обиженная душа взывает к нему, Куза Вода подал знак пропустить.

И вот упал перед ним на колени престарелый крестьянин, и, лобызая руки его, со слезами на глазах, протянул исписанную с обеих сторон бумагу.

— Хе, хе! Мош Ион Роата, мой старый друг и соратник по Дивану Ad hoc, вот не ждал, не гадал! Встань, мош Ион, говори без боязни, какая у тебя печаль? Или обидел тебя кто?

Мош Ион Роата, видя, что за столько лет не забыл его полковник Александр Куза да еще так с ним приветлив, заплакал навзрыд и стал просить бумагу прочитать.

Вода, сбиравшийся было уходить, видя, что бумага та очень уж многословна, сказал ласково:

— Расскажи лучше, мош Ион, сам, что у тебя на душе, так я тебя лучше пойму!

И мош Ион, успокоившись немного, такую ему жалобу поведал:

— Ваша светлость! С той поры, как попутал меня грех в «Адхоке», спокойного дня не имел я из-за знатного соседа моего, владельца больших имений, которого знает твое величество. Не ждал, не гадал я, несчастный, что важный боярин, богатый и ученый, тягаться будет с таким, как я, из-за необдуманных слов моих, сгоряча сказанных. Пусть пошлет ему бог добра и здоровья, но только крепко ударил он по достатку моему и чести моей! Поверь, твое величество, не таким уж бедным был я среди других. Но как воротился я домой, посыпались на меня гонения и обиды со стороны боярина.

Перво-наперво, дал он наказ боярским слугам своим ссоры со мной искать и по миру пустить меня. И вот стали они изощряться, люди неразумные и завистливые, строить всевозможные козни сатанинские, то ли сами, то ли через других, хоть на минутку загонят скотину мою в угоды боярские, а потом за потраву, якобы причиненную, убивают ее без жалости! Сегодня свиней пристрелят, завтра — коров и быков; на третий день — лошадок; в другой раз овечек гуртом сгребут и на боярский двор погонят; представляешь, твое величество, какая на меня беда навалилась!

Вот, наконец, увидев, что конца нет разору, пошел я скрепя сердце к боярину жаловаться. А боярин, вместо слов утешения, плюнул мне прямо в лицо в присутствии слуг и других людей, так что почудилось мне со стыда, будто небо на меня свалилось. И еще пригрозил вдобавок, что буде посмею в другой раз ногой на боярский двор ступить, велит он меня у лестницы растянуть и кнутом отхлестать. И таким путем, твое величество, разорили меня за несколько лет до нитки и чести лишили, которая мне дороже всего была!

Куза Вода стоял недвижно и, пока говорил мош Роата, смотрел на него в упор.

Когда же тот кончил, протянул Вода ему два столбика золотых монет и сказал ласково:

— Вот тебе, мош Ион, подарок от меня небольшой. И встречай напасти свои, день за днем, как тебя господь вразумит. А боярина божьему суду предоставь, потому что бог палкой не бьет.

Снова мош Ион прослезился и, облобызав с благодарностью руку Воды, сказал вздыхая:

— А с бесчестьем, мне нанесенным, как будет, твое величество?

— А с бесчестьем вот как будет, мош Ион, — ответил Куза Вода, целуя его на виду у всей толпы сперва в одну щеку, потом в другую. — Ступай и скажи односельчанам, мош Ион, что куда плюнул боярин, поцеловал тебя государь и этим стер бесчестье твое...



ОТЕЦ ДУХУ

Кто из вас встречал священника в старенькой рясе: низенький, смуглый, лысый, размеренно и неторопливо шагавший в раздумье, важно бросавший «покорнейший слуга» всем, кто не обходил его поклоном, шумно зевавший, если не находил себе собеседника; подолгу просиживал он в укромных аллеях яских городских парков с книгой в руках, вздрагивал от птичьего свиста и изумленно останавливался над муравейниками, которые называл «мудрыми республиками»; нежно гладил он траву и полевые цветы — символы человеческой жизни, которые орошал горячей слезой, после чего, проголодавшийся и усталый от ходьбы и раздумий, тихонько направлялся к дому, где квартировал и где ждала его бедность за накрытым столом!

Таков был отец Исаяя Духу, родом из деревни Кожаaska-Веке Ясского уезда.

Четыре чужие стены, закопченные, покрытые рогожами; груды книг — греческих, латинских, болгарских, французских, русских и румынских, затянутых паутиной, в беспорядке разбросанных по всем углам, глиняная миска с ковшиком для умывания посреди комнаты, лужи воды на полу, грязь и тараканы повсюду, черствый хлеб на столе и клубком свернувшийся за печкой кот — вот и все имущество его преподобия.

Человек большого сердца, но еще большего языка, отец Духу не удостоился легкой жизни; но, видимо, и не стремился к ней, ибо не переставал точить язык на своих начальников, хоть убей его.

С детства, еще в Сокольской семинарии, где он учился — больше сам, чем у своих учителей, — клал он, бывало, руку на камень, а другим камнем себя по пальцам бил за то, что почерк некрасивый; дубасил себя кулаком по голове, когда видел, что даже учитель не может чего-нибудь вдолбить ему в голову, и несдобровать было товарищам, отвлекавшим его от учения!

Говорят, что, зная его повадки, один из монахов Соколы, сказал, что, дескать, ему бы монахом быть, назвал его «Духом дьявольским» и между делом постриг его; так и осталось за ним имя Духу. Сам же он подписывался: Исаяя Теодореску. Ученик Соколы, стал он там же учителем. Дух от духа своего отдавал он ученикам, но долго на одном месте не засиживался, упаси боже; ибо дух его был неукротим и непримирим даже с самим собой. Не был он жаден ни до богатства, ни до чинов; довольствовался, чем бог послал, но попробуй не угоди ему хоть в самом малом — возьмет поп котомку да посох — и ходу! Как сказано: бегом понесло, ведь рядом еще село.

То он в Соколе, то в Яссах, то учителем в Тыргу-Нямцском монастыре, где в поте лица по горам лазает, знай напевает:

Развалившаяся крепость, что на той горе стоит,
Где открылся нашим взорам сей величественный вид!

А после:

На утесе черном, в замке родовом,
Где течет, играя, речка под холмом...

И наконец:

Ой ты, пташка, что в саду
Мне накликала беду!..

И так до тех пор, пока не становилось ему и тут невтерпеж. Тогда возвращался он в Яссы и снова привязывался к ним ненадолго.

Натура неугомонная и отважная, он своими проповедями с церковного амвона жалил, как оса, говоря:

— Елисей очистил от проказы Неемана-Сириянина, отправив его искупаться в воде иорданской. Я же вас в Какаину¹ посылаю очиститься от проказы праздности и невежества!

Был когда-то цветок по имени девичий стыд,² очень распространенный у нас в стране, но с тех пор как «маршандки² мод» заступили место наших хозяек, переводится этот цветок в парках и на полях наших. Имеющие уши да слышат!

А на раболепствующих, гордых, пребывающих в роскоши указывал пальцем, говоря:

— О лицемерный, сказал Христос, очисти сперва внутренность сосуда, дабы и снаружи был он чист.

И еще много такого всякого, что было опубликовано в журнале «Проповедник Морали Евангельской», им редактированном, покуда не отняла у него Кириархия³ право проповеди. Но отцу Духу на язык не наступишь.

Однажды, когда один из епископов служил престольную службу в ясском храме Благовещения, входит отец Духу в церковь, крестится истово на иконы, при большом стечении народа приближается к епископу, стоящему на архиерейском клиросе в пышном одеянии с митрой, и, качая головой, говорит ему зычным голосом:

— Ой, сыночек, Кынилик⁴, славный ты митрополит... Где твоя матушка, полюбовалась бы на тебя!

И с глубоким вздохом добавляет:

— Когда увидите мерзость запустения там, где не пристало ей быть, знайте, что близок конец, сказал Христос.

После чего с презрением отворачивается, покидает церковь и идет восвояси.

Попы, оцепенев, прижав руки к груди, чуть не попадали от страха и со стыда за своего пастыря.

Немного спустя назначает митрополит отца Духу архимандритом с митрой, тем самым разрешая ему носить одежды во много тысяч лей, хоть и не было у него денег на их покупку.

Но отец Исая, не став, по примеру других попов, попрошайничать и драть с живого и мертвого, чтоб на эти деньги расфуфыриться, заявил, что он другого придерживается мнения, а именно: чем попрошайкам давать по субботам, лучше пьяненьким во вторник на похмелье подать.

¹ Какаина — речка возле Ясс.

² От французского слова *marchande* — торговка.

³ Высшая церковная власть.

⁴ Кынилик — митрополит Калиник.

Однажды, будучи вызван епитропом¹ небогатой церквушки в престольный праздник служить, повесил отец Духу себе на грудь крест деревянный большой на толстой конопляной веревке и сказал:

— Прости мя, господи, что повесил я тебя на веревке за неимением золотой цепи, на которой вешают тебя архиереи, набольшие мои...

В Нямцском монастыре нередко, беседуя со старцем Нафтанаилом, отец Духу бранил его, говоря, что русские монахи в этой лавре румынской размножились, как репейник, занесенный в Молдавию на хвостах русских коней в 1828 году. Старец, не в силах ему противостоять, зарядил с некоторых пор: «Давай на мировую, отец Исая» и все потчевал его водкой с медом, стакан за стаканом; наконец, не вытерпел отец Духу:

— Оставь ты меня, благочестивый отец, а то уж голова кругом идет, столько святой воды не приемлет. Лучше давай не мириться.

И затынул ему по второму голосу библейский стих:

— Шел Израиль по пучинам с подвешенным к шее кувшином, жареным индюком и разинутым ртом.

А после — псалмы пьянствующих, по четвертому голосу:

— С малых лет от кувшинов мне покоя нет, а еще труднее стало мне от рюмок и бокалов; их не счесть, их сколь звезд на небе есть...

Фляжка моя, любезный сосуд,
Голубка моя, ты тут как тут.
Я к устам тебя прижму ль —
Ты споешь мне: буль-буль-буль!
От твоих лобзаний милых
Отказаться я не в силах...
Дорогая моя бочка,
Ближе подойди немножко,
Соберемся всей гурьбой,
Живо справимся с тобой,
Русский поп к тебе придет,
Бочку разом подопрет,
Кверху дном перевернет.

Греку-архимандриту, благословлявшему дьякона на служение, «да направит господь шаги его ко всякому добру», сказал отец Духу:

— Уж лучше да направит шаги ваши через Дунай, отцы благочестивые, ибо слишком долго вы сквернили церковь нашу и народ наш смиренными благословениями вашими.

Учителю гимназии Колумбу, сказавшему как-то отцу Исаяи «Доброе утро, Духу!», он ответил:

— Благодарствую, падаль! Тебе, полагаю, известно, что слова *поп* и *преподаватель* начинаются с буквы «покой», как и существительное *подлец*.

Мирских попов называл он халдеями и пел им такие «псалмы»:

У попа и у дьякона
От вина глаза заплаканы,
Зато матушки трезвы —
Хмель не выходит из головы.

И столько колкостей и намеков слетало с его языка, что самому ему было подчас противно с человеком встретиться, чтобы не наговорить лишнего.

¹ Епитроп — распорядитель церковного имущества.

Как-то выходит он злой из собора, а навстречу ему отец Арборе из Барновского, спрашивает:

— Откуда, отец Исайя?

— Не знаю!

— А идешь куда, отец Исайя?

— Не знаю!

— Как так, не знаешь: ни откуда, ни куда?

— Да т а к , — отвечает отец Д у х у . — Будучи мальчишкой, бывало, плюю себе на левую ладонь, потом стукну ребром правой по плевку. Куда плевков выстрелит, в ту сторону, значит, и иду.

— И теперь все так делаешь? — спрашивает отец Арборе.

— Да, черт его подери.

— А если бы, случаем, выстрелил тот плевков в сторону Голии, как бы тебе это показалось?

— Ну и поддел ты меня, халдей, — пробормотал отец Духу, обращаясь в бегство, злой, как Дунай.

Одно время, откладывая денежку за денежкой, накопил он спиритических книг и, прочитав их, якобы кому-то сказал:

— Ежели книги эти попадут в руки шарлатанов невежественных, то увидишь, пойдет слух, будто совершают они чудеса, как святые.

Честь и слава проницательности отца Духу, ибо именно так оно и случилось.

В один прекрасный день, не имея денег на хлеб, взял он эти книги в охапку и спустил за бесценок директору начальной школы. С той поры и возникли спиритисты в Яссах. С той поры Григорий Назиянин, Ефрем Сирий, Соломон Мудрый и прочие, в веках усопшие, не находят себе покоя в могилах: дождем на них вопросы сыплются. А изволь не ответить, узнаешь тогда, где раки зимуют!

Когда проведал отец Духу, что ходит по Яссам молва обо всех этих проделках, рассказывают, запечалился он и молвил:

— Горе тому, кто с ума сходит, но более тому, через кого сумасшествие приходит!

И, может быть, по этой причине, заболев тяжко, испустил он дух как раз после того, как стал смотрителем татарашской церкви Никорица; а поскольку было ему оттуда рукой подать до кладбища «Вечность», то и обрел он там вечную обитель — да будет ему земля пухом!

С той поры попробуй встретить его на улицах города Яссы.



ВОСПОМИНАНИЯ ДЕТСТВА



Иной раз вспоминаются мне былые времена, наше, прежнее житье-бытье, люди, что жили в наших местах, когда я только-только начал подрастать в родительском доме в селе Хумулешты, что напротив города по ту сторону реки Нямец. Село это, большое и многолюдное, образовалось из трех: Ватра-Сатулуй, Делены и Бежены. Да, Хумулешты и в ту пору были не какой-нибудь там захудалой деревушкой, а исконным рэзешским зажиточным селом: хозяйства — одно к одному, парни — молодцы, девушки — красавицы, и хороводы водить, и петь, и плясать, и ткать мастерицы. День-деньской стук стоял над Хумулештами от ткацких станков.

И церковь у нас красивая была, да и попы и псаломщики под стать прихожанам — все как на подбор. Было чем гордиться нашему селу. Взять хотя бы отца Иона, что жил под горой, — большой души был человек! Какие деревья мы, по его совету, посадили на кладбище, обнесенном тесовым забором с дранковым навесом, какой прочный дом для школы построили у церковных ворот! Посмотрели бы вы на батюшку, когда он без устали сновал по селу из дома в дом, вместе с псаломщиком, дядей Василе, сыном Ильиной — здоровым, статным красавцем-парнем, как уговаривал он крестьян посылать детей учиться!

Собралось в школе множество ребятшек — мальчиков и девочек. Был среди них и я, мальчонка, ничем не примечательный и до того робкий, что, как говорится, собственной тени пугался.

Заводилой у нас в школе стала Смрандица — дочка отца Иона. Вот уж была озорная! А до чего шустрая да смышленная — всех нас, мальчишек, перешеголяла не только в ученье, но и в проказах. Отец ее чуть не ежедневно наведывался в школу посмотреть, что у нас творится...

В один прекрасный день является батюшка к нам в школу с длинной новехонькой скамьей. Расспросил псаломщика, кто как себя ведет, пораздумал немного, дал скамье кличку «Белая лошадка» и оставил ее в школе.

Назавтра батюшка опять приходит, уже вместе с шорником дедом Фотя, и тот преподносит в подарок новой школе красивый, сплетенный из ремешков кнутик. Кнутик этот батюшка окрестил «Николай-угодником», в честь покровителя нашего храма в Хумулештах. Мало того, он попросил деда Фотя, если у того найдутся подходящие ремешки, смастерить для нас еще кнутиков, да как можно потолще.

Дядя Василе усмехнулся, а мы так и замерли, только глаза друг на дружку тарашим.

И положил батюшка за правило, чтобы каждую субботу псаломщик спрашивал у мальчиков и девочек все, что выучено за неделю, а ошибки наши велел отмечать где-нибудь угольком и потом потчевать школяров за каждую ошибку «Николай-угодником».

Услышав такое, батюшкина дочка, девчонка бойкая и смешливая, не утерпела да как фыркнет... на свою же голову, бедняжка!

— А ну-ка, барышня, пожалуй-ка сюда, — сказал батюшка, насупив брови, — садись-ка верхом на «лошадку», с тебя-то и будет почин «Николе-угоднику».

И как ни заступались за нее дядюшка Василе и дед Фотя, получила Смрандица хорошую взбучку. Сидела она потом, закрыв лицо руками, и плакала, как невеста перед венцом, рубашонка так ходуном и ходила у нее на плечах.

Увидев такую расправу, мы все остолбенели. Но батюшка, глядишь, принесет из церкви то пятачок, то калачик, оделит нас всех, ублажит. И пошло у нас учение на лад — без сучка, без задоринки. Каждый день проходили мы что-нибудь новое, а по субботам была проверка.

Ну, понятно, не обходилось и без шалостей. От выведенных дядей Василе букв — листочек этот, украшенный крестом, вывешивался на шесте — мы перешли к букварю, а там и за часослов засели. Вот тут-то и началось! Когда в школе не было ни батюшки, ни псаломщика, мы удирали на кладбище. Там мы раскрывали часослов, и мухи да шмели так и липли к его порядком замусоленным страницам. Тогда мы захлопывали книгу и убивали зараз по десять-двадцать мух. Настоящее «избиение» устраивали!

Однажды батюшке, бог весть почему, взбрело на ум просмотреть наши часословы. Как увидел он замаранные кровью страницы — за голову схватился. Узнав, в чем дело, стал он всех нас по очереди приглашать на «лошадку» и угощать «Николай-угодником» за то, что мы мух и шмелей безвинно мучили и души их погубили.

Немного спустя, в мае месяце, в канун родительской субботы, дядю Василе от большого ума грех попутал (иначе и не скажешь!): заставил он одного нашего школьника, Нику Костаке, проверять мои знания. Ника — рослый парнишка, куда старше меня, но не бог весть какой грамотный, был тогда в ссоре со мной из-за Смрандицы. Как-то раз, когда она мешала ловить мух, мне волей-неволей пришлось надавать ей тумачков. И вот стал Ника меня проверять — слушает, слушает, слушает да как примется отмечать мои ошибки на дощечке — одну, две, десять и так — до двадцати девяти. «Ну, дело дрянное, — думаю. — Не успел начать, а вон уже сколько ошибок насчитал. Сколько же он их еще до конца отметит?»

У меня даже в глазах потемнело и поджилки затряслись.

«Вот оно как! Что же теперь тебе делать, Ионика?» — спрашиваю я себя. Поглядываю украдкой на спасительницу-дверь, а сам так и сучу ногами от нетерпения, жду не дождусь, когда вернется со двора попросившийся выйти лентяй. Двоим сразу выходить у нас не разрешалось. А того, как назло, все нет и нет. Ох, не миновать мне прогулки верхом на «лошадке» и благословения «Никола-угодника»! Со страху у меня зуб на зуб не попадал.

Но, как видно, истинный-то Никола-угодник услышал мои мольбы: дверь отворилась, и вошел наконец проклятый этот мальчишка. Не спросивши позволения, опрометью кинулся я к дверям, выбежал из школы и со всех ног помчался домой. На бегу оглянулся и вижу: двое верзил-школьников пустились за мной вдогонку. Понесся я во весь дух — только пятки засверкали; пролетаю мимо нашего двора, сворачиваю влево, во двор к соседу, оттуда в загон для скота, а затем на огород, в только что окученную кукурузу. А мальчишки за мной, вот-вот схватят. Тут я со страху, сам уж не знаю как, зарылся в рыхлую землю под кукурузой. Мой враг Ника Костаке и Теодор Катинкэ, другой дылда, не приметили меня и пронесли мимо. Я слышал, как они досадовали: «Куда ж это он запропастился!» Видно, господь бог отвел им глаза, чтобы они меня не сцапали. Переждал я малость, а когда все затихло, вскочил,

встрепанный, и — как был весь в земле — кинулся домой к матушке и, горько плача, заявил ей, что в школу больше не пойду, пусть меня хоть убьют.

На другой день к нам пожаловал батюшка: потолковал он с отцом, уговорили они меня по-хорошему и опять повели в школу.

— Грешно, понимаешь ли, оставаться темным неучем, — вразумлял меня отец И о н , — ты ведь прошел уже азы, умеешь складывать слова, выучил часослов, глядишь, не сегодня-завтра и до псалтыря доберешься, а псалтырь — это ключ ко всем наукам. Кто знает, может, ты со временем станешь попом здесь, в церкви святителя Николая. Ведь для кого же я и стараюсь, как не для вас? Дочка-то у меня одна-единственная, посмотрю еще, кого в зятя себе выберу.

Ого! Как услышал я про поповский сан да про Смрандицу, даже мух оставил в покое. Совсем иными стали у меня мысли и заботы: учиться я стал усердно, а в церкви подавал кадило и как самый заправский певчий заливался на клиросе. Тут, гляжу, и батюшка стал меня привечать, и Смрандица на меня украдкой поглядывает, и дядя Василе теперь уже мне, а не кому другому, поручает проверять учеников. Словом, совсем другая мука пошла молотиться на мельнице. И у злющего урода Ники Костаке не стало теперь надо мной никакой власти.

Но человек предполагает, а бог располагает. Однажды, точнее сказать, в день святого Фоки, выгонял староста людей на повинность — чинить дорогу. Прошел слух, что по этой дороге мимо нас проедет в монастырь сам господарь.

И дядя Василе, не было у него другой заботы, возьми да и предложи нам:

— Давайте-ка и мы, ребята, поможем чинить дорогу, чтобы не сказал, проезжая, господарь, что у нас народ ленивее, чем в других селах.

Тут мы, ученики, высыпали из школы и скопом отправились на дорогу. Одни работали киркою, другие землю возили в тачках да в повозках, третьи корытами ее подтаскивали — одним словом, работали на совесть.

А староста Ника, сын Петри, со стражниками, сторожем и сборщиками податей — самыми никудышными людишками — так и снуют в толпе, то туда то сюда... И вдруг видим, народ сбился в кучу на дороге и в этой куче кто-то вопит не своим голосом.

— Что там стряслось? — спрашивают люди друг друга, сбегаясь со всех сторон.

Оказывается, нашего дядю Василе поймали арканом и, связав веревками, тут же заковывают в кандалы, чтобы отправить в Пятру в новобранцы... Так вот для чего староста сгонял народ на дорогу. Таким вот манером в те времена забирали молодых людей в солдаты!

Страшно было смотреть! Все парни пустились врассыпную, кто куда, а мы, ребятишки, с ревом разбежались по домам.

— Староста, проклятый пес! — заливаясь горячими слезами, причитали на селе женщины. — Пусть святой Фока дотла сожжет сердце ему и его приспешникам, как из-за них нынче сгорело сердце бедной матери!

А мать дяди Василе, провожая сына в Пятру, голосила над ним, как над покойником.

— Не плачь, матушка, — ласково успокаивал ее дядя Василе. — Не только свету, что в окошке... Старательный человек и в солдатах не пропадет. Ведь и святой Георгий, и святой Димитрий, и другие святые мученики, что пострадали за Христа-спасителя, тоже воины были, сподобил бы господь и нас походить на них хоть немного.

Вот и лишились мы своего дяди Василе, отправился он, куда на роду ему было написано. А отец Ион — космы по ветру, так и мечется по се-

лу в поисках псаломщика. Да где уж было найти второго такого, как дядя Василе, — умного, смиренного, старательного и стыдливого, как красная девица? Жил, правда, у нас на селе псаломщик Иордаке, что гнусавил на правом клиросе, да на что он был годен! Церковные песнопения, ничего не скажешь, знал назубок, но весь уже трясся от старости, да и к рюмочке прикладываться умел.

Опустела на время наша школа. И все же тем ребятам, которые держались батюшки, было еще так-сяк, церковь-то она прокормит человека.

По воскресеньям мы подтягивали псалмы на клиросе, а то иной раз воровали калачи, а в рождественский сочельник и на крещение, собравшись гурьбой по тридцать-сорок ребятешек, протаптывали батюшке в снегу дорогу от хаты к хате. На рождество славили с ним Христа по домам и ржали, как добрые жеребята, а на крещение так орали «господи, помилуй», что все село гудело. Только появится батюшка — мы выстраиваемся в две шеренги, давая ему дорогу, а он, поглаживая бороду, бывало, с гордостью поясняет хозяину дома:

— А это, сын мой, все — мои сосунки... Такого великого дня, как нынче, они целый год ждут не дождутся. Наготовили вы для них кутьи да голубцов, напекли сладких пряников да пирогов с капустой?

— Как не наготовить, наготовили. Пожалуйте, батюшка, благословите наш дом и нашу трапезу, откушайте, сделайте милость, посидите с нами, чтобы и сваты у нас засиживались.

А мы, бывало, как заслушим об угощении, ломимся к столу, рты наготове, как говорится:

Всякий рот плачinite рад,
А ватрушке — рад стократ.

Что поделаешь, только ведь дважды в году выпадают такие большие праздники. Помнится, как-то в одной хате мы всей гурьбой так навалились на стол, что опрокинули его вместе с угощением посреди комнаты; батюшку от стыда даже в краску бросило, но он все повернул по-хорошему: «Где нечему литься — там не разольется, но все-таки, чада мои, не мешает вам быть осторожнее».

На храмовой праздник угощались мы, бывало, целую неделю; только и заботы: готовь брюхо да набивай его кутьей и всякой снедью, сколько влезет. На престол в Хумулешты съезжались и псаломщики, и священники, и благочинные, даже архиереи к нам жаловали. А простого народу собиралось с разных сторон видимо-невидимо, и все оставались довольны.

Хозяева вдоволь угощали пришлый люд, и матушка моя (царство ей небесное) страх как бывала рада, когда у нас в доме случались гости, которых она могла накормить.

— Помянут меня за упокой души сыночки или нет — не знаю, лучше уж я теперь, своей рукой, раздам милостыню, — твердила она. — Ведь что ни говори, к своему рту ложку ближе нести, это всякий знает.

Пока я учился в школе, матушка дома училась вместе со мной и читала часослов, псалтырь и Александрию¹ лучше меня. И как она радовалась, видя, что я тянусь к книге!

Отец в наши дела не вмешивался и только подшучивал над грамотеями:

Логофет, логофет,
Твой обед — не в обед.
Брынзу нацепил на гвоздь,
А карман-то пуст, небось!

¹ Александрия — народное сказание об Александре Македонском.

По его мнению — лучше мне было бы оставаться тем, кем я был: Никой, сыном Штефана Пятри, честного и исправного хозяина из Хумулешт. Сложили же люди поговорку: «Лучше быть первым в селе, чем последним в городе».

Но матушка готова была день и ночь сидеть за прялкой, только бы я продолжал учиться; она все подбивала отца отдать меня еще куда-нибудь в школу, особенно с тех пор, как в праздник «Сорока мучеников» услышала в церкви, что грамота — это то же богатство и что неученый у ученого век в слухах будет.

Вдобавок — все бабы, что ворожат на сите и на сорок одном бобе, все звездочеты, все знахари, которые гадали на меня, все богомолки нашего села забивали матушке голову предсказаниями одно чудеснее другого: что, мол, стану я большим человеком, — и голосок-то у меня ангельский, и родился я под счастливой звездой, и еще много всякой всячины. И матушка, по своей материнской слабости, верила, что из сыночка её выйдет второй Кукузел¹ — украшение христианской церкви, который пением своим исторгал слезы у самых черствых людей, уводил верующих в глушь лесов и всю сузую тварь услаждал славословиями.

— Эх, жена, сколько тебе еще клёпок не хватает! — говаривал отец, видя, как матушка ради меня распинается. — Кабы все люди выходили, как тебе хочется, в ученье, кто бы с нас сапоги стягивал? Не слыхала ты разве, как один человек уехал учиться в Париж (кто его знает, в какой это земле) быком, а вернулся коровою? И разве Григоре, сын Петри Луки, ходил в школу? А гляди, как он складно шутки да прибаутки на свадьбах шутит! Коли нет у человека царя в голове — не будет и до самой смерти.

— Так оно или не так, а я, как ты ни ерепешься, выучу нашего мальчика на по па! — упорствовала матушка.

— Уж таки на по па! Слыхали вы т а к о е?! — говорил отец. — Мальчишка лентяй и бездельник, каких мало; утром, пока его добудишься, душа из тебя вон. А как встал — подавай ему есть. Пока маленький — мух ловит часословом да целыми днями в речке полощется; нет того, чтобы ягнят попасти да отцу в хозяйстве подсобить. Зимой только и знает — по льду бегаёт да на санках катаётся! Распустила ты его вконец со своей школой. А станет постарше — начнет за юбками приволакиваться. Таким родом я от него помощи вовек не дождусь.

Частенько, доложу я вам, спорили из-за меня отец с матушкой. Продолжалось это до тех пор, пока не пожаловала к нам знаменитая холера 48 года и не принялась косить народ в Хумулештах направо и налево, так что село стоном стонало. А тут еще я, неугомонный, когда мимо наших ворот проносили покойников, бегал к плетню и, чтобы отвести от себя болезнь, провожал их присказкой:

Дрозд, ты скрылся где? Что в твоём гнезде?..
Под бузинный кров он ведёт птенцов.

Иволга крикливая жила на опушке,
Плакалась шиповнику, кланялась кукушке;

Нет, не для меня, нет, не для тебя —
Для буки в огороде просила при народе
Корову да телят —
У буки страшный взгляд.

¹ Кукузел — известный церковный певчий.

А то увязывался за гробом до самой церкви, а потом возвращался с поминок домой с полной пазухой баранок, недозрелых яблок, золоченых орехов, сладких рожков и винной ягоды с поминального дерева. Мать с отцом только крестились, глядя на эти гостинцы.

Желая уберечь свое детище от заразы, они отвезли меня в лес у монастыря святой Агапии, где в овчарне около моста Кэрэжица содержались и наши овцы; там меня оставили, пока не утихнет болезнь. Но как раз в эту ночь и напала на меня холера, изломала всего и скрутила в бараний рог. Нутро у меня горело от жажды, а пастуху и подпаскам невдомек — храпят себе да переворачиваются с боку на бок от моих стоннов. Из последних сил дотащился я до колодца за овчарней и провел возле него всю ночь, не сомкнув глаз и выпивая в час чуть ли не по целому подойнику воды. Уже на рассвете сжалился надо мной наш пастух Басило Бордеяну и пешком отправился в Хумулешты (туда всего два часа ходьбы) сообщить отцу с матерью, что я заболел. Отец приехал подводой и повез меня домой. Я и тут, на возу, то и дело просил пить, и отцу приходилось от колодца до колодца заговаривать мне зубы, пока господь не помог нам добраться до Хумулешт.

А дома уже тут как тут оба наши сельские лекаря, дед Василе Царандурэ и другой — не упомяну уже, как его звали, — варят в чугуне вошину с говяжьим жиром. И вот, как сейчас помню, сперва растерли меня настоем из любистка, потом смазали холстину горячим воском и запеленали меня в эту холстину, как грудного младенца. Долго ли, коротко ли это тянулось, но уснул я как мертвый и проснулся только на следующий день после обеда здоровехонький. Упокой, господи, душу деда Василе и его помощника!

Недаром говорится: «Сорная трава не пропадает», — до вечера я уже обегал все село и даже завернул на реку искупаться со своим дружкой Кирияком Гояном, таким же озорником и сорванцом, как и я. Однако на этот раз отец не сказал мне ни слова и на время оставил меня в покое.

С началом зимы матушка опять стала донимать отца, чтобы он отдал меня в школу. Отец отговаривался, что, мол, нет у него денег на мое ученье.

— Псаломщику Василе, сыну Василисы, мы платили только один сорковец¹ в месяц. А этот жулик псаломщик Симион Фоса из Цуцуен только за то, что больно речист да табачище день-деньской нюхает, требует в три раза больше! Слыханное ли дело! Да этот мальчишка со всеми своими потрохами не стоит того, что истрачено на его ученье.

Мать, как услышала такие слова, вся так и вспыхнула.

— Темный ты человек! Как же тебе, неучу, меня понять? Когда ты эти самые сорковцы пропускаешь в свою глотку, ты, небось, их так не оплакиваешь! Шинкарь Петря, сын Тодосики, вытряс у тебя девятьсот лей, да Василе Ройбу из Бежен — не меньше того; для Рушты Валикиной и Мариуки Онофреевой и всяких других у тебя находится, небось, что давать?! Знаю я все твои проделки, не думай, что спит Смранда, тебе бы так спать в могиле, как я сплю! А вот для мальчика тебе взять неоткуда?! Эх, беспутный ты человек, попадешь на самое дно пекла, некому будет тебя выволить оттуда, если не выучишь сына на попа. Ты и от проповеди-то бежишь, как черт от ладана... В церкви не бываешь от пасхи до пасхи... Вот как ты о своей душе печешься!

— Да замолчи ты, наконец, баба! Церковь — у человека в душе. Помру — меня все равно в церковь снесут! — отвечал отец. — Не болтай по-

¹ Сорковец — мелкая монета, имевшая хождение в Молдавии.

пусту, как тот лицемерный фарисей, а лучше прикуси язык да скажи, как мытарь: «Боже милостивый, буди мне грешной за то, что я ругаю во всю глотку своего муженька!»

В конце концов, как ни ссорились отец с матерью, верх все-таки остался за ней. Как раз в воскресенье на масляной приехал к нам матушкин отец, мой дедушка, Давид Крянга из Пипирига.

Услышав, какая ссора разгорается из-за меня между родителями, он заявил:

«Бросьте-ка, Штефан и Смарандука, будет вам спорить да расстраиваться. Сегодня вот воскресенье, завтра понедельник — базарный день, а во вторник, если будем здоровы, заберу я внука с собой и вместе с моим Думитру отвезу в Броштены, к учителю Николаю Нану из школы Балаша. Вот посмотрите, что он сделает из мальчугана; своими старшими, Василе и Георге, я остался очень доволен, выучил он их как нельзя лучше. Уж больше двадцати лет, как я старостой в Пипириге, а все мучаюсь с этими «зарубками». Что толку с того, что я любую священную книгу тебе прочту, если считать ни на грош не умею. А вот вернулись мои ребята из школы, и у меня теперь каждой копейке счет ведется, катаюсь как сыр в масле. Вот почему я и твержу: теперь хоть до смерти сидеть мне без забот в старостах; ей-богу, — большое дело сделал Алеку Балаш со своей школой! Кто знает в этом толк — сразу поймет. А какого опытного да разумного учителя он раздобыл! И так-то приветливо и ласково он всех принимает, что к нему и зайти приятно. Счастливые люди его родители — доброй души он человек, что и говорить, особенно для нас, горцев, это сущее благодеяние. Когда лет шестьдесят тому назад приехал я сюда, в Пипириг, из Трансильвании с отцом и братьями Петрей, Алеку и Никой — в Молдавии и в помине не было таких школ, как у Балаша. Разве что в Яссах или монастыре Нямцу во времена митрополита Якоба, который приходился нам какой-то там родней по Чубуку, деду твоей матери, Смаранды; он был в том же монастыре звонарем, а имя его и поныне можно прочесть на колоколе пипиригской церкви.

Чубук, как и я, еще в Трансильвании знал немного грамоте. Как и я, долго скитался, уж больно донимали его паписты, вместе со старым Дедиу из села Вынэторь и с другими пастухами. Скота, крупного и мелкого, у него была тьма-тьмушая. Паслись его стада по холмам Хэлзука, Пятра луй Епуре, Бэрнарул, Котнерелул, Боампеле, до самого холма Петру Вода. По рассказам людей — поистине широкой души человек был этот Чубук, любого гостя, кто бы ни зашел к нему в дом, принимал с открытой душой и кормил досыта. Молва о богатстве его и о доброте ходила по всей округе. Остановился, говорят, у него как-то сам господарь и спрашивает: «Кто тебе помогает справляться с таким множеством скота? — «Те, кто нищ умом, но богат сердцем, великий господарь», — ответил будто бы Чубук. Удивился господарь и говорит: «Вот это настоящий человек. Побольше бы таких, как он, в моих владениях, и меньше напастей терпела бы наша родина». Похлопал господарь Чубука по плечу и добавил: «Знай, дед, отныне ты мне свой человек и моя дверь для тебя всегда открыта».

С тех пор и осталось за Чубуком прозвище «господарев человек». И по сей день один холм по ту сторону Плотуна, где нередко сиживал Чубук, так и называется «Холм человека».

На этом самом холме, Смаранда, я с твоей матерью, тобой и твоим братом Ионом прятался от турок во время заavery¹. Они после сражения с нашими добровольцами у монастыря Секул шли как раз через Пипи-

¹ Завера — восстание греков против турецкого ига в 1821 году.

риг и по дороге грабили все, что попадалось под руку. А сестренку твою, Мариуку, мы впопыхах забыли дома, так она и осталась на завалинке в колыбельке.

Мать твоя спохватилась, что девочки нет с нами, стала рвать на себе волосы да причитать: «Горюшко мне, горе, закололи турки мою доченьку!»

Взобрался я на верхушку ели и вижу: турки сворачивают уже к Плотуну. Сам не свой, я вскочил на коня и во весь опор поскакал домой. Девочка оказалась цела-целехонька, но свиньи перевернули колыбельку и хрюкали над ребенком. Не приди я вовремя, они наверняка сожрали бы бедняжку. В колыбельке я нашел несколько рупий, должно быть, турки их туда положили. Не помня себя от радости, я схватил дочку и прискакал к твоей матери на «Холм человека». И только потом, как пришел в себя, я сказал то же, что многие говаривали и до меня: «Те, у кого нет детей, и знать не знают, что такое настоящее горе. Мудро поступает человек, который не женится».

Вот одним из таких мудрых людей и был Чубук: не имея ни жены, ни детей, он, по набожности или по другим каким причинам, отдал все свое достоинство монастырю Нямцу, а сам, почти со всеми своими пастухами, принял пострижение и до конца своей жизни творил много добра. Он и погребен за монастырской оградой, царство ему небесное, прости ему, господи, все его прегрешения! Ведь и мы не сегодня-завтра там будем. А вы и не знали бы всего этого, не расскажи я в а м , — добавил дедушка, вздыхая.

Вот почему неплохо, Штефан, чтобы мальчик был немного учен грамоте. Не обязательно ему быть попом, как метит Смаранда, попу иной раз тоже нелегко приходится. Если Ион не будет стараться изо всех сил, лучше ему и не думать о поповском сане. Но книга приносит утешение. Не знай я грамоты, я давно бы уже свихнулся от всех бед, что свалились на мою голову. А вот откроешь «Жития святых» — чего-чего только там нет. Читаешь и думаешь: «Господи, какое терпение ты дал своим избранникам». Как сравнишь, что написано в книгах, с тем, что сам пережил, и горе твое тебе пустым покажется. Еще скажу: хорошо ли быть безмозглым волом? Из книг человек набирается ума-разума, чтобы не быть, по правде говоря, дойной коровой для других.

Вижу я, что у мальчонки неплохая память. Как ни мало он учился, но поет псалмы и читает как нельзя лучше.

Обо всем этом и еще обо многом другом толковал дедушка Давид с матерью и отцом чуть ли не две ночи — с воскресенья на понедельник и с понедельника на вторник. Он ведь останавливался у нас, когда приезжал из Пипирига на базар закупать себе все необходимое.

А во вторник, на заре, он уложил понадежнее поклажу в переметные сумы, навьючил лошадей, привязал, как это делают горцы, недоуздом вторую лошадь к хвосту первой, а четвертую — к хвосту третьей и сказал:

— Ну, Штефан и Смарандука, оставайтесь здоровы, а я отправляюсь. Эй, внучок, ты готов?

— Готов, дедушка, едем, — ответил я, с трудом управляясь с копчеными свиными ребрышками и жареными колбасками, которые поставила передо мной матушка.

Прощавшись с родителями, я отправился с дедом в Пипириг. Морозище в это утро стоял такой, что камни трещали. Выше Вынэтор, переходя через мостик, дедушка повел в поводу лошадей, а я шагал впереди. И вдруг я поскользнулся на бревнах и — бултых в Озану. Счастье еще, что дедушка был тут же.

— Никудышная эта ваша обувка! — закричал он, мигом вытаскивая меня из воды.

Я вымок и продрог до костей. Он быстро стащил с меня совсем обледеневшие сапоги.

— Эх, были бы сейчас голубчики постолы! И ногам в них ловко, и мороза не боишься! — Приговаривая так, дед живо закутал меня в мохнатую шерстяную бурку, засунул в переметную суму, и мы тронулись дальше.

Когда бабушка увидела меня, увязанного в мешок и скрюченного, как чертенка, она чуть не изошла слезами. В жизни не видывал я такой слезливой женщины. Уж больно она была жалостлива: говядины по этой причине сроду в рот не брала, а по праздникам в церкви оплакивала всех покойников — будь то свой или чужой. Дедушка, как умный человек, знал свое и давал бабушке волю: пусть, мол, поступает, как за благорассудится ее бабьей голове.

— Ой, боже мой, Давид, никак ты не образумишься! Да можно ли было брать ребенка в такую непогодь!

— А это чтобы ты немного поохала, Настасия! — молвил дедушка, вытащил из кладовой шкуру дикого кабана и давай выкраивать для меня и Думитру по паре постолов. Потом, аккуратно проколов по краям дырочки, он продел в них нитки из крученого конского волоса и стянул кожу в сборки. На третий день после моего приезда мы с Думитру, младшим братом матушки, получили чистое белье, по две пары холщовых портянок, обули постолы, поцеловали на прощание бабушке руку и отправились с дедом в путь.

Поднявшись по долине Хэлзуки, мы наконец добрались до Фэркаша и заночевали там вместе с попом Думитру из Тыргул Кыржей, у которого зоб на шее был размером с добрую флягу, и хрипело у него в этом зобе, совсем как в волынке, так что нам почти всю ночь и глаз не удалось сомкнуть. Но, понятно, бедный поп не был виноват, и как он сам говорил: «Хуже тем, у кого зоб в голове, а не на шее».

На следующий день мы через Борку отправились из Фэркаша к Тыргул Кыржей и Котыргаш, пока не добрались до Броштен.

Дедушка устроил нас на квартиру к одной женщине, которую звали Иринукой. Потом сходил с нами к учителям и в церковь, где мы помолились перед образами, затем распротился с нами ласково и отправился, пообещав присылать нам время от времени, что потребуется.

Село Броштены, как и все здешние села, широко раскинулось в горах: этот дом у одного оврага, тот у другого, уже на том берегу Бистрицы; люди, видите ли, селились как кому вздумается. Волки и медведи не стеснялись появляться здесь среди бела дня. Бревенчатая, старая, крытая тесом избушка Иринуки, с оконцами в ладонь, огороженная сосновым забором, прилепилась к самой горе близ моста на левом берегу Бистрицы.

Иринука, женщина не молодая, но еще и не старая, жила с мужем и дочерью. Девушка с бельмом на глазу была до того уродлива и тупа, что с ней даже страшновато было оставаться ночью в доме. На наше счастье, с утра понедельника до вечера субботы мы ее и не видели. Она со своим отцом уходила в горы, на лесопилку, и за сущую безделицу трудилась там всю неделю, как добрый мужик. И эти два человека с парой волов в зимнюю пору едва могли заработать себе на мамалыгу. Случалось, люди возвращались в субботу ночью сами искалеченные или с искалеченными волами — это был их добавочный заработок.

Избушка на левом берегу Бистрицы, муж, дочка, пара волов, в лесу козел да две полудохлые шелудивые козы в сенях — вот и все достояние Иринуки. Но и это можно назвать богатством, был бы человек здоров.

Ну да что мне до всего этого? Вернусь-ка я лучше к своему рассказу. На следующий день после дедушкиного отъезда мы отправились в школу. Учитель, увидев, какие длинные отросли у нас волосы, тут же велел одному из учеников нас обрить. Услыхав такое, мы ударились в слезы — в десять ручьев — и господом богом заклинали учителя не уродовать нас. Куда там! Он не отходил ни на шаг, пока нас, голубчиков, не обкорнали наголо.

Затем новичков посадили рядом с другими учениками и задали каждому урок по его силам. Здесь мы и «Ангел вопиюще...» наизусть выучили.

Время пролетело быстро, мы и не заметили, как подошел великий пост.

Но вот однажды утром просыпаемся мы все в волдырях — от коз Иринуки на нас перекинулась козья чесотка.

Вот тебе раз! Что же нам теперь делать? Учитель не пускал нас в школу. Иринука нас вылечить не могла. Известить дедушку было некому, запасы подходили к концу — никудышные были наши дела, беда да и только!

Случилось в этот год, что накануне Благовещенья наступила вдруг сильная жара, снег растаял, потекли ручьи. Бистрица вздулась, вышла из берегов — вот-вот снесет домик Иринуки. В такую-то жару мы, разведя в воде золу, обмазывались с головы до ног щелоком и сидели нагишом на солнце, пока не обсыхали. Затем бежали к Бистрице и прыгали в воду: одна бабка сказала нам, что таким манером можно избавиться от чесотки. Вы себе представляете, что значит купаться в Бистрице, в Броштенах, по два раза на день, да еще в великий пост. И вот — поди ж ты! Ни тебе колотья, ни горячки, ни какой другой хвори... Правда, и от чесотки мы тоже не избавились. Недаром же говорят: «Привязался, как чесотка, к человеку».

Как-то раз Иринука отправилась в село, где она имела обыкновение подолгу засиживаться с приятельницами, а мы тем временем нашли себе вот какое занятие: с палками в руках взобрались на гору, повыше избы; там с гор неслись быстрые ручьи. Один такой ручей бурлил, совсем как кипящее молоко. Тут нас, верно, нечистый попутал: раскатали мы и своротили подмытый водой обломок скалы. Как загрохочет он вниз да как перемахнет через забор во двор, через сени Иринуки — к козам, да как рухнет прямо в Бистрицу, только вода в том месте закипела. Случилось это в полдень в Лазареву субботу. Вот тебе и раз! Что теперь делать? Шутка ли сказать — забор и хата нашей хозяйки начисто снесены, а одну козу задавило насмерть. Тут мы и о чесотке, и обо всем на свете с перепугу забыли.

— Соберем поживей, пока баба не вернулась, свои вещи, какие остались, и давай удерем на плоту к моему брату Василе, в Борку, — предложил Думитру (по рекам уже начинали спускать плоты).

Завязали мы в узелок то немногое, что у нас уцелело, и бегом — к плоту. Плотовщики, недолго думая, приняли нас, и мы поплыли.

Что сказала Иринука, вернувшись домой, чего не говорила — я не знаю, но натерпелись мы страху, пока добрались до Борки. Там мы заночевали и на другой день, в вербное воскресенье, ранним утром, с двумя горцами, что ехали верхами, двинулись в путь. Горцы направлялись в Пипириг через Плаюл Бэтрын.

Погода в это воскресенье стояла прекрасная, совсем весенняя, и горцы божились, что такой ранней весны они сроду не упомнят.

Мы с Думитру всю дорогу распевали и собирали фиалки и подснежники, весело прыгали и резвились, будто это не мы были чесоточные из Броштен, «осчастливившие» дом Иринуки.

Но к полудню погода резко изменилась: разразилась буря, да такая свирепая, точно решила повалить наземь все елки. Видно, бабка Докия не успела еще скинуть все свои кожухи. Потом зачастил мелкий дождик, который скоро превратился в снежные хлопья; сильно похолодало, навалило пропасть снегу, и не успели мы оглянуться, как дорогу так занесло, что мы не знали, куда идти. От неба до земли — ни зги не видать, белый снег кружит, человека не разглядишь рядом с собой.

— Видать, сглазил кто-то погоду, — вздохнул один из горцев. — Это я дивился, что это волки так рано зиму съели. От самых Инцеркэтор мы уже сбились с дороги, идем теперь наобум, выйдем, где бог даст.

— Слышь, петухи поют? — отозвался другой. — А ну-ка, подадимся в ту сторону, может, набредем на какое жильё.

И вот пошли мы под гору, спускаемся с великим трудом по крутым обрывам, блуждаем в молодом сосняке. Лошади скользят и падают, а мы с Думитру бредем, съездившись в три погибели, дрожим мелкой дрожью и утираем слезы кулаками. А горцы только губы покусывают от холода да с досады. Снег кое-где уже доходит нам до пояса. Начало темнеть, когда мы добрались до впадины, где звенел ручеек, который, как и мы, стремился с горы, спотыкаясь о камни и проваливаясь в лощины. Разница была только та, что он бежал дальше, а мы сделали здесь привал и остались мерзнуть до утра.

— Ну-ка, ребята, давайте малость всхрапнем, — предложил один из горцев, поджигая целую елку вместо костра. — От судьбы не уйдешь, чему быть, того не миновать.

— Милости просим откусать со мной, — отозвался другой, вытаскивая из мешка промерзшую сухую мамалыгу. Разогрев ее на угольях, он и нам отломил по куску. И кусок этот, как маслом смазанный, мигом проскочил мне в глотку. Перекусив с грехом пополам, мы свернулись калачиком и улеглись вокруг костра. Сверху снег, снизу слякоть, один бок замерзает, другой подгорает. Ну и погодка, ну и отдых нам выдался! Вдобавок подстерегала нас еще худшая беда: елка, перегорев, чуть было не рухнула на нас, и, не проснись один из горцев, она кого-нибудь задавила бы насмерть. Видно, догнало все-таки нас проклятие Иринуки.

Наконец рассвело. Умывшись снегом и помолившись, по христианскому обычаю, мы с горцами начали карабкаться на ту самую гору, с которой накануне спустились.

Снег перестал идти. С немалым трудом разыскали мы дорогу и давай, давай, давай вперед во весь дух. К вечеру дотащились к дедушке Давиду в Пипириг. Бабушка Настасия, как увидела нас, так и зарыдала от радости.

— Мой Давид, я вижу, своими выдумками сведет меня в могилу! — причитала она. — Бедные мальчики, какие на них болячки! Как разъезла их короста у чужих-то людей! Бедняжки!

Пожалев нас и поплавав над нами по своему обычаю, бабушка предложила нам все, что имелось вкусного в доме, а накормив нас до отвала, кинулась в кладовую и принесла оттуда жбан березового дегтя. Она растерла нас дегтем с головы до пяток и уложила на теплую печь.

И этак растирала она нас по два-три раза на день. Наконец в страстную пятницу мы проснулись совершенно здоровыми. Еще до этого пришло из Броштен известие о беде, которую мы там натворили. Дедушка без лишних разговоров расплатился с Иринукой четырьмя золотыми, а в страстную субботу отослал меня к родителям в Хумулешты. На пасху я уже пел в церкви «Ангел вопиюще...», да так, что люди только рты разевали от удивления. Матушка не могла на меня наглядеться. Отец Ион усадил меня рядом с собой за стол, а Смрандица разбила немало

крашенных яиц, христосуясь со мной, словом — счастье так и валилось мне на голову.

Однако на Фомино воскресенье дела мои пошатнулись. Все девочки нашего села собрались в церковь. Нашлись между ними такие бойкие, что, завидев меня, не могли удержаться от хохота и кричали мне вслед:

Стриженое — бритое,
Стриженое — бритое,
Чучело собачье!

II

Не знаю, как другие, а я, когда вспоминаю родные места — отцовский дом в Хумулештах, дымоходную трубу, за которую матушка часто привязывала веревку с моточками шерсти, — играя с ними, котята доходили до неистовства, — выбеленный шесток, за который я цеплялся, когда только-только начинал топтать ножками; печь, за которой прятался, когда мы, мальчишки, затевали «слепую бабу» и другие веселые детские игры, — как вспомню все это — сердце мое и теперь еще бьется от радости.

Боже мой, как хорошо мне тогда жилось на свете! Родители наши, братья и сестры были здоровы, дом — полная чаша, соседские ребята все дни напролет играли с нами, все шло ладно и складно, и весь мир как будто принадлежал мне.

Сам я был весел, как погожий денек, и резв, как неугомонный весенний ветер.

К тому же и матушка моя, которая слыла у нас на селе вещуньей, иной раз, когда после затяжных дождей начинало пробиваться солнышко, говаривала, бывало, мне с улыбкой: «Выходи, мое русое дитяtko, улыбнись солнышку — авось и распогодится». И небо, и впрямь, прояснялось, точно в ответ на мой смех.

Солнышко, видно, знало, с кем имеет дело, я ведь был сын своей матери, а уж она-то умела творить чудеса: отгоняла черные тучи от села, отводила град от полей, всадив топор в землю у порога. Умела она и воду замораживать, положив в нее две коровьи ноги, — люди только крестились, глядя не все это. Когда мне случилось ушибить голову, руку или ногу, матушка немедля колотила землю, стенку или бревно, о которое я ударился, приговаривая: «Вот тебе, вот тебе!» — и боль у меня как рукой снимало. Если завывало в трубе, что, по приметам, предвещает ветер и ненастье или шипела в печи непрогоревшая головня — знак того, что кто-то говорит о тебе плохо, — матушка бранила головню через дверку и тут же разбивала ее кочергой, чтобы унять клеветника. Мало того, если матушке моей, бывало, почудится, что я спал с лица, она тут же, послюнив палец, брала грязь с подошвы или сажу из печки и, приговаривая: «Как не сглазить подошву и вьюшку печную — так не сглазить и детку мою родную» — ставила пальцем знак у меня на лбу, чтобы не потерять свое сокровище. И еще многое другое умела она делать...

Вот какой волшебницей была моя матушка! Такою она и запомнилась мне сызмальства, да и как не запомниться — ведь это ее руки убаюкивали меня, пока я сосал ее сладкое молоко и нежился у ее груди, агукая и с любовью заглядывая ей в глаза. Кровь от ее крови, плоть от ее плоти, я и говорить у нее выучился... А вот уж разум человеку дается от бога, когда приходит время разбираться, что такое добро, а что — зло.

Дни летели за днями с их лукавыми соблазнами, я незаметно подрастал, все новые и новые мысли слетались ко мне в голову, я познавал новые утехи, но и не думал умнеть, а становился все неугомоннее, и желания мои уже не знали удержу: ведь думы наши и мечты так непостоянны и обманчивы, уносят они нас невеселье куда на своих легких крыльях и не дают нам покоя до самой могилы!

Но горе и тому, кто чересчур много размышляет! Оглянуться не успеешь, как водоворот мыслей подхватит тебя и неприметно затянет в глубину: и вдруг, после самого шумного веселья, ты ударишься в мрачное отчаянье...

Давайте же поговорим о детстве, потому что только оно одно радостно и невинно.

Что ребенку до того, какие заботы одолевают его отца и мать, думают ли они с тревогой о завтрашнем дне или над чем другим ломают голову! Ребенок оседлает палку и верится ему, что сидит он на резвом коне и скачет во всю прыть, погоняя рысака кнутом и сдерживая уздой. Он кричит на него во всю глотку — оглохнуть можно от такого крика. А если свалится наземь — воображает, что это конь его сбросил, и палкой вымещает на нем свой гнев.

Таков был и я в те счастливые годы, и что бы там ни говорили, думается мне, что такими же бывают все дети с тех самых пор, как существует белый свет.

Когда матушка наша, наработавшись до упаду, ложилась, бывало, днем отдохнуть — мы, мальчишки, именно в это время и поднимали возню и переворачивали всю хату вверх дном. А когда отец возвращался из лесу, из Думеснику, окоченелый и запорошенный снегом, мы пугали его, прыгая в потемках ему на спину, как в игре «в слепую бабу». Но отец, как бы он ни устал, шаря в темноте, ловил нас, подбрасывал до потолка, приговаривая: «расти большой», и перещеловывал, бывало, нас всех.

А потом, когда зажигали плешку и отец садился к столу, мы вытаскивали из-под печки или из загнетка котят, тормошили, тискали и возились с ними у него на глазах — так что пыль столбом стояла в хате, и не было спасения беднягам, пока они не исцарапают и не искусают нас как следует.

— Ну что ты смотришь на них, человеке! — возмущалась тогда матушка. — Что ты им волю такую даешь! Смотрите-ка! Ага, досталось вам от котят, негодники вы этикие! Ни одна божья тварь не уживется в этом доме из-за вашего озорства! Видать, тошно вам, что я еще не отлупила вас сегодня как следует, — вот вы и принялись за котят и кидаетесь на человека, как собака на палку. Ну, погодите! Совсем от рук отбились. Вот возьмусь-ка я, кажется, за ремень — только клочья от вас полетят!

— Да оставь ты их, жена, пускай порадуются моему приходу, — говорил тогда отец, подкидывая нас на колених. — Тужить им прикажешь, что ли? Дрова для печки есть, сала и муки на чердаке запасено вдоволь, брынза в кадке, капуста в бочке, слава богу! Было бы только здоровье — наедаться бы им досыта да резвиться, пока еще несмышлениши. Вырастают — забудут про шалости, тогда уж, того и гляди, пойдут настоящие заботы. Не бойся, этого им не миновать! Недаром поговорку сложили: «Ребенку — резвиться, коню — бежать, попу — читать...»

— Тебе бы только языком молоть! — ворчала матушка. — Побыл бы ты с ними, как я, день-деньской, у тебя бы от них волосы поседел, провалялись они в преисподнюю, прости меня, господи! Скорее бы лето пришло, чтоб они на двор убрались играть. Надоели хуже горькой редьки! Какая бы чертовщина ни взбрела им в голову, обязательно сделают, что надумали. Только зазвонят в церкви — твой тихоня Захей уже вылетает

на двор и давай бить палкой по ткацкому станку — стены дрожат, того гляди, стекла вылетят. А твой пострел Ион хватает кочергу, щипцы да коровий колокольчик — и чего только не творит... Такой грохот да переполох подымает — оглохнуть можно. Да еще натянут дерюжку на спину, напялят на голову бумажный колпак и орут: «Аллилуйя! Господи помилуй — баба деда била». И так каждый день, по два, по три раза. Иногда кажется — прибила бы их до смерти.

— Так ты ж известная богомолка, жена, — отшучивался отец, — вот мальчуганы и превращают дом в церковь, чтобы далеко не ходить... Вы, ребята, устраивайте себе всенощные, сколько влезет, только глядите, пускай мать вам коврижки медовые, как на «сорок мучеников», да кутью с орехами припасет...

— Да ты в своем ли уме, человеце! А я-то думаю: в кого это у нас такие послушные деточки! Это ты всему виной. Больно вожжи распустил, потакаешь им во всем. Гляди-ка: выстроились в ряд и таращат глаза, точно портрет с нас рисовать собираются. А небось, за каким-нибудь делом их пошлешь — поглядел бы ты, как они упираются да отнекиваются, — говорила матушка. — А ну-ка, ступайте спать, час поздний. Вам все нипочем, еду-то вам готовую под самый нос ставят!

Наконец все укладывались, но мы, ребята, как нам и положено, затевали возню и долго еще не могли уснуть, хихикая и толкаясь, пока бедная матушка не награждала нас подзатыльниками и шлепками. Отцу под конец тоже надоедал этот гам, и он ворчал:

— Ну тише, тише, хватит, жеребята, — а сам тихо матушке: — Что они у нас, бабы, что ли? Как им не порезвиться?

Тут матушка отпускала нам еще по одному добавочному шлепку, покрепче, приговаривая:

— Вот вам еще на мелкие расходы, черти вы этакие! И ночью нет от вас покоя.

И только тогда успокаивалась наша бедная матушка — упокой, господи, ее душу. И, думаете, на этом кончалось? Как бы не так! На следующий же день, раным-рано, все начиналось сызнова. Опять матушка бралась за ремень, опять стегала нас, да все попусту, мы и в ус не дули. Верно говорит пословица: «Горбатого могила исправит».

Что только не приходило нам в голову, чего только мы не вытворяли, беда да и только! И как ясно все вспоминается, точно происходит у меня на глазах...

Вот попробуй-ка, вспомни то, что было недавно, проверь-ка, работает ли еще твоя голова, дядюшка Ион...

На рождество, когда отец колот кабана, опаливал его на костре, ошпаривал щетину, а потом быстренько укутывал тушу соломой, чтобы щетина лучше сходила, я непременно усаживался на кабана верхом и устраивал пир на весь мир: мне полагался свиной хвостик, который можно было поджарить, и свиной пузырь. В пузырь я бросал кукурузные зерна, надувал его и сушил. А как начну, бывало, им греметь, ох и доставалось же бедным матушкиным ушам, пока она, выйдя из себя, не разбивала этот пузырь о мою голову.

Да вот еще, чтобы не забыть: как-то в Васильев день сговорились мы, несколько ребят-односельчан, пойти поколядовать — с плугом¹ — к тому времени, надо вам знать, я, как на грех, подрос уже достаточно. Накануне я весь день не отставал от отца, просил, чтобы он мне сделал «быка»² или хотя бы арапник.

¹ Ходить с плугом — молдавский старинный обычай.

² Сделать быка — в данном случае — бочонок с натянутой на нем воловьей шкурой. Использовался во время колядок для имитации бычьего рева.

— Ох, и дам я тебе арапник! — отвечал отец. — Что тебе, дома есть нечего? Хочешь, чтобы эти верзилы тебя в снегу вываляли? Сниму-ка я, кажется, с тебя обувку...

Видя, что дело принимает плохой оборот, я прихватил с собой свиной пузырь и выскользнул потихоньку за дверь, пока отец, на посмешище всем моим товарищам, не отобрал у меня сапог. Не знаю, как это получилось, но ни у кого из ребят не оказалось с собой колокольчика, а мой остался дома. Не возвращаться же было за ним!

В конце концов, мы устроились, как могли: здесь раздобыли сломанную косу, там — ржавый крюк от ярма, кочергу с кольцом да вдобавок мой свиной пузырь, и, как только отзвонили в церкви, — мы давай по хатам с колядой! Начали с края села на горе, с попа Ошлобану, решив обойти потом всех хозяев. Поп в это время как раз рубил дрова на чурбаке у себя во дворе. Как увидел он, что мы выстраиваемся в ряд перед окном, собираясь колядовать, так и принялся нас честить, да какими словами!

— Куры на насест еще не собираются, а вы уж тут как тут! Погодите, проклятые, вот я вас проучу!

Мы — наутек. А он как швырнет нам вслед поленом! Ох и нелюдимый же и злой был этот поп Ошлобану! Со страху мы мигом очутились чуть не на середине села, даже не успели пожелать ему, как всем хозяевам, что не принимают коляду:

Дырки вам в пол,
Шашель вам в стол,
Коз вам бодатых,
Детей вам пузатых!

— Ну и чертов хитрюга этот поп! — бранились мы, снова собираясь вместе, озябшие и испуганные. — Чуть не искалечил нас своим проклятым поленом. Дай нам бог повстречать его в гробу на носилках под крепостной стеной у церкви святого Думитру, где он служит. И дернул же его черт перебраться сюда и выстроить себе этакий домище в нашем селе: упаси господи, чтобы наши батюшки на него походили, тогда бы нам вовек ничем в церкви не поживиться!

Пока мы так ругали да проклинали попа, на дворе уже порядком стемнело.

— С кого бы начать? Давайте-ка зайдем вон в этот двор, — предложил Захария Гытлан. — Что же время-то попусту терять посреди дороги!

Подходим мы к избе Василе Аницей, и, как положено, выстраиваемся под окном. И тут словно бес нас попутал: у одного коса на морозе не звенит, у другого руки от крючка заоченели. Двоюродный брат мой, Ион Могороджя, тот и вовсе заупрямился — отошел с кочергой под мышкой и нипочем не хочет колядовать... Просто сердце с досады разрывается.

— Мы с тобой, Захария, будем на манер быка гудеть, — говорю я Гытлану. — А остальные пускай подтягивают: «гей, гей!»

— Вот мы и начали... И что же вдруг видим? Откуда ни возьмись, эта ведьма, жена Василе Аницей, прямо на нас с раскаленной кочергой. Она как раз в это время жар в печи разгребала, чтобы сажать калачи.

— Горюшко мое! Чтоб вы все сгорели дотла! — кричит она в сердцах. — Это что еще такое? Кто вас подучил?

Пустились мы от нее наутек еще проворнее, чем от попа Ошлобану.

— Ничего себе, хороший почин! — толковали мы, снова собираясь на перекрестке посреди села у церкви. — Еще одна-две такие истории, и

выпроводят нас из села, как бродячих цыган. Давайте-ка лучше по домам, спать!

Уговорившись, что на будущий год снова все вместе отправимся колядовать, мы, очоленевшие, голодные как волки, разбрелись по домам. Там, небось, нас примут получше!

Так вот и прошла наша коляда в тот год.

А со сметаной что творилось у нас в доме! Когда, бывало, матушка разливала молоко по кувшинам и ставила его прокисать, тут уж я — пост, не пост — на второй же день принимался слизывать сливки. И до того усердно, что добирался до простокваши. Соберется матушка сметану снимать... — снимай, Смарада, снимай, если осталось что снять...

— Может, это ведьма отняла у нашей коровы жир, мамочка? — говорю я, сидя на корточках подле горшков и облизываясь, точно и впрямь ожидаюсь сметанки.

— Ох, и поймаю же я когда-нибудь эту ведьму у горшков! — отвечает матушка, пристально глядя мне в глаза. — Вот тогда уж будет работа тетушке с гвоздя — никакие ведьмы, никакие колдуны не вырвут вора из моих рук... Да ведь колдуна, что слизал сметану, нетрудно узнать по языку... Скажу тебе прямо, милый мой, терпеть не могу я хитрецов и обжор. Знай, сынок, бог никогда не помогает тому, кто нечист на руку, что бы он ни воровал — вещи ли или что-либо съестное...

«Эге-ге! Вон куда матушка клонит», — думал я про себя. Не настолько уж я был глуп, чтобы не понимать таких простых вещей.

А с сапожником, дедом Киорпек, соседом нашим, какая была у меня беда! Или, вернее, какая у него была беда со мною. Я то и дело забегал к нему и морочил ему голову, выпрашивая ремешки для кнутика. Заставал я старика большей частью за обычным его делом: он смазывал чоботы самым лучшим дегтем, от которого кожа становится мягкой, точно шелк.

Терпит, бывало, дед Киорпек, терпит, потом видит, что от меня не избавишься по-хорошему, схватит меня одной рукой за подбородок, а другой обмакнет помазок в миску с дегтем да так разукрасит меня, что все его подмастерья со смеху покатываются. Едва отпустит меня — я лечу домой к матушке, плачу, отплевываясь направо и налево:

— Вот, мама, что со мной этот старый черт, Киорпек, натворил!

— Господи! Точно я сама его подучила! — говорила обрадованная матушка. — Ей-богу, встречу Киорпека — обязательно ему угощение выставлю. Поделом тебе, ты ведь, если куда попадешь, пристанешь к человеку, как репей, душу всю из него вымотаешь озорством своим, бездельник ты этакий!

Слушая подобные утешения, я хорошенько отмывал лицо и как ни в чем не бывало опять принимался за свое... Но как только проходила у меня злость на Киорпека, я снова появлялся у старика и снова выклиничивал ремешки!

— Ага, добро пожаловать, внучок-поросенок! — весело говаривал старик, завидев меня у дверей.

А потом опять расписывал меня людям на смех, и опять я бежал домой, плача, отплевываясь и проклиная его на чем свет стоит. Сушая мука была матушке из-за всех этих моих походов.

— Ох, скорей бы уж зима пришла, чтоб отправить тебя куда-нибудь в школу, — говаривала она не раз. — Отдам тебя псаломщику и попрошу, чтоб вернул мне только кожу да кости...

Как-то раз летом, в канун родительской субботы, улизнул я из дому и отправился среди бела дня к дяде Василе, самому старшему из братьев моего отца, наворовать у него черешен. Ведь только у него да еще у двух хозяев в нашем селе было по дереву ранней черешни, что поспевают дочерна к Троицыну дню. Иду это я и обдумываю, как бы устроить, чтобы не попасться. Захожу сперва в дом — будто за Ионом, позвать его купаться.

— Иона нет дома, — отвечает тетя Мариора, — пошел за сукном с твоим дядей Василе в Кондрены, в валяльню, что под крепостью.

Надо вам сказать, что в Хумулештах прядут и девушки и парни, и женщины и мужчины. Сукна изготовляют здесь великое множество, и светлого и темного, и тонкого и грубого, а торгуют здесь и сукном, и готовым платьем, за которым съезжаются купцы-армяне из других городов — Фокшан, Бакэу, Романа, Тыргу-Фрумос; продают его также и на ярмарках и всюду, где только можно. Этим-то и живут по большей части хумулештцы — безземельные потомки рэзешей. Промышляют они еще крупным рогатым скотом, лошадьми, свиньями, овцами, брынзой, сыром, шерстью, подсолнечным маслом, солью, кукурузной мукой, сермягами, армяками и куртками, ицарами¹... шароварами, длинными рубахами и цветастыми коврами; выносят полотенца из шелка-сырца и другие шелковые ткани, которые обычно распродают по понедельникам на базаре или по четвергам — в женском монастыре, так как монашкам ходить на базар не с руки.

— Ну, раз так, оставайтесь здоровы, тетя Мариора! — продолжаю я хитрить. — Как жаль, что я не застал братца Иона. Уж очень хотелось мне с ним искупаться. — А про себя думаю: «Вот здорово получилось, что их дома нет, пусть подольше не возвращаются».

Не теряя даром времени, целую тетке руку и, распрощавшись, как порядочный парень, выхожу из дому, будто и впрямь собираюсь идти купаться, а вместо этого сворачиваю в нужном месте, проскальзываю в сад, и вот я уже на черешне. Набиваю за пазуху ягоды — зеленые, спелые, какие попадают под руку. Но как я ни стараюсь поскорее справиться с работой, — тетка Мариора уже тут как тут — под деревом с жердью в руке.

— Ах ты, дьяволенок этакий, так-то ты купаешься! — кричит она, вытаращив на меня глаза. — А ну-ка слезай, ворюга, вот я тебя проучу!

Но как тут слезешь — внизу-то мне погибель! А она поглядела, поглядела, что я и не думаю спускаться, и давай швырять в меня комьями земли — раз, другой — не попала. Тогда она стала карабкаться наверх, приговаривая: «Подожди же ты, поросенок, Мариора сейчас тебе покажет».

Тут я мигом спустился веткой пониже и — прыг в конопляник, что начинался у самой черешни. Конопля молоденькая, высокая, по пояс человеку. А эта сумасшедшая тетка Мариора кидается за мной. Я скачу по конопле, как заяц, а она за мной — в глубь сада до самого плетня. Перепрыгнуть через плетень я не успеваю и снова — юрк в коноплю, и снова — по-заячьи, а она — за мной до забора у овечьего загона, но через него мне тоже не под силу перемахнуть. Вот я опять у плетня, а чертова тетка никак не отстаёт, хоть голову с нее снимай! И чуть-чуть было меня не поймала. Я — бегом, и она — бегом, я бегом, и она — бегом, пока не истоптали всю коноплю. Было там, чтобы не соврать, примерно десять-двенадцать прэжин² буйной, густой, как щетка, конопли, от которой теперь и следа не осталось. Обделав это дельце, не знаю уж, как это

¹ Ицары — крестьянские узкие брюки.

² Прэжина — устаревшая мера длины (около 6 метров).

вышло — запуталась ли тетка в конопле или споткнулась обо что, — только свалилась она наземь, а я сиганул в сторону и в два добрых прыжка оказался за забором, даже ногой его не задев. А там и след мой простыл.

Вернулся я домой и весь день был тише воды, ниже травы.

Но вот приходит вечер, и дядя Василе со старостой и сторожем тут как тут: подзывают отца к калитке, рассказывают ему все, как было, и зовут ответчиком — сейчас, мол, будут определять убытки дяди Василе от оборванной черешни и потоптанной конопли.

По правде сказать, дядя Василе тоже был скупердьяй и сквалыга, не хуже тети Мариоры; как говорится — «два сапога — пара». Но что тут болтать зря! Спорить было не о чем, убыток налицо, виновный должен платить. Недаром говорится: «Платит не богатый, а виноватый».

Пришлось отцу краснеть да рассчитываться за мои делишки, тем все и кончилось. Расплатившись, он вернулся домой сердитый и пристыженный, как следует вздул меня, приговаривая: «На! Получай черешни! Подайись! И знай: нет тебе больше веры! Кончилась твоя воля, висельник! Сколько мне еще отдуваться за твои проделки?»

Вот так-то обернулось дело с этими черешнями; скоренько и без задержки сбылись слова моей бедной матушки: «Бог не помогает тому, кто нечист на руку».

Но к чему покаяния после смерти? Куда мне было деваться теперь от стыда? Попробуй-ка, покажись тете Мариоре или дяде Василе или двоюродному брату Иону, да и любому мальчишке или девочке из нашего села! Особенно в воскресенье у церкви или на жоке, где девушки так красиво водят хороводы, или у Чиерул-Кукулуй, у пруда, где всегда встречались парни и девушки, соскучившиеся друг по дружке за целую неделю работы!

Что говорить, молва о моей проделке разошлась далеко по округе, стыдно было на глаза людям показаться! Особенно теперь, когда в нашем селе подросток кое-кто из хорошеньких девушек, — у меня так и щемило сердце. Есть такая присказка:

— Эй, Ион, любишь девушек?

— Люблю.

— А они тебя?

— Я их тоже!

Но ничего тут не поделаешь... Все проходит — пройдет и это... Не надо принимать так близко к сердцу — брось об этом думать. Минует и эта беда, как миновали другие напасти, что сваливались на меня не раз и не два, а много лет подряд, одна за другой.

Но как ни старался я, как ни остерегался, чтобы ничего не натворить снова, меня будто сам нечистый толкал на шалости, и я затевал все новые проделки.

И надо же — после тех злополучных черешен со мной опять стряслась беда!

Как-то рано утром матушка, с большим трудом добудившись меня, говорит: «Подымайся, соня, до зари, а не то тебя армянская кукушка сглазит, и тогда тебе весь день не будет удачи». Это она пугала меня удадом, который уже много лет вил гнездо в старой дуплистой липе на холме, на участке дяди Андрея, младшего брата моего отца. Каждое утро, раным-рано, только и слышно было: «Удуду-удуду! Удуду-ду!» — так, что просто гул в селе стоял.

Не успел я встать, как матушка послала меня в поле в Вале-Сакэ, что у Тополиу, — отнести полдник цыганам, которые нанялись к нам на прополку. Несу я узелок с едой и вдруг слышу:

— Удуду! Удуду! Удуду!

Ну как тут было пройти мимо! Свернул я к липе — поймать постылую птицу: уж больно я был на нее зол. И не потому, что она может сглазить меня, как грозилась матушка, а главное за то, что по ее милости меня каждый день подымали ни свет ни заря.

Подхожу я к л и п е , — узелок свой оставил на тропинке, на верхушке холма, — и потихоньку взбираюсь на дерево. Липа пышно цвела, и пока я карабкался, меня одурманивал ее сладкий запах. Сунул я руку в дупло и... вот так чудо! — накрыл удода на яйцах.

— Ага, голубчик, попался! — говорю я, в восторге от своей удачи. — Теперь ты у меня поудудукаешь! — И совсем уж было вытащил удода наружу, как вдруг, испугавшись сдурить чего-то, должно быть, его пестрого хохолка, разжал руки, и птица порхнула обратно в дупло. Ведь до сих пор мне не доводилось видеть удода. А от людей я слыхал, что в дуплах иной раз водятся и змеи. Стою и раздумываю: змей-то с перьями как будто не бывает? Наконец, расхрабрившись, опять запускаю руку в дупло, чтобы схватить удода во что бы то ни стало... Но бедняга, от страха видно, забился куда-то в самую дальнюю щель. Сколько я ни шарил — он точно сквозь землю провалился.

— Черт, что за чудеса! — говорю я с досадой и тут же срываю с себя шапку и затыкаю ею дупло. Затем, спустившись с дерева, разыскиваю подходящий камень, снова взбираюсь на липу, вытаскиваю шапку из дупла и на ее место прилаживаю камень. Пусть попробует выбраться удода из своего убежища, пока я вернусь с поля!

Я живехонько слезаю с дерева, прихватываю свой узелок и поскорее к цыганам.

Однако, как я ни торопился, но пока я мешкал там и тут, пока трудился и нашаривал удода в дупле, прошло немало времени, и у наших цыган, конечно, животы подвело от голода. Но говорят же в народе: барин с голоду разгуливает, руки за спину, мужик трубкой попыхивает, молчит да злость копит, а цыган песни распевает. Так и наши цыгане — стоят, черт их поברי, и поют во все горло, опершись о цапки, а у самих в глазах от голода мутится; поют да поглядывают — не подоспеет ли откуда полдник. Время уже к обеду, а я с полдником только-только плетусь из-за холма. Иду, не иду, слушаю песни, что они орут.

Как накинудись на меня цыгане, что твои лютые звери, чуть не разорвали на клочки. Да, спасибо, вступилась за меня одна девка-цыганка:

— Хаулейо-мо! Будет вам! Не связывайтесь с мальчонкой! Что его ругать! С отца спрашивайте, а его оставьте в покое!

Тут цыгане и впрямь оставили меня в покое и молча принялись за еду. А я, выскочив сухим из воды, захватил свою торбу с посудой — и назад в село. Заворачиваю опять к липе, взбираюсь на нее и, приложив ухо к дуплу, слышу, как внутри что-то копошится. Тихонько отваливаю камень, запускаю руку в дупло и вытаскиваю удода, — птица, натерпевшись беды, и вовсе приуныла.

Думал я захватить и яйца, но они превратились уже в яичницу.

Вернувшись домой, я тайком привязал удода за лапку на чердаке и битых два дня прятал его от матушки среди разошедшихся кадок. И беспрестанно шасть туда, шасть сюда — к удоду; домашние только диву давались — что мне там нужно, на чердаке?

На третий день прибегает тетя Мариука, жена дяди Андрея, и давай браниться с нашей матушкой:

— Да слыханное ли это дело, золовка, — кричит она в сердцах, — твой Ион украл удода, который вот уже столько лет по утрам подымал все село на работу!

И до того она, бедняжка, разволновалась, что чуть слезами не захлебнулась, выкладывая все это. Теперь-то я понимаю, что тетя была права: угод у нас в селе и впрямь заменял часы. Но бедная матушка ведь ничегошеньки не знала про мои подвиги с удодам.

— Что ты, золовка! Да знай я, что Ион поймал птицу и мучает ее, избила бы его до полусмерти! Спасибо, что ты сказала. Будь спокойна, я из него все вытрясу.

— Ты и не сомневайся, сестрица Смаранда, это никто как о н , — говорит тетка. — Твой сорванец ничего не упустит! Чего уж больше, мне люди так и сказали: птицу, мол, украл Ион. Голову даю на отсечение!

Я сидел, притаившись, в кладовой, а как услышал это — махнул на чердак: пошарив, схватил удода, выпрыгнул из слухового окна на у лицу — и живо на базар, продавать птицу. Был как раз понедельник — базарный день. С удодам в руках я стал важно прохаживаться в толпе туда и сюда; не шугите — ведь я, как-никак, сын купца! Какой-то непутевый старик с телкой на веревке — и что ему взбрело на ум! — вдруг спрашивает: — Эй, мальчуган, продаешь свою курочку?

— Продаю, дедушка.

— Сколько просишь?

— А по-вашему, какая ей цена?

Не успел я протянуть ему удода, как чертов дед тут же принялся шупать птицу, не несется ли она, а сам потихоньку развязал ей лапки, подбросил вверх да как закричит:

— Батюшка! Упустил птицу!

Удод — фр-р-р! — уселся на крышу лавки передохнуть малость и полетел назад в Хумулешты. Раскрыв рот, со слезами на глазах, я смотрел ему вслед. А потом хватъ деда за свитку и требую, чтобы он уплатил мне за удода...

— Ты что же это, дед? Шутки шутить с моим товаром вздумал? Не хотел покупать, нечего было выпускать птицу! Плати сейчас же, а не то и телкой своей не откупишься, понял? Это тебе не пустяки! — Я так на-скакивал на старика и поднял такой переполох, что вокруг, как на представление, начал собираться народ. На то ведь и ярмарка!

Дед дал мне накричаться, потом говорит со смехом:

— Да ты отчаянный, как я погляжу. О чем это ты толкуешь? Чего тебе надобно? Чего так горячишься, внучек? Вон оно что, ты, оказываешься, хочешь мою телку получить взамен своей армянской кукушки? Спи-на у тебя, видать, чешется, так давай я тебе почешу. Да еще уши наде-ру, так что «хвалу господу» запоешь, когда вырвешься из моих рук.

— Оставь мальчонку, д е д , — отозвался кто-то из наших, хумулешт-ских , — это сын Штефана Петри, из нашего села. Наживешь ты себе хлопот из-за него...

— Постой, постой, милый человек, я, думаешь, не знаю Штефана Петрю, дай бог ему здоровья?! — ответил д е д . — Да я его только сейчас видел: с аршином под мышкой ходил, сукно приторговывал. Он и сей-час, должно быть, неподалеку, а не то в лавке, магарыч выпивает... Хоро-шо, что я знаю, чей ты мальчонка. Вот постой-ка, сведу я тебя к от-цу... Проверю-ка, посылал ли он тебя продавать удода, паскудить нашу ярмарку.

Мне и так хорошо было, а тут, как услышал я про отца, у меня и вовсе руки опустились. Выбрался я потихоньку из толпы и пустился на-утек — обратно в Хумулешты. Да на бегу все оглядывался — не догоня-ет ли меня дед, потому что, по правде сказать, теперь уже я хотел от не-го избавиться. Как в той присказке: «Эй, пусти-ка его! Я бы пустил, да он меня не пускает!» Так и со мной получилось. Я уже рад был, что так

дешево отделался. «Дай бог, чтоб и с матушкой и с тетей Мариукой тоже все обошлось!» — думал я, а у самого сердце от страха да и от усталости колотилось, как у зайца.

Вернулся я домой и узнал, что отец с матерью и впрямь уехали на базар. А братья с испугом рассказали мне, что тетка Мариука заварила кашу: все село на ноги подняла из-за удода, клянется, что это мы его утащили, матушку прямо до слез довела. А уж всем известно: тетка Мариука такая, что и хмель может из человека выбить, не то что добрячка тетя Ангелица, жена дяди Кирияка!

Выкладывают все это мне братья, а тем временем с липы доносится «уду-ду, уду-ду».

— Слышишь, братец! Господи, боже мой! Есть же на свете люди, которым ничего не стоит оговорить человека! — удивилась сестра Катрина.

— Твоя правда, сестрица, — поддакиваю я, а про себя думаю: «Ох, знали б вы, сколько натерпелся этот удод из-за меня, а я — из-за него, вы бы над нами обоими заплакали от жалости!»

Пока мы обо всем этом толковали, брат Захей, глядь, уже отправился на базар поделиться с матушкой радостной вестью, что удод нашелся.

На второй день, во вторник, как раз в заговенье перед Петровками, матушка наготовила полную печь пирогов, коржиков, ватрушек, нажарила цыплят в масле, пригласила тетку Мариуку и говорит ей радушно:

— Господи, боже мой! Милая моя сестрица, ведь вот так, понапрасну, из-за злых языков, люди могут стать врагами. Прошу к столу, сестрица, угощайся, чем бог послал, да выпьем по стакану вина за наших мужей...

Все лихое ты отбрось,
Чтоб хорошее сбылось,
Чтоб прошла вражда и скука,
Как с полей исчезнет куколь.

Ежели из-за всякого пустяка себе кровь портить, то и впрямь с ума можно сойти.

— Да так оно и есть, золовка дорогая, — удивленно пожала плечами тетя Мариука, присаживаясь к столу. — Поди ж ты! Вон и верь после этого людским рассказням.

Тут мы принялись за еду — не знаю, как другие, а я так навалился, что мне на целый день хватило! Как встал из-за стола — бегом купаться, только пятки засверкали. Разбежался и с высокого обрыва бултых в омут, да так неловко — шлепнулся животом в воду, даже искры из глаз посыпались от боли; думал, живот у меня лопнул, не иначе. С трудом выбрался я из воды и сижу, держась руками за сердце. А ребята окружили и давай хоронить меня в песке и отпевать по всем правилам. Через час я едва-едва пришел в себя. А потом, как ни в чем не бывало, полез в воду и купался чуть не до захода солнца, норовя вернуться домой вместе со стадом. Матушке я сказал, что пастух растерял наших коров и мне пришлось самому пасти их с полудня, потому, мол, я так и задержался.

И матушка моя, христианская душа, приняла все это за чистую монету, поверила каждому моему слову, как святому писанию, похвалила меня за усердие и ужином накормила. Как волк, набросился я на еду, а сам, прикидываясь тихоней, посмеивался про себя: здорово же это вранье у меня получилось. Я даже сам в него почти поверил.

Так подчас человек, не привыкший шевелить мозгами, невольно сам себя обманывает, даже и не помышляя об этом.

А я все-таки придерживаюсь мнения, что бывалому человеку ума не занимать статью.

Перед Ильиным днем на матушку, как всегда, свалилось множество дел: одно сукно нужно снять со станка, для другого натянуть основу а там — только знай работай челноком! Огромной грудой, до потолка лежат скроенные сермяги и дожидаются своей очереди, — их надобно сшить.

Некому держать матушке гребень, пока она расчешет шерсть; прялка стоит посреди комнаты, а очесов что-то не видать. Есть же поговорка: «Не сиди, чтобы твое счастье не сидело». Дел уйма: приладить цевки к станку, присмотреть за нашим грудным, что лежит в колыбельке, да еще пятеро-шестеро других ртов дожидаются, чтобы их накормили. Словом, забот полон рот, и приходилось торопиться — ярмарка в Фэлтиченах уже на носу, а на нее-то вся надежда.

Вот будит меня как-то матушка раньше обычного и просит от всей души:

— Ника, сынок! Видишь сам, отец ушел косить, овес ведь осыпается; да и у меня от хлопот голова идет кругом. Брось-ка ты шататься, посиди с мамой, наладь цевки да покачай маленького. Зато потом я куплю тебе в Фэлтиченах шляпу с лентой и пояс настоящий кожаный, широкий, с карманами: уж мама для тебя постарается.

— Ладно, мама, — говорю. А что у меня на уме — один я знаю. Я-то на все руки мастер — шить и вышить свиту для меня нипочем, а особенно спрясть. В этом я со взрослыми девушками могу поспорить — недаром насмешница Мариука, дочка Саввы, которая, по совести говоря, была мне не совсем безразлична, не раз дразнила меня «Ион-пряха». Так у нас прозвали одного цыгана из Вынэтор.

И все же, несмотря на это, Мариука была мне мила, и мы с ней не раз пряли в тени ореха и напрядали целые груды шерсти; матушка даже целовала меня по вечерам, когда я показывал ей свою работу.

Часто мы, подростки, мальчики и девочки, чтобы было веселей, собирались со своей работой друг у друга. Это у нас в селе называлось «посиделки», устраивались они чаще всего по ночам, и каждый пряд свое. Любо было смотреть, как я работал наперегонки с Мариукой и как пело мое веретено: точь-в-точь так же пело и мое сердце от любви к девушке. Господь мне свидетель! Помнится, как-то ночью, когда мы чистили кукурузу, мне посчастливилось вытащить у Мариуки из-за пазухи мышонка. Если бы мне не повезло, он перепугал бы бедную девушку до смерти.

А летом в праздники, когда на полях, холмах, а в особенности в веселых зеленых рощицах собирают иван-чай и лозу для желтой и красной краски или душицу, которой на лето пересыпают одежду, — кто ходил с девушками? Об этом и в песне поется:

Дал бы, боже, мне валец
Да к девчонкам уволок.

Короче говоря, где три девушки, там и я — четвертым.

Так-то оно так, но как услышал я, что нужно нянчить ребенка, просто не знаю, что со мной случилось. И за какие грехи выпало мне быть старшим из братьев?!

Но разве откажешься, если просит матушка! А тут, как назло, именно в этот день небо было такое синее, до того хорошо и тепло было на дворе, что меня зависть разбирала, когда я смотрел на кур, купавшихся в пыли. И вот, любясь ярким солнышком и досадуя на матушку, — хоть

и грех было на нее сердиться, ведь у нее забот хоть отбавляй, — удрал я потихоньку к пруду. Сделанного ведь не воротишь, что было, то было, бог мне свидетель, что говорю я истинную правду.

Некоторое время спустя матушка, думая, что я в саду, выходит на двор и принимается кричать изо всех сил:

— Ион! Ион!

А Иона и след простыл.

Не дождавшись ответа, матушка бросает все свои дела и отправляется за мной на пруд, зная, где скорее всего можно меня найти. И что же она видит? Я, нагишом, лежу, вытянувшись на песке. Потом я поднимаюсь и, приложив к ушам нагретые на солнце серебристые голыши, прыгаю то на одной, то на другой ноге и, наклоняя голову то вправо, то влево, напеваю:

Золотце при молодце...
Вылей воду из ушей,
Я монету дам, ей-ей,
Стану мыть я ведра рано,
Стану бить я в барабаны...

Потом я принимаюсь, один за другим, пускать камни по поверхности пруда, где только что выкупался, один — богу, другой — черту, каждому поровну. Потом — еще несколько камней, чтобы спровадить черта на самое дно пруда — вон какие пузыри он пускает! А затем и сам — бултых в пруд, на дно, ловить черта за ногу. У мальчишек так уж заведено во время купания — еще от праотца Адама. Потом я ныряю еще три раза — во имя отца, сына и святого духа и еще один раз — аминь.

Затем тихонько отплываю на боку и, притаившись под берегом, люблюсь, как плещутся в воде стройные ножки девушек, белящих у пруда холсты. Лучшего занятия, думается мне, нет в целом свете.

И на все это смотрит из-за груды гальки моя бедная матушка. В гневе она так и застыла на месте — руки в бока. А я ее и не заметил — не до того мне! Прошло уж два-три часа с тех пор, как я удрал из дому. Солнце собиралось перевалить за полдень, а у меня даже еще под ложечкой не сосало; я был так счастлив, что позабыл обо всем на свете.

Наконец матушкино терпение лопнуло. Подкравшись на цыпочках как раз в ту минуту, когда я любовался девушками, она схватила в охапку мою одежду и, оставив меня нагишом в воде, закричала со злостью:

— Уж голод пригонит тебя, бродяга, домой, тогда я с тобой потолкую! — и с этими словами ушла.

Ай-ай, что же теперь делать, Ион?!

Как увидели это девушки, белившие холсты, — давай толкать друг друга да смеяться, так что весь берег зазвенел от хохота. А мне — впору сквозь землю провалиться или утопиться с досады. Минуту назад девушки были мне страх как милы, а теперь я готов был всех их перекусить. Но кто в силах остановить ветер, воду или человеческий язычок? — говорит пословица.

Что с ними поделаешь? Пусть себе смеются до упаду! Улучив минуту, когда они нагнулись полоскать холсты, я выскочил из воды — и давай бог ноги! Я мчался по берегу с такой быстротой, что выворачивал гальку, и она подскакивала выше моей головы. И так — бегом, бегом, без оглядки — добрался я улочками до большака, что вел к нашему дому. Чтобы кого-нибудь не встретить, я свернул с дороги, перемахнул через плетень в огород Костаке, пробрался кукурузой, потом переулком,

юркнул в сад Трэсни и опять в кукурузу. Но тут, как на грех, собаки Трэсни учуяли чужого и набросились на меня — вот-вот разорвут. Что тут делать? Слышал я от людей: если хочешь, чтобы собаки тебя не тронули, ложись ничком на землю и не шевелись, пускай себе лают, сколько влезет, — полают, полают, да и отстанут.

Вот уж истинная правда, именно так избавился я от псов Трэсни, когда, как на грех, нарвался на них, а они на меня. Счастье еще, что не наткнулся на меня сам Трэсня, злодей и разбойник, у которого был против меня зуб с тех пор, как он накрыл меня в саду с ворованными яблоками и грушами-скороспелками, — уж он бы сейчас избил меня на месте! Для полного удовольствия мне только этого не хватало!

Наконец, когда собаки Трэсни, как я уже сказал, оставили меня в покое, я выскочил на перекресток и оттуда шмыгнул в наш сад. Тут уж я мог себя чувствовать, как у Христа за пазухой. Шагаю себе беззаботно кукурузой, подхожу к нашему двору и вижу через тын, как матушка все еще хлопочет по хозяйству, — будто ветром носит ее то из дому, то в дом; и так мне стало ее жалко, так жалко, но своего отощавшего после купания желудка еще того жалче. Недаром говорится: «Своя рубашка ближе к телу».

Не в силах побороть голод, я жалобно завопил из-за забора:

— Мамуся, я пришел!

Потом, перепрыгнув через забор, предстал перед ней во всей своей красе, схватил ее руку и стал целовать и молить:

— Бей меня, убивай, повесь меня, делай со мной, что хочешь, только покорми — умираю от голода! (Как говорится: «Голоый в кустах хоронится, а голодный ломится напрямик»).

Мать остается матерью: она ласково посмотрела на меня и проговорила со вздохом:

— Ну пристало ли тебе, верзиле этакому, шататься по дорогам в чем мать родила? И как у тебя совести хватило в такое горячее время оставить меня одну без всякой помощи? Садись за стол, но только знай, что отныне нет тебе места у меня в сердце! Разве что ты с этого дня начнешь вести себя хорошо — тогда и я, может быть, снова стану такой же, какой была. Но не ручаюсь, ей-богу!

Короче говоря, я видел, что матушка на меня прогневалась, и тут же поклялся никогда больше не выкидывать таких штук. И действительно — стал вести себя по-хорошему, ни в чем матушке не перечил: ни делом, ни словом. Как говорится: «Добрая беседа лучше обеда». Я хлопотал по дому, из кожи вон лез, убирал и подметал, как девка на выданье. Теперь матушка, уходя куда-нибудь, спокойно могла оставить на меня дом. Вот однажды, расцеловав меня от всей души, она ласково сказала:

— Да хранит тебя господь, Ионика родной, да наградит он тебя всякими благами, если ты и дальше будешь вести себя так, как теперь.

Слыша такие слова, я разревелся от радости. Но совесть мучила меня, как никогда. Отдубась меня матушка палкой или выгони из дому, как чужого, я бы не так сгорал от стыда, как сейчас от ее ласки.

Не думайте, пожалуйста, что я не сдержал своего слова — как же, сдержал. Уж таким я стал терпеливым да старательным! Не хочу себя хвалить, мои дела сами себя хвалят: когда спал — есть не просил, когда вставал — не дожидался, чтобы кто-то меня покормил; если дома была работа — старался из дому улизнуть. Были у меня и другие достоинства: строгостью от меня ничего нельзя было добиться, а лаской — еще того меньше; когда мне давали волю, я мог таких дел натворить, что и святая Анастасия-целительница в них не разобралась бы при всей ее му-

дрости. Как в той пословице: «Один дурень бросит камень в воду, а семерым умникам его не вытащить!»

Но стоит ли тратить попусту столько слов? Да, жил на свете человек — одушевленный комок хумулештской глины, и красивым не стал он к двадцати годам, и умным — к тридцати, и богатым — к сорока.

Однако таким бедняком, как в нынешнем и прошлом году, я никогда еще не бывал с тех пор, как себя помню.

III

— Было бы не так досадно, — говорит моя совесть, — если бы ты хоть представлял собой что-нибудь, хоть бы знать, откуда ты, а то ведь — этакий комок земли с глазами, кусок одушевленной глины из нашего села, а вот не дает тебе сердце твое молчать и ты досаждаешь всему свету своей мужицкой болтовней!

— Не дает оно мне молчать, сама видишь, совесть, потому что ведь и я — человек не хуже других, и в селе нашем Хумулешты, где открылись мои глаза, мы тоже не лыком шиты, не из медвежьего угла, как иные прочие, да и окрестные места у нас — все знаменитые. Выше Хумулешт — Вынэторий Нямцулуй, люди там — той самой породы, что дрались когда-то с Яном Собесским, королем поляков. Дальше в гору — монастыри Секул и Нямцу, в былые времена — краса и гордость румынской церкви и вторая сокровищница Молдавии. На юге — села Боиште и Гиндеоаний, где в телегу впрягают волов только венгерской породы, плуг там неделями может оставаться в поле на борозде, пасека — без пасечника, засеянное поле — без сторожа — никто к ним и не притронется; жители тамошние и не знают, что такое тягаться по судам. Поблизости от Боиште раскинулось село Блебя, народ там в большинстве такой, что, если случится кому обронить шапку в болото, он только скажет: «Пусть останется на помин души родителей».

К юго-западу расположены монастыри: Агапия, надежно укрытый от мирской суеты, Варатик, где провела всю жизнь Брынковянка¹, богатая и милостивая, и села: Филиоара, пристанище диких серн² — тех чернобровых, что удрали из монастыря; Бэлцетешты, славящиеся своими соленьями; Чехлэешты, Тополица и Оча — тут, если вороне случится стянуть у хозяина сливу, он гонится за ней даже через границу. На север отсюда, дорогой на север через Озану, попадешь в Тыргу-Нямцулуй, с пригородами Пометя под холмом Кочорва, где каждый дом окружен большим садом, и Цуцуены, где живут выходцы из Трансильвании; цуцуенец ест тухлое сало и, только и знай, держится за хвост своей овцы; обрабатывают здесь шерсть и славятся маслобойнями; еще дальше идут Кондрены со своими сукновальнями и мельницами на речке Немцишоре; за Кондренами, на вершине изрезанного оврагами холма, над пустырем высятся развалины знаменитой крепости Нямцу, зимой заносимой снегом, а в летний зной служащей убежищем для скота, измученного оводами и слепнями, да еще приютом для галок и ястребов, которые любят там вить гнезда.

Но какое дело до всего этого мне, пареньку из Хумулешт?! Совсем другая у меня забота: хочу рассказать о нашем селе, о моем детстве, которое там прошло, — и ничего больше!

¹ Брынковянка — Сафта Бали, жена Григория Брынковяну, последнего из рода господарей Молдавии (примечание переводчика).

² Имеются в виду убежавшие из монастыря послушницы (примечание переводчика).

Сколько бы ни сменялось господарей и митрополитов на тронах Молдавии с тех пор, как существует страна, каждому из них хоть раз в жизни да пришлось по дороге в монастырь пройти через Хумулешты. Не говоря уже о прочих людях, богатых и знатных, ни один богомолец не миновал нашего села. Помилуйте, в монастыре Нямцу — и чудотворная икона, и сумасшедший дом, и храмовый праздник на Вознесение, и приуроченная к этому дню ярмарка в городе Нямц; здесь же проходила дорога и к другим ярмаркам — в Пятру на Троицу, в Фэлтичени на Илью Пророка, в Секу — на храмовый праздник усекновения главы Иоанна Предтечи, в Верхнюю Агапию — на Преображение, в Нижнюю Агапию — на храмовый праздник архангелов Михаила и Гавриила, в Варатик — на Успение божией матери; и везде и всюду — народу, народу, народу — не счастье!

А сколько раз освящались храмы, сколько собиралось сюда лиц и духовного звания, и светских на съезды по церковным делам, сколько стекалось пришлого люду со всего света, сколько страждущих сердец, сколько заблудших душ стремилось через наше село в монастыри! Народу, народу, народу!

А сколько иноземных солдат, сколько конников — все рослые немцы в шитой золотом одежде, сабли наголо — прошло через Хумулешты в пору моего детства к женскому монастырю в поисках прекрасной Наталицы!¹ Ну и переполох подняли там немцы — перевернули все вверх дном в кельях святых сестер. Но так и не нашли они красавицы — подвалы смотрителя Пырву из Тыргу-Нямцулуй могут, если нужно, укрыть даже княжну. Счастье еще, что женщинам из Варатик удалось утихомирить немцев, уговорить их по-хорошему вложить оружие в ножны, ибо «поднявший меч от меча и погибнет».

Но зачем я забиваю вам голову всеми этими королями и господами, а не рассказываю о своем милом детстве в Хумулештах и о своих собственных делах. С этого и следовало бы начать, но мне хотелось показать, что и мы, хумулештцы, не из медвежьего угла, что и нам выпало счастье повидать на своем веку немало всякого люда.

В 1852 году, в день освящения больничной церкви в Тыргу-Нямцулуй, там же было открыто и казенное училище. И я, в числе других мальчуганов-певчих, стоял недалеко от господаря Гикэ Вода, который присутствовал на торжестве. Вокруг него теснился народ. Мы же выстроились в ряд в белоснежных, как горностаи, рубашках с пестрой вышивкой, в нарядных безрукавках и домотканых шароварах, обутые в постолы. Мы смотрели на господаря во все глаза с робостью и умилением. А он, такой красивый и величавый и в то же время смиренный, ласково глянул на нас искажал этак отечески:

— Слушайте, дети мои, школа и святая церковь — источники благодати и радости духовной. Припадайте к ним, просвещайтесь и хвалите господа.

Эти слова господаря оставили глубокий след в сердцах собравшихся; школа в скором времени наполнилась мальчиками, желавшими учиться. Был среди них и я, отъявленный драчун и знаменитый лентяй. Лентяем, равного которому не было на свете, сделался я потому, что матушка, поскольку хватало ее ума, не разрешала себе послать меня даже за ведром воды, только бы я учился и стал попом, как наш наставник — отец Исая Духу.

¹ Наталица — дочь Григория Гикэ и жена Костикэ Балша. После того, как муж ее был убит на дуэли австрийским офицером, жила в монастыре Агапии.

И какой же добрый был этот батюшка Духу... когда случалось у него хорошее настроение, да простит господь ему грехи. Навел он у нас порядки, каких не бывало до той поры: летом за свой счет покупал лукошки с малиной и всевозможные лакомства и раздавал нам, ученикам, а по субботам сажал всех в большую монастырскую бричку и возил к настоятелю Неонилу — проверять наши знания. Старец Неонил, немощный калека, наставлял нас, чтобы, проникнувшись духом смирения, мы держались только часослова и псалтыря, ибо все другие науки, говорил он, — ересь, только омрачающая сердце и смущающая душу человека. Сам отец Духу не слишком-то придерживался советов настоятеля — он обучал нас и арифметике, и грамматике, и географии, всему понемногу, по нашим способностям.

Однажды возвратился батюшка Духу из монастыря разгневанный и задал нам такую задачу на тройное правило:

— Если на каждой пара¹, присвоенной незаконно, теряется сто заработанных честным трудом, то спрашивается, сколько потеряет монастырь Нямцу на тех шести тысячах лей моего годового оклада, что незаконно отнял у меня настоятель Неонил?

— Двадцать четыре миллиона пара¹, или шестьсот тысяч лей, отец, — ответил один из нас, вычислив все это мелом на доске.

— А ну-ка, пускай Ника Ошлобану проверит решение! — сказал отец Духу.

Ника Ошлобану — этакий верзила! — подымается с места и по обыновению отговаривается тем, что у него болит голова. И вдруг, уж не знаю как, выскальзывает у него из-за пазухи большущий медведь и ка-ак покатится по классу! Понятно, не из тех медведей, что пляшут у поводырей, — а медведь из мамалыги, начиненный брынзой, круглый, хорошенько поджаренный, — истинное утешение для пустого желудка. Мальчишки кидаются его ловить. Ошлобану — за ними — отнимать; и подымается из-за этого медведя в классе хохот, визг, настоящее столпотворение. Отец Духу, как сейчас вижу, хлопнул себя по лбу и сказал, тяжело вздохнув:

— И за какие это тяжкие и безмерные прегрешения заброшен я сюда обучать неотесанных мужиков?! В тысячу раз лучше было бы тебе, Исая, пасти свиней в Старой Кожяске, чем дожить до такой напасти! А ты, Ошлобану, чурбан ты этакий, чревоугодник, не желаешь утруждать мозги! Знай же, ты станешь попом, как твой отец, разве только тогда, когда все буйволы из монастыря Нямцу уйдут в монахи!..

Ошлобану — дурак-дурак, но упаси боже затронуть его хоть капельчо: тут он от ярости просто землю готов рыть, как бык. Вернувшись домой вечером, он передал отцу слова батюшки Исая.

А с попом Ошлобану, всякому известно, не очень-то поговоришь: знай служит себе по три литургии на день и поминает гуртом: монахов, иеромонахов, митрополитов, жен их и детей — просто небу жарко.

Однажды утром — и что это взбрело на ум отцу Духу? — взял он Теофана, другого монаха из больницы, и отправился с ним в церковь святого Лазаря, что под холмом в крепости. И, как вошли в церковь во время службы, тут же начали придираться к попу Ошлобану, что тот служит якобы не по уставу.

— Не по уставу, лицемеры вы долгополые! Так вот, я вам покажу сейчас устав! — заорал поп Ошлобану, забыв о своих святых. — Вы уже отняли у нас обманом великомученика Дмитрия, источник благодати, а

¹ Пара — турецкая мелкая монета, имевшая хождение в Молдавии.

вместо этого славного святого подсунули нам оборванного жида Лазаря, который только знай умирает да воскресает. И опять умирает и опять воскресает, так что никто даже толком не поймет, в какой день его помянуть. И это храм, по-вашему! Мало того, что вы нас разорили, отобрали наши угодыя и загородили стеной нашу церковь, вы еще, нам назло, закрыли ворота больницы; даже в колокол бить запретили нам эти собаки-лекаря — и все из-за вас! До того дошло, что прихожане наши разбегаются, последняя старушонка и та не заглядывает к нам в церковь. Мало того, что уже более шестидесяти лет я служу, и вы теперь беретесь меня учить уставу, гадюки вы подколотные! А вот я сейчас выбью всю эту дурь из вашей головы! — Да как швырнет в монахов толстым церковным требником. Потом схватил тяжелый медный подсвечник — и за ними — предать их анафеме. Тут отец Духу и старец Теофан пустились от него наутек, теряя по дороге обувь, еле-еле на карачках от него уползли — воистину так, как положено по уставу!

С того самого дня Ника Ошлобану больше и глаз не казал в школу, а батюшка Духу — ни ногой в церковь св. Лазаря; сунулся бы он туда — поп Ошлобану распял бы его на кресте, а затем упрятал бы на церковном чердаке, заодно со старинными иконами, что остались здесь от монастыря Нямцу. И думается мне, что тут прав был бедный старик: ведь на месте церкви святого Лазаря раньше была другая — деревянная, построенная в честь святого Димитрия господарем Василе Лупу и получившая от него в дар угодыя, как и наша Хумулештская. Но монахи из Нямцу — народ хитрый. Когда строили больницу в Тыргу-Нямцулуй, возвели они каменную церковь в честь святого Димитрия, а старый храм переименовали в храм святого Лазаря, обнесли его стеной, а церковь святого Димитрия сделали больничною. Земли священников заграбастали монахи, как и земли хумулештской церкви. Тут уж невтерпеж стало попу Ошлобану. Чтобы и духу монашьего не было в его церкви, потоп на их голову! Просто чудом вырвался из его рук батюшка Духу и не сделался великомучеником вместо святого Димитрия — источника благодати.

Спустя несколько дней слышу я, что Ника Ошлобану отправился изучать науки (да какие уж там науки!) в духовное училище в Фэлтичены. Двоюродный брат мой Ион Могороджя, Гытлан, Трэсня и другие мои дружки уехали туда же еще раньше, и уж понятно, на родительский счет. Остался я без приятелей, и стоило батюшке Духу задать мне ни с того, ни с сего трепку, как я принялся донимать матушку, чтобы она уговорила отца отдать и меня в духовное училище, хотя был я изрядный лентяй и ростом еще не вышел.

Старинные червонцы, улы, овцы, лошади, быки и тому подобное добро — все это было превращено в звонкую монету, которую и повезли будущие бурсаки в дар начальству, на фабрику попов в Фэлтичены. Ну, а там, только доверься их преподобиям — выскочишь, как из мешка, настоящим новеньким попиком.

За меня отец сунул, кому положено, только две мерки ячменя и — две овса, и был я принят в Фэлтичены, но ученье было там лишь для отвода глаз: выучат — и с рук долой!

Прибыл я туда поздней осенью и поселился на квартире у Павла-сапожника на улице Рэдэшены; там уже обосновались другие мои товарищи. Катихет наш обращал день в ночь, а ночь в день, потому что постоянно резался в карты, а в школе бывал редко. Видя такие порядки, мы стали заглядывать туда еще того реже и озорничали вовсю.

Павел был холост, а дом его был достаточно вместителен, скамейки и топчаны стояли одни вдоль стен, другие у печки — все они были за-

няты, а хозяин день и ночь работал, царствуя на печке среди колодок, рантовых ножей, верстаков, железных лап, рашпилей, клещей, молотков, дратвы, сапожного вара и других сапожных принадлежностей. Жил еще вместе с нами Бодрынга, бездомный дед, большой забавник; за плоску еды и за пачку табаку, что продавался по три ока на грош, он обслуживал весь дом: пилил дрова, разводил огонь, носил воду, подметал, а ночами, уткнувшись носом в теплые уголья, рассказывал нам сказки. И еще играл он нам на дудке дойны, от которых бросает в дрожь, «Корэбяску», «Мэриуцу», «Хородинку», «Аливенчеле», «Цыитуру», «Ка ла уша кортулуй», хороводные и другие поднимающие дух песни, от которых ноги сами пляшут; и пели мы, и плясали до того, что полы потели, а от сапог отлетали подметки — с каблуками и со всем набором. К тому времени ведь уже и я дорос до сапог, но из-за этого затейника, деда Бодрынга, Павел еле успевал их чинить; случалось, однако, что и сам он, словно сумасшедший, пускался с нами в пляс, вдребезги разбивая свои чоботы.

Выпала однажды Ошлобану очередь покупать дрова. Как ни скуп он был, а пришлось, хочешь не хочешь, выйти на площадь. Неподалеку от нашего дома встречается ему крестьянин с возом буковых дров — не то из Саски, не то из Баи.

— Сколько просишь за подводу, дядя? — спросил Ошлобану, которому так же хотелось покупать дрова, как мне сейчас идти в попы.

— Три гусаша, бурсак.

— Что ты, дяденька, за такую охапку?! Да я ее зараз на плечах домой снесу!

— Снеси-ка, попробуй, я тогда дрова тебе даром отдам.

— Ей-богу? Не шутишь?

— Какие там шутки, бурсак... Честь тебе и хвала, коли снесешь... будут твои...

Тогда Ошлобану, по одному, по одному, сбросил дрова с подводы, поставил их стоймя, чтобы было сподручней, снял с себя пояс, перевязал, стянул потуже, чтобы не рассыпались, а потом с натугой взвалил их себе на спину и — к дому. Случившийся тут озорник-мальчишка, увидев это, как приметя орать:

Бурсак!
Колпак!
Бе-бе-бе,
Черти в гости к тебе!

А мужик, перекрестясь, так и остался с разинутым ртом, не в силах вымолвить ни слова. Можете себе представить, как был нагружен этот воз дровами, если он стоял, по тем временам, семь с половиной лей, и каким здоровяком был Ника Ошлобану. Да и остальные — человек примерно шестьдесят, из тех, что, оставив дома в горах жен и детей, приехали в Фэлтичены набираться ума-разума, — были не хуже.

Учились они там, надо оказать, не на шутку. Одни, бывало, распевают во весь голос:

Исон олигон, петасты,
Два кендима, хомили, —

пока не охрипнут, как ослы. Другие с закрытыми глазами, без передышки выпаливают все семь таинств из большого катехизиса. Гытлан даже во сне не оставлял борьбы с великаном Голиафом; усатый Давидика из Фэркаша, пока вывалят на стол мамалыгу, наизусть и без ошибок успевал отбарабанить весь Ветхий Завет Филарета Скрибана, раз-

деленный на периоды. Да еще вдобавок краткие формы местоимений в винительном и дательном падежах из грамматики Мэкэреску: «Мне, тебе, ей, ему, нам, вам, им... и меня, тебя, его, ее, нас, вас, их и меня, тебя, ее, его, нас, вас, их и мне, тебе, ей, ему, нам, вам, им».

Ну и белиберда! Черт его побери, такое ученье!

Одни бормотали, как помешанные, до полного одурения, другие, что-то мыча себе под нос, корпели над книгой, покуда у них не слипались глаза; у иных губы дергались, как у припадочных; большинство же, тупея от зубрежки, слонялось по комнатам, как неприкаянные. Они понимали, что даром теряют время, и тяжело вздыхали, бедняги, вспоминая, сколько неотложных дел ждет их дома. Такого сумбура в голове, такой ломки языка, как у этих злосчастных бурсаков, мне потом никогда не доводилось видеть. Избави бог от такого мракобесия!

Любо было глядеть на Давидику, паренька с гор, с его раздвоенной, как вилка, бородкой и красивыми бачками, с черными, как вороново крыло, кудрями, с широким чистым лбом, густыми бровями, черными, как смородина, и сверкающими, как молния, глазами и с румянными, что твои розы, щеками. Высокий и широкоплечий, он был тонок в поясе, гибок, как молодая береза, и застенчив, как красна девица, — да простит ему господь его прегрешения, — не судьба ему была стать попом, умер он до времени, бедняга, захлебнувшись во всех этих местоимениях, пропади они пропадом; замучили они до смерти такого золотого паренька!

Куда умнее поступал Мирэуца из Грумэзешт: в разгар зимы он шатался без дела по еврейским лавкам и спрашивал то ножны для кривого садового ножа, то сбрую для блох, то гвозди от Ноева ковчега, то малину или клубнику для... тех, кого, знаете, тянет на кисленькое; или же, чтобы подразнить евреев, пел им песенку:

Я не зол на червяка,
Что прополз у стебелька.
Я на гусеницу зол:
Съела свежих листьев шелк,
Чтоб в тени зеленых сводов
Не прилег гайдук в походах.

Дурак он был, что ли — ухлопывать себя на всякие там «меня, тебя, его, ее, нас, вас, их, мне, тебе, ему, ей, нам, вам, им», как Давидика!

Я, как и Мирэуца, не изнурял себя до полусмерти зубрежкой; и в самом деле: детишки у меня дома не плакали, да и подношение мое начальству, в конце концов, было невелико. Из-за каких-нибудь двух мер ячменя да овса не стоило оставлять безутешной дочку попа из Старых Фэлтичен. Вдобавок, сколько я ни смотрелся в зеркало, на бороду и усы у меня и намека не было — как на коленке. Уж я свой подбородок и свечкой подпаливал, и каждый вечер мазал его овечьим жиром, замешанным на воске, и жжеными орехами. Все понапрасну! А уж если ты попал в такое училище, — пожалуй, только борода да, черт ее побери, мощна могут сделать тебя похожим на попа.

А Трэсня, бедняга, чего-чего только не натерпелся от этой грамматики! Как-то раз говорит он мне уныло:

— Штефэнеску (так стали меня звать в Фэлтиченах), сегодня я не пойду в училище, не знаю урока и хочу на завтра подучить грамматику. Прошу тебя, пойдем со мной в поле к Старым Фэлтиченам и давай зубрить, хочешь — вместе, хочешь — каждый свое: я — грамматику, а ты — что тебе угодно. Потом ты меня выслушаешь; посмотрим, авось что-ни-

будь застрянет у меня в башке. Оно, правда, и другие науки мне не даются из-за этого нового алфавита, что вздумали ввести, но проклятая грамматика вгонит меня в гроб, разрази ее гром! И на кой ляд она сдалась в церкви? А ведь ничего не поделаешь — требуют! Возьмусь-ка я с самого начала, с твоей помощью, раз уж ты побывал в руках у отца Духу, авось разберусь как-нибудь...

Так как Старые Фэлтичены сулили мне некоторое утешение, то я согласился, и мы отправились. Дело было в ноябре, морозило, и ветерок был до того колючий — щеки от него так и горели! Как вышли мы в поле, Трэсня растянулся на меже и давай долбить грамматику, начав с первого вопроса и ответа.

Вопрос: Что такое румынская грамматика?

Ответ: Румынская грамматика есть искусство, которое учит нас правильно говорить и писать на языке.

А в другом издании: Грамматика это есть наука, научающая нас способу говорить и писать на языке.

Вот это задача! От часослова и псалтыря, да и то заученных с грехом пополам, перейти к грамматике! Да еще к какой грамматике! В старину ведь было не так, как нынче: целая уйма грамматик, одни «усовершенствованные», другие «расширенные», набитые дополнениями, которые, дополнительно нужно сказать, до того дополняют... что и не поймешь ничего. Теперь грамматики пишутся специально для ребят, и до того они легки — игрушка, а не грамматика! Но увы, Трэсне-то не выпало счастье выбирать себе грамматику. Он, грешный, вот по какой грамматике должен был учиться... «Искусство... правильно... на языке...», «Слогом называется полный звук, простой или сложный, с одной согласной или даже несколькими, но его надлежит произносить одним духом».

А в другом издании: «Под слогом мы разумеем произношение части слова» — и так далее и тому подобное.

— Ну и ну! А теперь, Трэсня, передохни да разберись во всем этом, если сможешь.

А на третьей странице — новые чудеса:

Вопрос: Из скольких частей состоит румынская грамматика?

Ответ: Румынская грамматика состоит из четырех частей. Они суть:

1. этимология, 2. синтаксис, 3. орфография и 4. орфоэпия.

Вопрос: Чему нас учит каждая из этих частей?

Ответ: 1. Этимология учит нас распознавать части речи, сиречь грамматическому анализу.

2. Синтаксис учит нас связывать речь, согласно законам нашего языка, сиречь грамматическому синтезу.

3. Орфография учит нас правильному письму, сиречь грамматическим правилам.

4. Орфоэпия учит нас ударять слоги и произносить их согласно духу и смыслу нашей речи.

Потом: «Меня, тебя, его, ее, нас, вас, их» и тому подобный вздор... Добавьте к этому, что Трэсня был великовозрастный малый, один из первых зубрил и порядочная тупица.

Добавьте еще, что учитель, который и сам удивлялся, как это он стал учителем, задавал нам «выучить отсюда — досюда». Слышал я, что то же самое творится кое-где и по сей день — стало быть, вы не будете судить строго ни составителя грамматики, ни учителя, ни Трэсня. Виною всему случай, который сделал людей такими, какие они есть: одних острыми, как стальная бритва, других тупыми, как жестянка.

Не думаете ли вы, что Трэсня читал вопросы и ответы подряд, медленно, ясно, стараясь что-нибудь понять. Нет, вы, может, и не поверите,

но получалось у него вот как: «Что такое грамматика румынская? — Это есть... есть... есть... научающая... тьфу — не научающая, а наука... наука, научающая, научающая... чему научающая... Говорить... рить... рить... Нет: научающая... Ну что за черт! Не научающая, а наука, научающая нас... это есть... есть...»

И все это бормотал он скороговоркой, запинаясь, совсем не думая, так что до слов «писать правильно на языке» бедняга добирался очень редко! И вот, ошалев от зубрежки, Трэсня звал меня выслушивать его: он, мол, кажется, уже все выучил. Я брал у него из рук книгу и задавал вопрос:

— Что такое грамматика, Трэсня?— А он, закрыв глаза, быстро гнул савил себе под нос, как нищий попрошайка у моста:

— Что такое румынская грамматика... румынская грамматика есть... есть... — и дальше, коверкая, по своему обыкновению, слова, произносил их без всякого смысла — просто плакать хотелось от досады...

— Да не так, Трэсня!

— А как же?

— Да брось ты это «румынское», говори только ответ, что тебе за дело вопроса?

Он прямо из кожи лез, чтобы правильно ответить, но все без толку: еще больше запутывался, тяжело вздыхал — просто хоть головой о стену бейся!

— Ох, дай мне малость передохнуть, — молил он, окончательно сбившись с . — А когда опять кликну — приходи проверять. Разрази меня гром, если я и тогда ничего не выучу! Ну, пускай я иных слов в толк не возьму: вот, к примеру, «грамматика» — ну и к чертям ее, «искусство» — тоже. А вот «румынская... есть... которая учит нас говорить и писать хорошо, на языке» — что за чертовщина! Слова как будто румынские. А ведь наверняка и здесь что-нибудь да кроется! «Говорить и писать хорошо на языке!» Вот так загвоздка: как же это так — «писать хорошо на языке»? может, «языком»? Вот ведь грех! Видно, мы, как ни говори, и писать-то пишем какими-то закорючками, а уж говорим — грехи наши тяжкие! — совсем из рук вон плохо. Не по-румынски, а по-мужицки. Боже ты мой, боже! Каким же ученым должен быть тот, кто составлял грамматику. Ну вот, смотрю я в грамматику и вижу, что стол — все-таки стол, а дом — дом, и вол — все-таки вол, точь-в-точь, как я слышал это от матери. Может, вся эта чертовщина: «выговор, наука, произношение, анализ, синтез, орфоэпия, орфография, сокращенные местоимения — мне, тебе, ему, ей, нам, вам, им и тому подобное» — взаправдашние румынские слова. А мы, простаки, и знать-то их не знаем! Счастье еще, что нас хоть не заставляют их петь, совсем беда была бы для наших несчастных голов! Нет, чем быть мужиком — лучше помереть! Ну, иди, Штефэнеску, а я примусь за зубрежку...

Оставив Трэсня зубрить, пошел я, всему свету назло, к поповне, застал ее одну-одинешеньку и миловался с ней спокойненько до самого вечера: матери-то у нее не было, а отец, как все попы, ходил по требам — собирал «подати».

Вернулся я на поле с ниткой бус, снятой с шеи девушки, с платком, расшитым шелками, да с полной пазухой домнештских яблок. И что же вы думаете? Трэсня, дубина этакий, спит себе на меже, уткнувшись носом в грамматику и не чувствуя даже холода. «Бедняга ты, бедняга, грош ломаный тебе цена, уж лучше бы родила тебя мать жеребенком, чтобы тебя сожрали волки!» — сказал я про себя.

— Слышь, Трэсня! Вставай! Выучил урок?

Вскочил он, стал я его спрашивать, а он — ни в зуб ногой!

— Пойдем домой, Трэсня, я продрог до костей, проголодался и умираю со скуки на этом поле!

— Я тоже. А ну ее к черту, эту грамматику, оскомину она мне набила... Да и неможется мне что-то.

— Небось, хворь с ленью пополам, Трэсня?

— В самую точку попал: верно — сердце болит и потянуться охота... или что-то вроде того...

— Может быть, грамматическая лихорадка?

— А может, и так... кто его знает, — сказал Трэсня. — Ведь, черт бы ее побрал, только возьмешь ее в руки, сейчас же в сон тебя клонит. И ведь такая белиберда никак не идет к церковным порядкам — это уж верно. «Осьмигласник» — тут уже совсем другой разговор. Недаром отец говаривал мне: «Псалом — деньги в дом, мой мальчик, а тропарь — зерно в амбар». И что мы мучаемся с грамматикой, Штефэнеску? Пошли!

Вернулись мы домой, на квартиру, к заходу солнца, поели, что попало, а затем попросили деда Бодрынга сыграть нам на дудке. Как повалила к нам вся бурсачня — здесь ведь было их стойбище. И пустились мы в пляс, знаете, как подобает в этом возрасте, и не заметили, как ночь прошла. Таким вот образом избавился я от скуки, а Трэсня — от грамматики, и во сне даже перестал бормотать, что «румынская... грамматика... есть... есть...», как бывало с ним до сих пор... Однако на этом веселье наше не кончилось: пошло другое, еще пуще прежнего. Не успел дед Бодрынга отнять дудку от губ, как вдруг видим, вваливается к нам поп Булига с улицы Бучумений, прозванный «Кочаном», причастившийся уже, прости его, господи, с самого раннего утра... И вот, благословляя нас по своей привычке обеими руками, как архиерей, успел он тут же закинуть мне словцо про дочку попа из Старых Фэлтичен: и то, что она, мол, девушка, каких мало, хорошая попадя из нее выйдет, и мне, мол, она очень подходит; и то, что отец ее навяжет мне ее на шею. Много еще всяких догадок и сплетен наплел бы этот болтун поп Булига, если бы Гытлан хитренько к нему не подъехал:

— Оставьте, оставьте, святой отче, пристало ли вашему преподобию заниматься такими выдумками, да еще на самые заговены! Сыграй-ка лучше нам, дед Бодрынга, еще разок, да что-нибудь позабористее, а батюшка по доброту своей нас простит!

Дед Бодрынга — рад стараться! — снова принялся играть, и пошли парни в пляс! Поп Булига — даром что старик, — как увидел, чем дело пахнет, заткнул полы рясы за пояс и говорит:

— Что до меня, то дай вам боже на всю жизнь, чада мои, веселья и доброго расположения!

Да как швырнет свою камилавку в сторону и пошел с нами в пляс — только кудри разлетаются. А мы как двинули вкруговую — и раз, и два, и три, — чуть душу из попа не вытрясли. И так мы его замучили, что он уж и не рад был, но, как говорится: «Влез в хоровод — так пляши». До того дошло, что бедный поп, сообразив, с какими шальными связался, стал выворачиваться, как винт:

— Меня ведь паства моя дожидается, дорогие чада. Живой или мертвой — я должен идти к ней, таков уж мой удел!

Павел, хозяин наш, поставил на стол перед батюшкой тарелку с сушеными фруктами и штоф вина и говорит:

— Пожалуйте, отче, отведайте закуску с нашего стола и выпейте стакан-другой винца, а тогда уж и пойдете, если у вас, как вы говорите, такое неотложное дело.

Его преподобие не стал ломаться, скрестил по обычаю руки, откашлялся и смиренно произнес:

— Благослови, господи, питье и еду рабов твоих, аминь!— Затем поднял стакан и провозгласил:— Кланяюсь вам, юноши, как зеленому лесу. Коли суждено вам плохое, пусть оно будет не хуже теперешнего, — и опрокинул стакан в глотку, за ним еще три-четыре, а за ними — еще столько же, потом, снова благословив нас обеими руками, заявил:— Ну, ну, пареньки, пора уж угомониться. — И, оставив нас, отправился восвояси, а мы, как говорится:

Что лекарства врача,
Что молитвы попа!
Погуляешь лишний час —
И захочешь жить опять.

Под вечер мы всем скопом, вместе с дедом Бодрынгой, ввалились в добрую корчму к дочери старосты из Рэдэшен, куда народ собирался не столько ради вина, сколько ради красивой шинкарочки. А была она, черт ее дери, страсть как хороша, да к тому же недавно вышла замуж за вдовца-старика, известного растяпу; у такого, как говорят, стоит на ночлег остановиться. Шинкарка, завидев нас, так и бросилась нам навстречу, отвела в сторонку, усадила в большой горнице с дощатым полом и ставнями на окнах, и остались мы там одни; шинкарка, правда, частенько к нам забегала, но на то ведь она и хозяйка.

В горнице в одном углу — несколько мер фасоли, в другом — конопляное семя, в третьем — целая гора домнештских яблок и рэдэшенских груш, что сохраняются до самой пасхи; в четвертом — горох и бобы, разделенные широкой доской, и тут же турецкие тыквы. В бочонке — сушеные груши, сладкие, как инжир; еще дальше — пучки конопли и льна; на одной балке — шерсть, и нечесаная, и крашенная в разные цвета для дорожек и ковров. Пакля, очесы от конопли и всякая всячина были разбросаны по всем полкам и углам, как полагалось по тому времени в добром хозяйстве.

Только расположились мы в этом благословенном обиталище, как шинкарка быстрехонько закрыла ставни, зажгла свечи и, не успели мы опомниться, как она уже тут как тут — с огромным глиняным кувшином вина из Одобешт. Разливает она вино по стаканам, а брызги так и подскакивают выше головы — до того вино это было крепкое. Гытлан, известный шутник, взял стакан, подает его хозяйке и говорит:

— Пожалуйста, отведайте-ка сперва вы, хозяйюшка. Посмотрим, не подмешали ли вы туда чего...

Красавица шинкарка, взяв стакан, отвесила поклон, пожелала всем нам здоровья, а у самой глаза так и смеются, и, пригубив чуть-чуть, попросила ее не задерживать: ждут ее другие гости, а муж один, мол, не справится. Да куда там! Загородив дорогу, мы стали уговаривать ее чокнуться с каждым. И посидела бы она с нами подольше, не спугни мы ее сами по глупости — уж очень старательно благодарили мы ее поцелуями.

— Эх, так вас растак, молодо-зелено, — сказал дед Бодрынга, который сидел, взгромоздясь на груду хвороста, и потихонечку жевал сушеные груши. — Но вы правильно действуете, мальчуганы, сейчас ваша пора.

— О чем речь, дедушка? — спросила шинкарка, появляясь с полной тарелкой горячих пирогов и жареной курицей. Все это она поставила на стол перед нами и, ей-богу, благое дело сотворила — мы были голодны, как волки.

Когда мы распили первый кувшин, нам поставили второй. А благодарили мы нашу шинкарку за все поцелуями, пока она, притворившись,

что сердится, не сбежала от нас. Потом она снова заходила и снова убегала — без этого ведь вина не продашь... Кто его знает, может, шинкарочке вовсе не так уж и скучно было с нами, потому она и заглядывала к нам так часто. Напоследок уродина Трэсня возьми да и влепи ей поцелуй. В таких делах почти каждый дурак разбирается. Ну, тут уж красавица шинкарка рассердилась не на шутку. Но что поделаешь, недаром говорится: «на чем поспорили — на том и помирились», иначе ничего не получится.

А там расходилось и у деда Бодрынга сердце, как заиграл он на дудке лихую Корэбьяску, ту, что откалывают, не сходя с места. Ну как тут было не пуститься в пляс! И до того мы разошлись, что дом стал нам тесен; точно слепые, скакали мы по фасоли, гороху и бобам; конопляное семя хрустело у нас под подошвами, превращаясь в масло.

За полночь, заметив, что дед Бодрынга куда-то исчез, начали и мы, один за одним, пробираться к себе на квартиру; вышел я с полной пазухой сухих груш и огромной тыквой, которую дала мне на прощанье шинкарка. Эта малютка была так же щедра, как и красива. И что же я увидел, вернувшись домой? Почти каждый из моих товарищей «прихватил» с собой кое-что: кто домнештских яблок, кто рэдэшенских груш, дед Бодрынга стащил охапку щепок на растопку, Трэсня — конопляного семени; Ошлобану в своих громадных сапожищах (на них и двух коровьих кож не хватило бы) явился позже всех. Не раздеваясь, бухнулся навзничь на кровать, задрал ноги до потолка... И что же вдруг мы увидели? — Больше меры фасоли, чтоб не соврать, высыпалось из голенищ, которые он обычно заворачивал, а тут расправил ради такого случая. Только двоюродный брат мой, Ион Могороджя, что пошел в своих честных родителей, не взял и ниточки. Захария же Гытлан удовольствовался поцелуями красавицы шинкарки. Большое это счастье для парня на чужбине, да еще в день заговен!

И вот тут-то я понял, что Гытлан, а по-школьному — Захария Симонеску, оказался умнее всех: мы-то с ним поделились тем, что принесли, а он своим счастьем — ни с кем!

Ну ладно, всякому овощу свое время; а теперь пора было понемногу браться за книги. Ведь не сегодня-завтра рождественские каникулы, а мы только зря переводим родительский хлеб. Без денег ничего не делается, а денег на улице не найдешь. У всех нас сообща к началу поста оставалось четыре-пять кувшинов подсолнечного масла, три-четыре мешка кукурузной муки, три-четыре ока соленой рыбы, чернослив, фасоль, горох, бобы, соль и запас дров на несколько недель; столовались мы все сообща, каждый готовил по очереди еду на всех из привезенных из дому продуктов. Но Ошлобану, который ел за десятерых, заставил нас призадуматься. Правда, у отца его — попа Никулая, было что присылать сыну, но «не сули журавля в небо, дай синицу в руки».

Если только есть у тебя верные товарищи — многое можно сделать без лишних слов. Советуюсь я однажды с Гытланом: нужно, мол, что-нибудь предпринять, чтобы избавиться от некоторых обжор, — такая компания, пожалуй, нам не подходит. И вот придумали мы, да такое, что лучше и не придумаешь: ночью, как только все заснул, мы приложим кому следует «письмецо» к пяткам. Иные из нас сразу же засыпали, как только дед Бодрынга заводил свои сказки. И вот, задумав такое дело, мы подкараулили, когда все ушли из дому, и заготовили «письма» про запас на будущее: склеили несколько листов бумаги растопленной на огне сальной свечкой. Потом мы «письма» эти прикладывали к пяткам спящего товарища и поджигали спичкой; самое что ни на есть невинное

занятие! А так как Ошлобану насолил нам больше всех, то с него-то мы и решили сделать почин. Как пробрал его огонь до самых костей, со-рвался он с койки, взревел, как бык, и начал метаться по комнате. Но виноватого как ему было найти? — а драться со всеми побоялся. Принялся он бить земные поклоны и проклинать всех нас так, что, казалось, изо рта у него вот-вот вылетит пламя. Однако, невзирая на все проклятия, мы в следующие же ночи поставили ему еще несколько «писем», так что пятки его превратились в сплошную рану: тут уж пришлось ему убрат-ся восвосяи в Хумулешты. Сытый учением по горло, он оставил свои мечты о поповском сане, а заодно — и все свои припасы у нас. Гытлан написал вдогонку Ошлобану письмо:

«Любезный Ошлобану!

Кланяюсь тебе от всей нашей голытьбы и желаю здоровья. Если тебе дома нечего есть — милости просим к нам, будем вместе поститься. Желаю тебе всего доброго.

Захария.

Старший начальник почты».

А через несколько дней мы у второго молодчика отбили охоту к поповству; это был новенький — Ника, сын Константина Косьмы, недавно перебравшийся к нам на квартиру из Хумулешт. Отправился и он с опухшими, обожженными пятками вслед за Ошлобану. Оно и лучше: все равно оба только зря время теряли. А Трэсня, хотя и тупой, да более упорный, терпел, пока мог, а когда увидел, что все равно дойдут его «письмами», съехал от нас на другую квартиру, забрав, однако, свои припасы. После этого у Павла-сапожника осталось нас только трое: я, Гытлан и мой двоюродный брат Ион, по прозвищу Могороджя, да еще дед Бодрынга. Брат мой, видя, какие мучения терпят другие из-за «писем», взял себе за правило каждый вечер, укладываясь спать, засовывать ноги в рукава кожуха, и почивал себе спокойненько. «Береженого и бог бережет».

К рождеству Павел изготовил Иону (с которым у него была дружба, водой не разольешь) пару юфтовых сапог. Два икусара¹ заплатил Могороджя Павлу за сапоги и, надо сказать, денег этих они стоили: сшиты были на совесть, из хорошего товара, с кожаными стельками. Скрипу вот только недодал им Павел, и это бог знает как огорчало Могороджю. На счастье, выпала снежная зима, и снег-то и подбавлял скрипу.

На каникулы мы уезжали домой, ведь есть же цыганская поговорка: «На рождество — и цыган сват». Свиные копченые ребрышки, всевозможные колбасы, колбаски с чесноком, сало, нарезанное тонкими ломтиками, — все, приготовленное по-домашнему, поджаренное на сковороде, так само и проскальзывало в горло с горячей мамалыжкой. Умеют крестьяне готовить всякую снедь, было бы только из чего! Хвала господу, родителям моим было чем угощать, ведь в те времена нищета еще не прибилась к вашему порогу.

Да, ничего не скажешь, отменно провели мы в том году праздники у родителей в Хумулештах и после Крещенья опять вернулись в Фэлтичены, к нашему хозяину Павлу.

В школу мы ходили только изредка, для порядка. По правде сказать, нам нечего там было делать, грамоте кто захочет — может учиться и дома; а кто не захочет — его счастье! И я был одним из этих счастливцев; если речь идет о вере, то к чему тут, собственно, учение? Вот дед Бо-

¹ Икусар, или ирмилик, — серебряная турецкая монета, имевшая хождение в Молдавии.

дрынга другое дело — у него было чему поучиться: дудка его, хочешь не хочешь, заставляла плясать, а сказки не давали спать по ночам. Вдобавок у нас, когда приходила охота, было на что убить время: играли в бобы или резались в карты, а иной раз болтали всю ночь напролет до самого белого дня. А в праздники разъезжали по селам, где, как мы знали, устраивались хороводы. В Рэдэшенах, большом, красивом и богатом селе, мы за день успевали поплясать в трех хороводах; один затевали парни постарше, зазывая к себе самых молоденьких девушек; второй заводили молодые парни и к ним валили девушки-перестарки; а третий — мальчишки, сюда уж сбегались все, кто хотел. И не думайте, что хоровод вертелся медленно, а парни плясали лишь бы плясать! Девушки не заставляли себя долго просить, как в других селлах, а каждая, по собственному выбору, разнимала руки двух парней, говорила «здравствуйте» — и танец шел своим чередом. Мой двоюродный брат, гордясь своими новыми сапогами, танцевал только рядом с дочерью старосты, сестрой красавицы шинкарки из Фэлтичен. И вот Гытлан, который плясал рядом со мною, шепнул мне на ухо:

— Ничего, увидишь, что я ему подстрою. Я не я буду, если он не запомнит сегодняшний день!

— Молчи, — говорю я, — не мели вздор, еще разозлится человек и уйдет от нас.

— Ну и пускай! Велика беда! Баба с возу — кобыле легче, — и мы продолжали плясать.

Вечером возвратились мы к себе на квартиру, и Могороджя, парень аккуратный, хорошенько почистив сапоги, поставил их, как всегда, сушить в сторонку, на припечек. И вот на третий день после этого сапоги его пошли рваться вдоль и поперек. Обозлился парень не на шутку и привязался к Павлу, требуя, чтобы тот сейчас же сшил ему вместо этих другие сапоги или обязательно вернул деньги.

— Ты поставил мне гнилой товар, портач ты этакий! — кричал Могороджя в ярости. — Такой-то ты друг! Подавай мне новые сапоги или деньги, а не то ославлю тебя на весь свет и швырну эти чоботы тебе в рожу! Понял?

Павел, не зная за собой никакой вины, сказал сердито:

— Слушай-ка, бурсак Могороджя, не болтал бы ты зря, тебе это не пристало. Кого это ты обзываешь портачом? Сколько ты времени трепал мои сапоги, шлялся в них целыми днями, топтал их на танцульках да по всем закоулкам и канавам, а теперь требуешь обратно деньги или новые сапоги?! Уж больно ты, братец, хитер! Осточертел ты мне: чуть не каждую ночь ставишь их на колодки да растягиваешь, да мажешь дегтем на печке, у меня под носом... А сколько раз ты прикладывал мне «письмецо» к пяткам? Я, как порядочный человек, молчал да терпел, — неблагодарная ты тварь после этого! Так знай, раз уж на то пошло, то и я тебе удружу!

— Что ты там мелешь, портач! — огрызнулся мой брат. — И ты еще смеешь меня ругать? Как будто кроме твоих чобот я никаких других не носил, бесстыжие твои глаза! Да еще нахальничаешь... Как двину тебе в рыло, так изувечу, посмотрим, как ты потом прокормишься.

— Пока ты меня изувечишь, — сказал Павел, — я тебя так разделаю, что любо-дорого! Понял?!

Увидали мы, что они вот-вот затеют драку, стали их уговаривать и кое-как помирили; сошлись на том, что Ион даст Павлу еще один ирмилик, а тот починит ему сапоги. После этого оба через силу пошутили, и все как будто пошло по-старому, однако Могороджя затаил обиду.

В мясоед приехал в Фэлтичен дядюшка Василе и вместе с прочей снейдью привез сыну трех освежеванных поросят.

— Добро пожаловать, батюшка, — сказал Ион, целуя ему руку, — разыскал, стало быть, нас?

— Рад видеть вас живыми-здоровыми, мальчуганы, — ответил дядюшка Василе, — недаром говорится: «Язык и слепого до Сучавы доведет». Так как же было мне к вам не попасть?

Слово за слово, дядюшка Василе и спрашивает:

— Эге, а что там ваш Мечет¹ толкует о вашем поповстве?

Скоро ли вас выпустят? А то, по правде сказать, надоело мне: столько хлопот да расходов!

— «Катихет» говорят, а не «Мечет», батюшка, — поправил его Ион, сгорая со стыда.

— Но-но-но, ваше преподобие! Как будто только одно это у меня на уме! А по мне что поп, что батька — все едино! Что языком-то треплешь! Как бы там его ни величали, Ион, знаю только, что он здорово дерет с нас шкуру, — ответил дядюшка Василе. — У попа ведь четыре глаза! Помолитесь бы вы лучше Николе-угоднику хумулештскому, может, он вам пособит и вы сподобитесь стать попами. Вот тогда и конец всем заботам: налогов платить вам не придется, повинностей отбывать не надо, посадят вас за столом на лучшее место, есть будете жареных кур да пироги. И, вдобавок, от православных денежки будут идти. Как говорится: «Что попу нужно? — Волчья глотка, конские копыта и кобылье брюхо...» Больше ему ничего и не требуется. Эх, хорошо, кабы нам достались другие духовные отцы, получше! Но вы, небось, слышали: «У папа рука, чтобы брать, а не давать». Он и живого и мертвого обдирает. Видите, как сыто живет Мечету, а он, небось, не гнет горб, как мы, грешные... Да, что поделаешь — не подмажешь, не поедешь...

— А я тебе, Ион, уже приглядел приход, — сказал дядюшка Василе перед отъездом. — Смотри, не ленись, скорее добивайся этого фистата и домой приезжай! Ведь Иоана, дочка Григораша Рошу, ждет не дождется тебя, чтобы стать попадьей. Будьте здоровы, Захария и племянник! Мне пора!

— Счастливого пути, дядюшка Василе, — говорили мы, провожая его, и просили передать нашим родителям, что мы живы-здоровы и крепко соскучились по ним.

Когда выпроводили мы дядюшку Василе, стал я просить Иона похорошему:

— Братец, давай-ка зажарим нынче вечером одного поросенка, страсть как хочется поросятины.

А Могороджя, этакий сквалыга и жадина, как примется орать:

— Эй вы, слушайте! Я вам не Ника Ошлобану, чтобы вы мною вертели, как вам вздумается! Чем вы меня потчевали, тем и я вас угощу. А поросенка не дам ни кусочка, хоть тресните!

— А что, коли не мы треснем, а тот, кто так говорит?! — отозвался Гытлан.

— Аминь! — бормочу я про себя.

— И от меня аминь, — добавляет Павел из-за печи.

— Аминь, не аминь, а насчет поросят утретесь! — отрезал Могороджя с досадой. — Поняли? Не все коту масленица... Отведайте жареного терпения, ничего вам не будет.

— Брось его! Пусть на том свете подавится своим поросенком! — сказал Захария.

И принялись мы, с божьей помощью, за зубрежку, а хотелось нам учиться, как собаке танцевать.

¹ Так иронически называли церковное начальство.

В печке были еще горячие уголья, и мы присыпали их золой, потому что на дворе стоял сильный мороз.

Дед Бодрынга, шут его знает, где путался в тот вечер, у Павла, против обыкновения, не было работы, и он спозаранку завалился спать; а Могороджа, засунув, как всегда, ноги в рукава кожуха, храпел вовсю, должно быть, ему снился будущий приход. Прямо по пословице: «Не тронь меня, и я тебя не трону».

Наконец погасили и мы свечу и стали укладываться. Но мысли о поросенке не давали нам спать.

— Слышь, Захария, нет ли у тебя где-нибудь «письмеца»? — спрашиваю я шепотом.

— Нет, б р а т , — отвечает Захария еще тише. — А жаль. Хорошо бы поставить одно Могородже! Но раз уж нет письмеца, то вот тебе ножик, подпори-ка потихоньку рукав у Могороджи да прижги ему как следует пятки спичками, теми, что подольше горят. Посмотрим, захочется ли ему тогда поросятины... Только смотри, поторапливайся.

— Давай ножик, — согласился я. — Но только, если что случится, не подведи меня, не давай в обиду.

— О чем говорить! — ответил Захария. — Валяй подпаливай и не сомневайся!

И вот... набрался я духу и сделал так, как посоветовал Гытлан. Тихонько распорол шов и приложил целую пачку зажженных спичек к пятке брата, там, где кожа потолще. Начал пробирать его огонь, заревел он во всю мочь, а я — спички в сторону — вмиг на койку, притулился за спиной Захарии — и давай оба храпеть, как будто уже бог знает с каких пор спим. А Ион, запутавшись в кожухе, свалился на пол, мечется, как змея, и проклиняет всех нас на чем свет стоит.

— Ой, ой! Покарай вас господь, мерзавцы вы этикие! Никому нет покоя в этом доме!.. Кто это мне подстроил? Захария и Ника, слышу, храпят, да они и не посмели бы... Не иначе, как этот мошенник Павел все натворил... Чтob его во сне утащили! Да еще притворяется, что спит, негодяй! А ну-ка проучу я его, покажу, как издеваться над человеком!

И недолго думая хватъ щипцами из огня головешку и с ней — на печь к Павлу. А тот, бедняга, спит, знать ничего не знает. Ткнул его Ион головешкой в грудь да еще приговаривает:

— Вот тебе! Будешь надо мной измываться, портач!

Павел взревел, как бык, да как двинет ногами в печь — та развалилась. Схватились они в потемках лицом к лицу, и началась потасовка... Стой да любуйся, если выдержит твое сердце!

— Разнимай их, Захария, не то до смертоубийства дело дойдет, а мы потом отвечаем! — завопил я, дрожа от страха.

— Эй! Да что это вы! — заорал Захария, кидаясь разнимать драчунов. — И это еще называется порядочный дом?

Я выскочил, плача, на улицу и принялся сзывать соседей. Люди сбегались со всех сторон, решив спросонья, что у нас пожар или, боже упаси, нас режут солдаты! В Фэлтиченах в то время стояли немецкие войска. Узнав, в чем дело, соседи быстро разошлись по домам, ругая нас на чем свет стоит. Если б вы видели, что за беспорядок, что за ужас творился у нас в доме: все перевернуто вверх дном, окна выбиты, печь разворочена, на полу — выдранные клочья волос, кровь. Павел с обожженной грудью, Ион с подпаленной пяткой, тяжело дыша, сидят в одном углу, мы с Захарией — в другом и удивляемся: с чего все это стряслось?.. А ни в чем не повинные поросята, висевшие на холоду в сенах, исчезли неизвестно как.

Наконец Захария прервал тишину:
— Спой-ка, Ион, им, безгрешным, «аллилуйя» да не оплакивай их так горько, видно, так им на роду было написано, малюткам!
— Будет языком трепать! — буркнул И о н . — Это вы все орали да ругались из-за них, вот и накликали беду.

Как раз на эти слова появился дед Бодрынга под хмельком да как примется креститься в дверях.

— Ну что, д е д , — спросил я, — хорошо мы здесь без тебя управились? Тут вдруг Павел, что сидел до сих пор, как немой, поглядел, что творится у него в хате, и говорит:

— Слушайте вы, бурсаки, убирайтесь-ка отсюда подобру-поздорову и оставьте меня в покое!

Мы, радуясь, что все обошлось, живо собрали свое добро и переселились напротив — к кузнецу вместе с нашим утешителем, дедом Бодрынгой.

Великим постом пошел среди бурсаков слух, что училище наше закроют и самых молодых из нас переведут в Соколу.

— Вот тебе и на! — сердился Тр э с н я . — Нам скоро кончать, и вдруг все прахом пошло. Как говорится, остались от жилетки рукава. И черт меня дернул забивать голову этой грамматикой. Лучше сидел бы дома: деньги, что мы здесь извели, пригодились бы отцу!

— А нам-то какво! — отозвались женатые бурсаки, вздыхая. — Мы вконец разорены. И золото, и овец, и ульи, и лошадей, и волов — как корова языком слизнула. Все подобрал батюшка катихет, начальник наш!

— Молчите, черти! — отозвался За х а р и я . — От денег все зло — и кончен разговор! Что вы прицепились к бедному катихету?.. Вам, ей-богу, не угодишь. Совсем как в поговорке: «Едем на возу! — Не хочу! — Едем на повозке! — Не хочу! — Едем на телеге! — Не хочу! — Идем пешком! — Не хочу». Уж лучше признайтесь, что вас, как воду в русло, тянет в родное село. А я вот рад, что так получилось. Поедем в Соколу, там нас напицают науками. Ведь там, я слышал, самые лучшие на свете учителя.

— В Соколу! — орали молодые бурсаки.

— Проваливайте! Скатертью дорожка! — кричали те, что постарше.

Вот так, незадолго до пасхи, разошлись мы в разные стороны. Решено было: кто захочет — поедет будущей осенью в Соколу. Случилось это в 1855 году.

IV

Как медведю неохота покидать свою берлогу, горцу — переселяться на равнину, младенцу — отрываться от материнской груди — так и мне не хотелось уезжать из Хумулешт осенью 1855 года в Соколу. Когда подошло время отъезда, начал я упрашивать матушку, чтобы оставили меня дома. Почему же мне так не хотелось уезжать из Хумулешт, сколько ни уговаривала меня матушка, уверяя, что это делается для моей же пользы? А потому не хотелось, что я, как на грех, был уже на возрастe — хоть сейчас женись! И Яссы, которых я и в глаза не видал, были не так близко от Нямцу, как Фэлтичены, откуда поздней осенью, а особенно зимой, когда ночи подлиннее, мог я иной раз, как отзвонят к вечерне, удрать к себе в Хумулешты. Ночью при луне носились мы с товарищами, что твои рысаки, с посиделок на посиделки, а после, наигравшись и наплясавшись, украв по поцелую у озорных девчонок, до рассвета выходили из села... и попевали к обеду в Фэлтичены; у Баи

приходилось пересекать вброд Молдову, замерзшую у берегов, и когда перебирались мы сначала туда, а потом обратно — кости ломило от холода! Но зато сердца у нас были горячие, и что, бывало, задумаем — то и сделаем. От Нямцу до Фэлтичен и от Фэлтичен до Нямцу для нас тогда было — рукой подать.

А тут, понятно, совсем другое дело: разве сравнишь короткий путь в два перегона от Фэлтичен до Нямцу с длинной и трудной дорогой в шесть перегонов от Ясс до Нямцу. Я и не думаю шутить: от Нямцу до Ясс столько же, сколько от Ясс до Нямцу, не больше и не меньше. «Лучше б тебе оставаться на месте, Ион, — размышлял я своей глупой башкой, — чем день и ночь хныкать и таять на глазах от тоски... уж я-то знаю, по ком».

Но, как говорится, «не по своей охоте медведь пляшет». Живой или мертвый, я должен был плясать под дудку матери и, против своей воли, уехать, оставляя все, что было мне так мило! А мило мне было наше село, с привольно бегущей Озаной, прозрачной, как хрусталь, в которой уже столько веков отражается суровая крепость Нямцу. Милы мне были отец и мать, братья и сестры, и сельские парнишки, товарищи детства, с которыми в морозные зимние деньки носился я по льду и катался на санках; а летом, под веселые праздники, бывало, мы со свистом, с песнями успевали исколесить тенистые рощи и веселые луга; мил мне был и пруд с его омутами, пажити и пашни, поля в цветах и горделивые холмы, из-за которых в пору моей озорной юности улыбалась мне заря! Так же милы были и вечеринки, и посиделки, и хороводы, и сельские праздники, в которых я с таким усердием принимал участие! Да будь ты хоть каменным, но как не встрепенуться от радости, когда, бывало, глубокой ночью услышишь Михая-скрипача из Хумулешт, что шатается по селу с ватагой парней и распевает:

Лист зеленый абрикоса!
Меж ветвей, в прохладных росах
Пел всю ночьку соловей
Голосом любви моей.
Пел он голосом печали
Так, что листья опадали,
Пел он песню сладкой муки
О безрадостной разлуке.
Охал, щелкал, горевал,
Мое сердце разрывал.

И чего-чего только не пел Михай-музыкант, чего только не наигрывал он на своей певучей скрипке!

А мало ли веселых вечеринок бывало у нас! Весь год был сплошным праздником! Как говорила одна старуха: «Дай боже, чтобы весь год был праздником, чтобы выпал в нем один будень, да и на тот чтобы пришлись поминки либо свадьба».

И вот — покидай, парень, родное село со всеми его радостями и красотами и отправляйся, если хватит духа, в чужие места, да еще в такую даль! Вот и старался я всюю уговорить матушку, стращал ее, что непременно заболēju с тоски по ней и умру на чужбине. Ведь вот двоюродный брат мой, Ион Могороджя, и Георге Трэсня, и Ника Ошлобану, и другие бросили учење — и ничего, живут себе спокойно на хлебах у родителей.

Напрасный труд! Матушка от своего не отступала. Заботливо собирала она меня в дальний путь, а спустя некоторое время сказала строго:

— Ион, не срами ты меня зря, не заводи со мной ссору. Ты поедешь, куда я велю, и Захария Гытлан поедет вместе с тобой; повезет вас Лука Мошнягу, наш сосед, на подводе; пара лошадей у него, как змеи. А ну-ка сбегай к нему, погляди, готов ли он к отъезду? Потому что завтра, с божьей помощью, ранехонько утром вы тронетесь в путь.

— Не поеду я, мама, в Соколу, хоть убей меня, не поеду, — твердил я, плача в три ручья. — Зачем мне попом становиться, живут люди и так.

— Будет тебе хныкать, Ион, — твердо сказала матушка. — Ничего этим не добьешься... А меня ты, кажется, хорошо знаешь... Не выводи меня из терпенья, а то как возьмусь за скалку да как проучу тебя, не погляжу, что ты такой здоровенный!.. — Тут она позвала отца и заявила ему: — Скажи-ка ты парню, что полагается, пусть выбросит дурь из головы и собирается в путь.

— Чего уж тут толковать? — нахмурившись, отозвался отец. — Он должен делать так, как мы решили, а не так, как ему вздумается, ведь покамест еще не своим умом живет. У меня и других забот хватает, бьешься, бьешься, только бы заработать на жизнь — деньги-то на деревьях не растут! А этим шестерым, что дома остаются, разве ничего не надобно? Он самый старший, значит — его счастье; его будем в люди выводить. Кто знает, что человека ждет. Может, и он когда-нибудь младшим поможет.

Увидел я, что родителей не переспоришь, и стал готовиться к отъезду, с грустью думая про себя: «Вот еще несчастье на мою голову! Наши-то деревенские попы не маялись по всяким Соколам, а вот бог им все-таки помогает. Пояс не сходится — такие пузатые! Или взять монахов: собрались дармоеды со всего света, сидят себе в монастыре, как в теплом гнезде, чего им еще надо? А я вон в скольких школах уже перебывал: и в Хумулештах, и в Броштенах, на горах, и в Нямцу, и в Фэлтичанах, и вот еще теперь в Соколу еду, и все ради того, чтобы стать каким-то там несчастным попом с попадьею и ребятишками... Уж больно много с меня требуют...»

Чуть было не сказал я матушке, что пойду в монахи, в Нямцу или в Секу. Грамоте я с грехом пополам научился и через несколько лет смогу стать экономом в каком-нибудь захолустном монастырьке. Накоплю себе деньжонок, как батюшка Кирилаш из Вынэтору-Нямцулуй, что здорово нажил на дровах. А тогда уж привесь, святой Иларие, флягу водки на бок, свежей икорки да другого соленького в карман, пистолет под рясю за пояс, клубок набекрень, в руку меч духовный¹, космы по ветру — и ступай себе бродить через Пичорул Рэу² и Кэраря Афуруситэ³ между Секу и верхней Агапией, где все лето слышится ангельский голосок, напевающий:

Ой, бежит в долине речка...
Здесь я, божия овечка!

А другой отзывается басом:

Гоп, и я в долине вашей,
Божьей милости барашек!

Дело в том, что я ненароком узнал кое-какие монашеские тайны, когда ходил в эти места с ребятами... по грибы; вот почему и разобрала меня охота идти в монахи...

¹ Имеется в виду монашеский посох.

² Злая нога.

³ Проклятая тропинка.

До чего только доводит человека благочестие!..

Да, кстати, чтобы не забыть: ночь перед отъездом я промаялся до самого рассвета, все придумывал, как бы уговорить матушку отдать меня в монастырь; и вот как раз когда я наконец решился ей об этом сказать, взошло солнце, предвещая погожий денек. Дед Лука, которого молдая жена поторопилась разбудить и спровадить в дорогу (он недавно женился второй раз), крикнул со двора:

— Готово? Поехали! Я жду — лошади запряжены.

Тут матушка стала меня торопить, и я так и не успел поговорить с ней про монастырь.

Собрались все родичи мои и Захария во двор к деду Луке. Поцеловали мы руки родителям, попрощались, а у самих глаза полны слез.

Грустные и заплаканные, — горе наше горькое! — уселись мы в телегу Луки Мошнягу. Возница наш стегнул кнутом лошадей и сказал своей жене, что закрывала за нами ворота:

— Олимпиада, приглядывай за той дырой!..

А сказал он так, наверное, потому, что свиньи, разломав в одном месте забор, повадились лазить к нему в огород, в кукурузу.

Было утро праздника усекновения главы Иоанна Крестителя, когда мы выезжали из Хумулешт.

Девушки и парни, веселые, по-праздничному разряженные, сновали туда-сюда по селу. Только мы с Захарией, съезжившись в телеге деда Луки, уезжали, как изгнанники, куда-то к черту на рога! Не знаю даже, как и сказать иначе.

— Прошу тебя, дед Лука, поезжай скорей, чтобы не глазело на нас все село, как на медведей, — сказал я с тоской.

Но Лука Мошнягу ехал, как мог. Одры его, отошавшие и костлявые, были в точности дохлые кошки, а не «змеи», как говорила матушка, которая не знала, как бы поскорее выпроводить меня из дому.

— Будь проклят тот, кому вздумалось упразднить духовное училище на нашу беду! — вздохнул Захария Гытлан, когда мы выбрались на большак. — Только и время погулять в наши молодые годы, а тут берись за ученье; будто у человека десять жизней! Так вот проштатаешься черт знает зачем из школы в школу, оглянешься на себя, а ты уж дряхлый немощный старикан, только и годишься, что в попы, каких выпускают из Соколы. А ты что скажешь, дед Лука?

— А что мне говорить, бурсак Захария, разве я знаю, какие у вас порядки? Я подрядился доставить вас куда велено, а там — дело ваше. Гей-гей, лошадки, шевелитесь! Поскорее бы нам домой вернуться!

Как услышали мы, с какой любовью вспоминает дед Лука о своем доме, как увидели, что село и родные места уже позади, а на смену им появляются новые, незнакомые, так нас и одолела тоска. Каждый колодец, речушку, долину, рощу провожали мы глубоким горестным вздохом.

И будь наша воля, мы бы тут же повернули обратно, если б не были отданы во власть деду Луке, если б не стыдились его и своих родителей.

После короткой остановки у моста в Тимишештах, на Молдове, мы отправились дальше, к Моцка, медленно-медленно поднимаясь в гору, проезжая через дремучий бор Пашканы. Отсюда, с вершины, мы, грешные, в последний раз с тоской оглянулись на горы Нямцу, вершины которых прятались в тучках. Там рождались быстрые ручьи, что уносят в своих струях кто знает сколько человеческих слез и страстей, чтобы утопить их в могучем Дунае.

— Ну вот, Захария, — сказал я, когда мы спустились в долину Паш-

к а н ы , — не видно уже наших гор. Попали мы с тобой на чужбину и бог знает, на какой срок.

— А уж это как нам на роду написано, — еле выговорил Захария.

Тут он опять задумался и всю дорогу до Блэжешт (на том берегу Серета), где мы остановились на ночлег, угрюмо молчал.

Горе это было, а не ночлег! Лежа на завалинке у одного колесника, мы чуть было не ослепли. С вечера и чуть ли не до рассвета, как в карантине, окуривали нас дымом горящего навоза, а комары все-таки кусали нас до волдырей.

— Такая уж здесь жизнь на равнине, — промолвил дед Лука. — Вода в Серете негодящая и дров-то в обрез. Летом задыхаешься от жары и комары тебя терзают без жалости, места себе не найдешь, вертишься, как грешник на сковородке. Боже меня упаси поселиться на равнине! То ли дело у нас: вода — сладкая, прозрачная, как хрусталь, холодная, как лед; дров — сколько хочешь, летом всюду тень да прохлада. Народ здоровый, сильный, храбрый и бодрый, не то что здесь, в долине — бледные заморыши, сморщенные, точно всю жизнь одними жареными сморчками кормятся.

— Смотрите-ка, дед Лука, — сказал немного погодя Захария. — «Воз» уже заходит, а «Утренняя звезда» скоро взойдет. Давай-ка отправимся в путь.

— Что верно, то верно, бурсак Захария, твоими устами глаголет истина. Чем вертеться тут на завалинке, двинемся лучше в путь. Быстрее обернемся. Бог милостив — сохранил нас от беды.

Попрошались мы с хозяином, который тоже спал на завалинке, и тронулись в путь. Только выехали на большак, как повстречали, на наше счастье, попутные подводы с дранкой, которые тоже направлялись в Яссы. Мы примкнули к ним, опасаясь бродивших тут грабителей из Ружиноаса, и покатили дальше — трюх-трюх. До рассвета добрались в Тыргу-Фрумос. Там разрезали несколько спелых арбузов и на время утолили жажду и голод.

Когда лошади отдохнули, мы отправились дальше, к Подул-Илоаей, а оттуда прямо в Яссы — больше пешком, чем в телеге, потому что «змеи» деда Луки совсем выбились из сил.

Встречные мужики, любители пошутить, то и дело задевали нас мимоходом, один — так, другой — этак, нас прямо стыд брал за деда Луку. К заходу солнца при въезде в Яссы, у рогатки Пэкурарь, какой-то чертов озорник совсем поднял нас насмех.

— Дедушка, гляди попридержи своих рысаков, не дай бог понесут вскачь, а Яссы велики, как бы, упаси бог, беды не натворили!

Только этого не хватало деду Луке! Но тут он не ударил лицом в грязь — проклятия и ругательства так и посыпались на голову обидчика:

— Скажи, пожалуйста! Да если б этот негодяй, чучело ходячее, знал, какой дальний путь мы проделали в эту ночь, небось, прикусил бы язык, не глумился б над моими лошадаками! Впервой я разве в Яссах, что меня этакие прощельги берутся учить, какого порядка держаться! Сто чертей его матери! Жаль, не остановился он, уж я бы ему показал, как издеваться над проезжими.

Видя, что нас высмеивают и что дед Лука совсем разошелся, мы сидели в телеге не шевелясь, накрывшись с головой попоной.

— Дедушка Лука, — шепнули мы ему, — как спросят тебя, почему, мол, лошади еле тянут, ты скажи, что везешь соль из Окны, увидишь, все тебе поверят.

— Вот как, и вы туда же?! Ох, знал бы я, что вы такие... — взорвался дед Лука, шагая рядом с лошадьми. — Не выводите лучше меня из

терпения, а то как огрею вас кнутовищем, проймет вас и через попону — света белого не взвидите!

Услыдав, что нас ожидает, мы притихли и давай подталкивать друг дружку да хихикать, а деду Луке ни слова.

Немало насмешек довелось выслушать деду Луке, поглумились над ним вдосталь чертовы прохожие! Наконец, поздно ночью, шажком, с ухаба на ухаб, добрались мы по яским улицам до выгона Соколы.

Остановились под большим тополем, где собралось уже множество бурсаков, съехавшихся из духовных училищ всех уездов Молдавии. Попадались среди них и молодые, но большинство было с длинными, как венники, бородами. Сидели они на траве вместе с родичами — духовные и светские попеременно — и судачили о своих делах и горестях.



ПРАВОУЧИТЕЛЬНЫЕ СКАЗКИ



ПЭКАЛЭ

Один купец, который ездил по селам и городам закупать пшеницу, кукурузу и другое, оказался однажды у моста и только собрался было перейти его, как увидел отдохавшего там человека. Это был Пэкалэ. Как всякий другой, наш купец решил кое о чем разузнать, подошел к нему и спрашивает:

— Откуда ты, добрый человек?

— Да вот, из нашего с е л а , — отвечает Пэкалэ.

— Из какого такого вашего села?

— А вот как раз из того, что на том берегу , — и показал купцу рукой на какую-то гору.

— Хорошо, но что это за село? Не знаю я его.

— Ну! Как так не знаешь! Это наше село, и я как раз оттуда и иду.

— Я не про то, дурачок. Я спрашиваю: на чьей земле село-то и как его окрестили?

— Господи! Иль ты не знаешь, что земли барские, а эта земля барина нашего, что в Бухаресте живет. Село же поп из ведерка крестил водой, как в его книгах писано.

Купец, внимательно посмотрев на него, сказал про себя: Э-ге!.. Да ведь это Пэкалэ!

— А тебя как зовут?

— Нашел тоже, что спрашивать! Зовут, как всех: поди сюда!

Купец перекрестился, словно перед ним был сам нечистый, и опять спрашивает:

— А с зовуткой вместе как зовут тебя?

— А вот так: эй, ты, поди сюда! — отвечает Пэкалэ.

Тогда купец засмеялся и говорит: «Ну и дурак!» И еще его спрашивает:

— А чем вы там кормитесь?

— Все больше мамалыгу с мамалыгой едим.

— Пойми меня, дурак, я не про блюда тебя спрашиваю.

— А о какой же кормежке ты говоришь?

— Я спрашиваю, уродились ли у вас пшеница, ячмень и другое.

— Уродились, по п о я с , — ответил Пэкалэ.

— Да я не о высоте тебя спрашиваю, мне не солома для волов нужна. Мне знать нужно, какой у вас ячмень.

— Сейчас скажу, коли не знаешь , — говорит Пэкалэ. — Ячменное зерно длиненькое, в желтоватой рубашке и с усиками на кончике.

— Вот уж это-то я знаю; скажи-ка мне, как его продают, потому что хотел бы и я купить.

— Пхе! Не знаете, как? Один дает пшеницу или ячмень, а другой — деньги: червонцы, империалы или какие другие.

— И этого ты не понимаешь! Я тебя спрашиваю: как продают.

— Ну и ну! И такого пустяка не знаешь. Послушай, вот я тебе растолкую: берешь баницу или меру, зачерпываешь зерно доверху, потом ло-

паткой ровняешь и сыпаешь в мешок. И опять сначала, зачерпываешь и все сначала.

— Да не про это я спрашиваю, безмозглая ты голова!

— А про что? — говорит Пэкалэ.

— Почему килограмм или баница, за сколько лей отдаете?

— А как договоришься: сколько заплатишь, столько и возьмешь.

Рассерженный купец спрашивает опять:

— А там в селе еще есть болваны вроде тебя?

— Ого! Дядя Мушат, дядя Стан, Нягу, Войку, Флоаря, Соаре, дяденька Бран, Коман и еще...

— Хватит, мэй! А кто у вас в селе выше всех?

— Кто выше всех? Дяденька Кицу. Самый высокий. Он такой длинный, еле рукой до плеча дотянешься.

— Ну и глупое ты животное!.. Не про то я тебя спрашиваю.

— А про что? — сказал Пэкалэ.

— Я говорю: кого слушаете вы в селе?

— Ага! Вот оно что! Слушаем мош Брана-лэутара. Как заиграет, все село только уши да глаза.

— Не про то говорю, остолоп! Хоть разок ответь на вопрос.

— Да на какой?

— Кого в селе вы больше всех боитесь?

— Караул, матушки! Да поповского бугая, очень уж мы его боимся, батюшки! Как идет он вечером с пастбища, бежим кто куда. Такой страшный, ровно бешеный, как начнет реветь, даже дети путаются.

— М-да!.. Что ты за отродье такое? Ты часом не какой-нибудь злой дух, сродни с лесным страшилищем?

— Ой, господи! Зачем спрашивать, когда ты меня видишь. Что? Разве я не такой же человек, как ты: голова, глаза, рот, нос, руки, ноги, я двигаюсь, смотрю на других.

— Таким я тебя и вижу, но разум и понимание у тебя, что у скотины. Скажи-ка, есть у вас в селе бондарь или бочар?

— Есть, как же.

— Вот пять монет, сходи, пускай он тебе недостающие клепки вставит.

Глупость от рождения не знает исцеления, не помогут хвори этой ни ученье, ни лечение.



ЛЕН И СОРОЧКА

Л е н : — Знаешь ли ты, сорочка милая, какой ты была когда-то?

— Какой была? Такой, как видишь: белой сорочкой, в которую люди одеваются.

— Неверно! Была ты семечком, потом травкой на ветру, как и всякая травка: высоконькая, тоненькая, точно такая, как я, — льном ты была с голубым цветочком, доченька. Когда же лен вырос и созрел, как я сейчас, люди выдернули тебя из земли, связали в снопики, поставили на солнце — знай сушись. А потом положили на рядно и давай колотить палками — семена из тебя выколачивать. Таким битым-перебитым отнесли тебя на пруд и погрузили в воду, где и держали десять дней, пока не размякла и не загнила твоя треста. После этого тебя вытащили и опять на солнышке сохнуть оставили, уперев в забор, на котором ты теперь висишь. А как лен просох, ну тебя мять, пока треста твоя не превратилась в кострику, а кожаца — в кудель. Женщины распутали тебя, прошлись щетками и стал ты, лен, красивой куделью, мягкой, как шелк, кудель привязали к прялке и начали прясть, превращая тебя в пряжу или нить. Пряжу расчесали на гребешке, выварили в щелоке, отбелили, а потом надели на вертелку и стали сматывать в мотки. Чтобы мотки были основой, их намотали на задний вал стана, прокладывая слои прутиками, дабы не перепуталась основа. После этого пропустили через ремизку и бёрдо, закрепили, а потом при помощи замка и лопатки натянули на передний вал, где и завязали концы ниток основы. Пряжу, оставленную на уток, намотали на шпули, а шпули уложили в челноки и принялись ткать, то есть пропускать уток через основу с помощью ножного привода, блоков и ремизок. А чтобы нить ложилась плотно, ее сбивали батанами, между которыми находится бёрдо. И вот так тебя превратили в полотно. Когда на дворе стояла хорошая теплая погода, женщины отнесли тебя на пруд отбеливать, отмачивать, потом поварили со щелоком, пока ты не побелела. А когда ты стала белой-белой, тебя свернули, раскроили и сделали то, чем ты являешься сейчас.

— Маленькое растение, не знаю, откуда ты это все про меня выдумало?

— Ну, милая, тебе, должно, неизвестно, что люди еще делают полотно из сестренки нашей — конопля, из братца нашего — хлопка, и даже из жгучей крапивы ткют мешковину. А на фабриках ткют различные ткани куда легче и быстрее.

— Бре! Чего не наслышишься!

— Погоди, я еще не закончил. Из сорочки или белья ты вскоре превратишься в ветошь, из которой делают корпию для больных и для раненных в сражении солдат. А помимо того, тебя днем с огнем ищут, чтобы изготовить из тебя на фабрике бумагу.

— Большие чудеса поведала ты мне, милая травка, — сказала сорочка. — Коли это так, то все вещи не такие, какими мы их видим. Зна-

чит, чем-то другим были они когда-то, иными стали теперь и совсем иными будут потом.

— Твоя правда, сестрица! Забор, на котором тебя вывесили, когда-то был лесом. А чем станет он потом? Шелком, листьями шелковицы в брюхе шелкового червя. А чем была прежде извьсть? А веревки и канаты? И так далее.

— Про ленивых крестьянок есть такая песенка:

Принялась я ткать весной,
А закончила зимой.
Вроде очень торопилась —
Холста много получилось:
С гулькин нос — в длину,
Весь в дырах — в ширину.
Сотня дырок позади,
Черт считал их — впереди.

(Народное стихотворение).



ИГЛА И МОЛОТ

Игла: — Дяденька, с чего это ты такой бузотер? Без конца грызешься с сестрой своей наковальней, кричите, галдите — ушам больно. А я тружусь день-деньской, и никто от меня слова не услышит.

— Во как!.. И откуда ты, дурочка такая, взялась?

— Где была, там уж меня нет. Я же говорю: нехорошо ты поступаешь.

— Ну вот, как говорится, яйца курицу учат. А тебе бы следовало знать, что ты-то из нашей ссоры родилась. А еще к нам же и придираешься?

— Прошу прощения, но не будь огня, мехов, присадки и человека, который сотворил вас и дал вам имя, вы так бы и остались навсегда ржаветь в недрах земли.

— Думай, что говоришь! Ты послушай только, сестрица-наковальня, как эта иголочка нас высмеивает.

— И слышу, и вижу, да что толку, языка-то у меня нет, чтобы ответить. Приходится терпеть.

— Знаешь, как говорится, сестричка: «Смеялись черепки над кувшином». Ну-ка, козявка, поглядим, что ты такое больше нас сделала?

— Что сделала и что делаю — сейчас узнаете. Ну, чтобы долго не рассказывать, — мужские и женские одежды, с головы до ног, и бесчисленные другие красивые и дорогие вещи без меня не делаются. Идешь ли к портному, заходишь ли в хижину или во дворец, — всюду увидишь меня. Девушки кладут нас в золоченые коробочки, втыкают в шелковые подушечки, заботятся о нас, как об очень важном предмете.

— А в стог сена тебе бы не хотелось оказаться, крошка?

— Не в стог сена, но и не заброшенной, как ты, в каком-то углу кузницы. Скажи-ка: кроме кузнеца, кто тебя еще берет в руки?

— Послушай, малышка, это уже слишком! Ежели ты в чести и все о тебе заботятся, почему же, в таком случае, ты им пальцы колешь?

— Да, покалываю, но только сонным ротозеям, потому как хочу, чтобы с моей помощью из их рук выходили полезные и красивые вещи. Ты-то почему лупишь по лежащему на наковальне железу, такому же ржавому, как и сам? Не для того ли, чтоб из него получились хорошие и красивые вещи?

— Мэй... Ну и мастерица же ты говорить!

— И говорить, и трудиться.

— Ну, ладно, наговорила здесь с три короба. Дай-ка и я скажу про себя: топор, тесло, молоток, клещи, кочерга и бесчисленные инструменты и машины железные, одни величины громадной, другие маленькие и немощные, как ты, разве они существовали бы без меня и наковальни? Дом, церкви, корабль, ружья, пушки и множество других предметов, видали бы их, не будь меня? Ты мне про красивые одежды, а я тебе про дома, про лопаты и серпы, косы и плуги. Ты мне все больше о красивости говоришь, а я тебе — о необходимом.

— Вот вынуждаешь ты меня, дедушка Молот, опять взяться за тебя. Людям сперва понадобились одежды, иначе ходить им нагим и босым, как гуси.

— Ну и запуталась ты, малышка. Еда и жилище — вот что перво-наперво потребовалось человеку, а потом уж, как ты говоришь, красивые одежды. С бельишком твоим кишки марш играют. Как говорится, нищета обступает, а голод прет напролом.

— Ну, и ржавый же ты!

— Какой есть, но я вас сотворил, и вы должны слушаться моих советов.

— Что верно, то верно, но не слишком ли ты расхвастался; пускай лучше тебя другие хвалят. И ты, и я делаем полезное дело, только ты все больше из-под топора, а я что понежнее; ты знаешься только с чумазым кузнецом, я же имею дело с портным и разными другими важными лицами.

— Опять заладила, хвастливая и болтливая коротышка! Твой портной должен сделать десять стежков, пока мой кузнец разочек мною махнет. Иной раз твой портной за день десяток иголок сломает, а я у кузнеца один на всю жизнь. Более того, он может оставить меня в наследство детям детей своих. И еще: кто из этих мастеров хилее и горбатеe?

— Дяденька! Ты стар и многое знаешь. Будь по-твоему.

— Ладно, малышка! Это уже другой разговор. Скажи лучше, что это мы принесли миру промышленность и ремесла, что великие богатства нами создаются. Ты назвала меня ржавым, а себя обтесанной; я рад, что мои правнуки будут обтесанней меня; со временем все обтесывается... Только не хвастайте и не забываюте, откуда вы, чтобы не перестарались, обтесывая вас, не то окажетесь вы беззубыми, безязыкими, глухими и никуда не годными. Потому как тогда снова понадоблюсь я, и сестрица моя наковальня взвалит вас на спину, а я стану колотить всех подряд, чтоб вы ума поднабрались.



КАК ЛИСА МЕДВЕДЯ ОДУРАЧИЛА

Жила-была лиса, хитрая, как все лисы. Ночку целую бродила она в поисках пропитания и так ничего и не нашла. А как наступил ясный день, вышла лиса на дорогу, легла под куст и задумалась — что бы ей такое сотворить, дабы раздобыть съестного.

Лежа так, мордой на лапах, учуяла вдруг лиса рыбный дух. Тут она чуть приподняла голову и, глянув вниз вдоль дороги, увидела приближающуюся подводу, которую тащила пара волов.

— Прекрасно! — подумала лиса. — Вот и пропитание, которое я ждала. — И тут же выползает из-под куста и растягивается посреди дороги, будто мертвая.

Вот подводка приблизилась к лисе, мужик, погонявший волов, увидел ее и, решив, что она взаправду дохлая, крикнул на волов: «Ахо, ахо!» Волы стали. Подошел мужик к лисице, посмотрел на нее, увидел, что она не дышит, и молвил: «Бре! Какого черта лиса подохла именно здесь?! Тю!.. Ну, и красивую же кацавейку сошью я жене из шкуры этой лисицы. Сказав это, схватил он лису за загривок, поволок к возу и, поднатужившись, кинул на рыбу. А потом прикрикнул на волов: «Хэйс, Жоян, ча, Боурян!» Волы тронулись.

Шагал и шагал мужик рядом с волами и все понукал их побыстрее двигаться, чтоб скорее до дому добраться и шкуру с лисы содрать.

Однако же как только волы тронулись, лиса тут же принялась скидывать лапами рыбу с подводки. Мужик погонял, воз скрипел, а рыба все падала да падала.

Когда воронка-лиса накидала на дорогу достаточно рыбин, прыг — соскочила она и торопливо принялась собирать рыбу. А собрав в кучу, перетаскала рыбу в свою нору и давай уплетать — очень уж она была голодная.

Но только приступила к завтраку, как является к ней медведь.

— Хлеб-соль, кума! Тю!!! Никак у тебя рыбка! Угости и меня. Страсть как есть хочется.

— Перебьешься, куманек, потому что не на дядьку я трудилась. А ежели тебе так невтерпеж, поди-ка и ты помочи хвост в пруде. Будет и у тебя рыбка на закуску.

— Научи, кума, будь доброй, я-то не знаю, как рыба ловится.

Ослабилась тогда лиса и говорит:

— Эге, куманек, разве ты не знаешь, что нужда замучит, а всему научит. Послушай, куманек, хочешь поесть рыбки, сходи вечером к пруду, что на краю леса, хвост в воду опусти и посиди так на месте, не двигаясь, до самого утра, а тогда рвани побыстрее к берегу и вытащишь целую кучу рыбы, может, вдвое, а то и втрое больше, нежели я.

Не говоря ни слова, кинулся медведь к пруду, что на краю леса, и сунул хвост в воду...

А в ту ночь подул такой холодный ветер, что язык примерзал к небу, и даже зола под огнем и та застывала. Камнем замерзла и вода в пруду.

И как прихватит медвежий хвост, будто клещами какими. Терпел-терпел медведь боль и холод, а когда стало немого, рванул что было силы. И бедняга Топтыгин не только рыбы не добыл, но и хвоста лишился.

Стал он тогда грозно рычать, от боли подпрыгивать и обозленный на лису за то, что она обдурила его, решил побить ее до смерти. Но хитрюга лиса знает, как уйти от медвежьего гнева. Вылезает она из своей норы, забирается на ближайшее дерево, в самое дупло, и как завидит бесхвостого медведя, принимается кричать.

— Гей, куманек! То ли рыба объела у тебя хвост, то ли ты пожадничал и не иначе, как всю рыбу в пруду извести задумал?

Видит, что над ним к тому же еще и издеваются, медведь пуще прежнего озлился и кинулся к дереву. Но вход в дупло был такой узкий, что медведю никак в него не забраться. Нашел он тогда ветку с сучком и принялся ковырять ею в дупле, чтобы выкурить оттуда лису и выдать ей сполна... Но как только медведь зацепит лису за ногу, она и закричит: «Тяни, болван, сколько влезет! За дерево тянешь». А как сучок зацепится за дерево, она орет: «Караул, куманек, не тяни, ногу ломаешь!» Напрасно старался медведь до седьмого пота, все равно не удалось ему лису из дупла выковырять. Так и остался медведь с носом, одураченный лисой.



ФЭТ-ФРУМОС, СЫН КОБЫЛИЦЫ

Жил, говорят, когда-то мужик, и была у него кобыла. Вот стал он однажды свою кобылу в стойло загонять, а она — ни в какую. Не идет, да и все тут! Разозлился хозяин, принялся ее колотить. Тогда кобыла через тесовый забор перепрыгнула и в дальний лес убежала. А была она жеребой и к утру родила. Только не жеребенка, а ребенка.

Назвали мальчика Фэт-Фрумос, Сын кобылицы. И был он совсем не таким, как другие мальчишки в тех краях. Очень был красивым и рос как на дрожжах. На сколько он за день вырастал, другим целый год требовался.

А когда ему год исполнился, решил он, что достаточно вырос, чтобы витязем стать. Пошел в лес и облюбовал там себе мощный дуб. Попытался тот дуб из земли выдернуть, да не смог. Понял он тогда, что силенок еще маловато, вернулся грустный к матушке и попросил, чтобы позволила она ему еще годок молоко из вымени сосать.

Позволила кобылица. Сосал он вымя целый год, а потом опять в лес пошел, к тому самому дубу. Обхватил его руками, вырвал из земли, как травинку, и забросил в чащу лесную, словно лучину малую.

Вернулся к кобылице и говорит:

— Матушка! Отныне буду я искать себе товарищей по нраву, ибо хочу дела славные совершить да свет удивить!

Сказал так и в путь отправился.

Вот идет он через лес и жажда его мучит — от жары да от усталости. А воды нигде найти не может.

Бродил он, бродил туда-сюда, пока не набрел на ручей с мутной-премутной водой.

Что за напасть? При такой жаре вода пополам с илом течет! — сказал он сам себе и пошел вдоль ручья, вверх по течению — узнать, почему вода замутилась. Шел, шел и увидел: отламывает какой-то человек куски от горы, в порошок руками перетирает и в ручей бросает. Понял Фэт-Фрумос, что человек этот и мутит воду. Поближе подошел да как гаркнет:

— Эй! Это что за шутки? Ты зачем гору рушишь, воду мутишь?

— Чего орешь?.. Кто ты такой? Я тут своим делом занимаюсь... Не знаешь разве, что зовут меня Камнедав?! Еще раз пикнешь — и тебя в порошок сотру!..

— Меня? Ты, видать, про меня еще не слыхал! Я — Фэт-Фрумос, Сын кобылицы!

— Ни про кобылу не слыхал ничего, ни про сына кобыльего! — ответил Камнедав и усмехнулся в усы.

— Так ты еще насмехаться надо мной?! Ну погоди! Сейчас ты у меня по-жеребьячи засмеешься!.. Выходи-ка, брат, на бой! Я тебе покажу, кто такой Сын кобылицы!..

— Охотно!.. А мы как — бороться будем или на саблях рубиться?

— Бороться! Так справедливее!.. — ответил Сын кобылицы.

Налетел на него Камнедав, схватил и по колени в землю вбил. Вылез Фэт-Фрумос, обхватил Камнедава, а когда они борются начали, вдруг поднял его и вбил в землю по пояс.

Вылез Камнедав злой-презлой, изловчился, схватил Фэт-Фрумосу, швырнул и вколотил в землю аж до подмышек.

Выкарабкался разъяренный Фэт-Фрумос, схватился еще раз с Камнедавом, вогнал его в землю по самую шею, обнажил быстро меч и собрался было голову ему рубить, но Камнедав, увидев, какая над ним беда нависла, запросил пощады и сказал, что хочет стать Фэт-Фрумосу братом названным и все его приказания послушно выполнять будет.

Простил Фэт-Фрумос Камнедава, из земли вытащил, дал ему меч поцеловать в знак побратимства.

Дальше они уже вместе пошли.

Несколько дней шли они лесом по тем местам, где Фэт-Фрумос уже проходил.

И вдруг видит он: деревья, что раньше справа налево гнулись, гнутся теперь слева направо, а те, что гнулись слева направо, теперь гнутся справа налево!

— Смотри-ка, — говорит он Камнедаву. — Кой черт тут побывал, все деревья поразгибал? Те, что справа налево были выгнуты, гнутся теперь слева направо, а другие — наоборот!

— Что за чудище могло натворить такое? — воскликнул Камнедав.

Идут они дальше, смотрят на деревья и диву даются. И вдруг видят: какой-то человек схватил за самую верхушку огромное дерево и стал его сгибать, словно собирался крюк сделать, на каком котел над костром вешают.

— Эй ты! Зачем деревья калечишь? — спросил его Фэт-Фрумос зычным голосом.

— А ты кто такой? Это мое ремесло!.. Не знаешь разве, что меня Древолом зовут? Только пикни еще — я и тебе шею сломаю!..

— Что ты сказал?! Мне шею сломаешь?! Видать, не слыхал ты еще о Фэт-Фрумосе, Сыне кобылицы!..

— Не слыхал о таком и слышать не желаю! — разозлился Древолом.

— Коли не слыхал — тогда выходи на бой! Я так сделаю, что услышишь!..

— Охотно! Я только и ждал, с кем бы побиться!.. А как мы будем — бороться или на саблях рубиться?

— Бороться! Оно справедливее!..

Схватил тогда Древолом Фэт-Фрумосу, приподнял и вбил в землю по щиколотки.

Высвободился Фэт-Фрумос из земли, сгреб Древолома и по колени в землю вбил.

Вылез разъяренный Древолом, набросился на Фэт-Фрумосу, схватил и вбил в землю по пояс.

Тут и Фэт-Фрумос рассвирепел. Схватил Древолома и так трахнул, что тот по самую шею в землю ушел. Тут же выхватил Сын кобылицы меч — голову рубить.

Видя смерть неминуемую, взмолился Древолом, пощады запросил. Сказал, что тоже хочет Фэт-Фрумосу побратимом быть, во всем его слушаться.

И пошли они втроем к матушке Фэт-Фрумосу, к кобылице.

— Матушка, — сказал Фэт-Фрумос, когда они пришли. — Отныне не тревожься за меня. Нашел я себе товарищей и пойду по белу свету. Вот возьми платок шелковый. Как увидишь на нем три пятна кровяных, знай — смерть за мной пришла. Иди тогда меня искать!

И с этими словами ушел он и побратимов увел.

Снова шли они. Через леса безлюдные, через кодры холмистые. Дни и ночи шли.

Долго шли, коротко ли, только набрали они на дворец. Большой-пребольшой, прекрасный-распрекрасный. Вошли во дворец и никого там не увидели. Лишь стол стоял накрытый, всякими яствами уставленный. Голодны они были до смерти и сразу за еду принялись. Кушанья были одно вкуснее другого. Но кто готовил их — неведомо. Ведь во дворец-то, как уже сказано было, никого они не видели.

Наелись побратимы досыта и на охоту отправились. А потом так и повелось: приходили домой обедать и снова на охоту шли.

Прошло, однако, какое-то время, и стали они замечать, что еда уже не такой вкусной стала, какой раньше была, и задумались — с чего бы это?

Думали они, думали, и вот Фэт-Фрумос говорит:

— Сдается мне, братья, что-то тут неладно. Все кушанья недоварены, недожарены. Оставайся-ка, Древолом, дома и погляди, в чем дело. Завтра мы с Камнедавом на охоту пойдем, а вернемся — ты нам отчет дашь.

И когда ушли они, Древолом в щепку обратился и под лавку закатился.

Немного времени прошло, видит он, как открывается дверь и входит уродец: сам с ноготок, борода с локоток, голова с орех, глаза, как плоски, руки, как веретена, ноги, как сваи под амбаром, а зад плоский, как ток для молотьбы.

Это был ужасный дракон. Его так и звали: Сам с ноготок, Борода с локоток!

Едва войдя в горницу, схватил он топор, направился к щепке, что под лавку закатилась, исколотил ее крепко-накрепко обухом, за стол уселся, все, что там было, мигом слизнул и ушел по своим делам.

Не успел дракон через порог шагнуть, спустились с чердака через ход потайной три феи — одна другой прекраснее.

На скорую руку приготовили они новые кушанья, на стол поставили и с глаз исчезли.

Избитый Древолом видел из-под лавки, что в горнице деется, но вылезти побоялся.

А вскоре Фэт-Фрумос с Камнедавом с охоты вернулись. Вошли в дом и сразу закричали:

— Эй, Древолом! Где ты?!

— Тут я, — простонал из-под лавки избитый Древолом.

Вылез и пересказал все, как было.

Увидел Фэт-Фрумос, что ничего не смог сделать Древолом, и решил оставить в засаде Камнедава, а самому с Древоломом на охоту пойти.

Когда ушли они, Камнедав камушком обернулся и под лавку закатился.

Спустя немного времени открылась дверь и уродец — Сам с ноготок, Борода с локоток — тут как тут. Схватил топор, подошел к камушку и давай его обухом охаживать!.. Потом сел за стол, за еду принялся. Наелся до отвала и пошел по своим делам.

Вот и феи с чердака спустились. Приготовили на скорую руку новые кушанья, на стол поставили и снова невидимыми сделались.

Вернулись Фэт-Фрумос и Древолом с охоты, а на Камнедаве живого места нет! Спросили, что он видел. Ничего Камнедав не добавил к тому, что Древолом рассказывал.

— Эх вы! Никуда-то вы не годитесь! Понапрасну только силой хвастаетесь — деревья гнете да камни давите. А сами не сумели с каким-то

уродцем справиться да фей изловить! Теперь останусь-ка я дома, а вы на охоту ступайте! Посмотрите, что будет!..

Два побратима на охоту отправились, а Фэт-Фрумос в меч оборотился и сам себя на гвоздь за дверью повесил.

Не прошло много времени, и пришел Сам с ноготок, Борода с локоток. Злой-презлой. Лишь только вошел он в дверь, Фэт-Фрумос с гвоздя спрыгнул, схватил его за бороду, из дома выволок, к большому дереву подтащил, ствол мечом расщепил, в расщеп драконову бороду засунул, меч из ствола вынул и оказалась борода в стволе зажатой!

Потом вернулся Фэт-Фрумос в дом и через потайной ход на чердак поднялся. Завидели его феи, попытались убежать, да не тут-то было! Быстрее молнии оказался возле них Фэт-Фрумос и всех изловил.

Вот и побратимы его пришли.

— Эй, братья! — сказал Фэт-Фрумос. — Поглядите сперва, кто нам кушанья готовил, а потом и того увидите, кто кушанья поедал!

Сели все за стол. Угостились без помех, на славу и направились к тому дереву. Подошли, а дерева-то и нет! Из земли с корнем вырвано. Огляделись вокруг, и увидел Фэт-Фрумос: летит чертяка по воздуху и на бороде дерево несет!

— Эй, брось эти штучки! — крикнул разгневанный Фэт-Фрумос. — Не то доберусь я до тебя!..

— Ровно через год у Пасти адовой встретимся! — крикнул в ответ дракон по прозванью Сам с ноготок, Борода с локоток и исчез из виду.

Взял Фэт-Фрумос в жены младшую фею — самую красивую. Камнедав — среднюю, а старшая Древолому досталась.

Через неделю после общей их свадьбы Фэт-Фрумос с побратимами на охоте были. А во дворец пришли три сына дракона, чье прозвание Сам с ноготок, Борода с локоток. Похватали драконовы отпрыски фей, в невидимок превратили, утащили и в жены взяли.

Вернулись с охоты побратимы, а фей как не бывало. Никак не поймут, куда их жены подевались.

Ждали-ждали — не пришли жены. Стали их искать повсюду — нигде не нашли.

Задумались они. И вдруг Фэт-Фрумоса осенило — не иначе, как драконовы это проделки!

И порешил тогда Фэт-Фрумос во что бы то ни стало дойти до Пасти адовой и встретиться там с драконом.

Взял он с собой товарищей своих и в путь отправился.

Шли они тропами путаными, нехоженными, через девять морей-океанов прошли, через девять царств-государств, через леса дремучие и пески горючие и наконец, пересилив трудности великие, преодолев опасности грозные, какие лишь богатырям пересилить и одолеть можно, достигли они Пасти адовой, как раз через год после того, как дракон Сам с ноготок, Борода с локоток у Фэт-Фрумоса из рук ускользнул и дерево на бороде унес.

Дракон подждал уже у Пасти адовой со всем войском своим. А воинов у него было, что листьев в лесу, что травы в поле, — во всей округе не умещались.

Оглядел Фэт-Фрумос войско несметное и спросил Древолома, как долго он биться сможет.

Ответил Древоллом, что сможет биться, пока в крови по пояс не окажется. А тогда — погибнет.

— А ты, Камнедав?

— Я смогу биться-рубиться, пока по самые подмышки в крови не окажется. Потом погибну... А ты, Фэт-Фрумос, как долго сможешь биться?

— До тех пор, пока меня кровь с головой зальет, пока кончика меча моего достигнет да еще на локоть поднимется. Вот тогда и я погибну.

— Коли так — я первым начну, — сказал Древолом.

И сразу напал на драконовых воинов, рубить их принялся. Кровь потоком полилась. Достигла Древолому по пояс, упал он и умер.

Тогда Камнедав вперед вышел. До тех пор рубил он драконовых воинов, пока кровь до подмышек ему не поднялась. Упал он и дух испустил.

Настал черед Фэт-Фрумаса. Стал и он врага рубить. Рубил, пока кровь на локоть выше кончика его меча поднялась. Тут и ему смерть пришла...

В тот же час выступили на платке шелковом три пятна кровавых, о каких Фэт-Фрумас говорил своей матушке, когда из дома уходил.

По этому знаку поняла Кобылица, что погиб ее сын и бросилась его разыскивать.

Не простая была она Кобылица, а волшебная.

Потому и удалось ей после трудов тяжелых и поисков долгих сына разыскать.

Согнала она копытами кровь с Фэт-Фрумаса,дохнула на него и воскресила.

Открыл он глаза, увидел Кобылицу рядом и говорит:

— Боже ты мой, матушка! Долго же я спал!..

— Еще бы дольше спал, кабы не я! Ведь это я тебя оживила, сыночек мой!..

— Оживи тогда, матушка, и Камнедава. Он всегда бился со мною рядом, и ничто до сей поры не омрачило братской нашей дружбы. А потому я жить без него не смогу!

Согласилась Кобылица исполнить просьбу сына своего. Дохла на Камнедава, и ожил он.

— А Древолом, матушка? Неужто оставишь ты его лежать здесь в крови запекшейся на веки вечные бездыханным?! Воскреси и его, ибо и он, бедняга, пожертвовал жизнью в грозный час ради братской нашей дружбы!..

Вздохла кобылица и говорит:

— Сынок мой милый! Всего три было у меня души. Отдам последнюю — с чем останусь? Я ведь тогда умереть должна!..

— Матушка, — сказал Фэт-Фрумас. — Ты ведь уж совсем старенькая стала. Отдай Древолому последнюю душу, а мы похороним тебя честь по чести и всю могилку цветами усыплем!

Растрогали кобылицу сыновьи слова. Дохла она на Древолома и воскресила его, а сама наземь мертвой упала.

Фэт-Фрумас, как обещал, похоронил свою матушку честь по чести, могилку цветами усыпал.

Потом свили побратимы веревку толстую, чтобы на ней в ад спуститься, жен своих разыскать, ибо только в аду их еще не искали и только там они быть должны.

Закончили они веревку вить. Фэт-Фрумас сказал, чтобы Древолом первым в аду дорогу прокладывал, а коли не вытерпит, не сможет да самого дна добраться, чтобы веревку посильнее подергал. Тогда товарищи его наверх вытащат.

Послушался Древолом, обвязался веревкой, а Фэт-Фрумас с Камнедавом стали опускать его полегоньку. Не опустили они его еще и до полпути — задергалась веревка. Вытянули побратимы Древолома обратно и спросили, почему он дергать стал. Отвечает Древолом, что такой, дескать, ужасный свист там стоит, такой страшный вой, что весь ад ходунном ходит. Вот он и испугался.

Решил тогда Фэт-Фрумос Камнедава послать. Обвязался Камнедав веревкой, сказал, чтобы вытаскивали его, коли он дергать будет, и спускаться начал. До полдороги спустился, задергалась веревка. Вытащили и его наружу, спросили, что случилось. То же самое он рассказал, что и Древолом.

Видит Фэт-Фрумос, что товарищи его слишком уж боязливы — сам решил спускаться. А побратимам сказал, что, мол, чем сильнее будет он веревку дергать, тем ниже они его спускать должны. А когда веревка совсем дергаться перестанет, значит, он уже на дне. Тогда пусть они ждут, пока он вместе с тремя феями к ним поднимется.

Сказал так Фэт-Фрумос, веревкой обвязался, и стали побратимы его вниз спускать.

Чем сильнее он веревку дергал, тем глубже его спускали, пока он наконец адова дна не достиг.

Достигнув дна, отдохнул Фэт-Фрумос малость и отправился жен разыскивать.

Шел он, шел, все вперед да вперед и видит — большой дворец стоит. Поближе подошел и разглядел: во дворе у колодца старшая фея рубахи стирает.

Заметила она Фэт-Фрумоса, стала его обнимать-целовать, в дом приглашать.

Спросил Фэт-Фрумос у феи, сколь силен ее муж-дракон и где он теперь обретается.

Отвечала фея, что дракон в это время на охоте, а когда возвращается — палицу свою боевую за три версты от дома бросает, прямо в ворота попадает, из ворот — в дверь, а из двери палица на свой гвоздь взлетает и там повисает. И тогда обед должен быть готов — ни горячий, ни холодный, а как раз в самый раз, чтобы есть можно.

Не успела фея сказать все это, слышат они — палица в ворота влетела, из ворот — в дверь, а из двери — на свой гвоздь, да там и повисла.

Перепугалась фея:

— Что делать, братец? Погубит тебя дракон!..

— Н е т , — отвечает Фэт-Фрумос. — Не для того я воскрес, чтобы снова умереть! Да еще от рук этой собаки-дракона!

Сорвал он с гвоздя ту самую палицу боевую и швырнул ее, откуда прилетела. Только не на три версты, а на целых шесть! А сам вышел дракона встретить и укрылся под медным мостом, что к дворцовым воротам ведет.

Увидел дракон, что назад летит его палица, мощною рукою пущенная, вздохнул:

— Эх! Трудненько мне будет с гостями справиться, что собрались, должно, в моем доме!

Вернулся за палицей, на плечо ее взвалил и домой направился. Доехал до моста медного — зафыркал его конь, назад попятился. Пришпорил дракон коня и говорит:

— Ах ты, кляча глупая! Чтоб твое мясо вороны склевали, а кости волки сожрали!.. Я ведь твердо знаю: Фэт-Фрумоса, Сына Кобылицы здесь нет!..

— Поищешь хорошенько, так и здесь найдешь! — промолвил Фэт-Фрумос, выходя из-под моста. — Вот ты, собака, дракон паршивый, и попался мне в руки! Думал, небось, что не найду я тебя?.. Выходи на бой! Я тебя научу, как чужих жен красть!..

— Как будем — бороться или на саблях рубиться? — дракон спрашивает.

— Бороться. Оно справедливее, — отвечает Фэт-Фрумос.

Спешился дракон. Схватились они и боролись весь летний день, аж до самого вечера. Только к заходу солнца одолел Фэт-Фрумос дракона, бросил его на землю бездыханным. Порубил дракона и коня драконова на мелкие кусочки, в две кучи сложил. Вошел в дом, сказал фее, что избавил ее от дракона и пусть, мол, она в путь-дорогу готовится, ибо идет он других сестер от собак-драконов спасать.

Указала ему фея, куда идти надобно, чтобы поскорее среднюю сестру разыскать. Долго не мешкая, распрощался Фэт-Фрумос с феей и пошел, куда ему было сказано.

Около полудня видит он — дворец стоит, еще краше первого. Подошел поближе, а средняя сестра тоже рубахи у колодца стирает. Обрадовались они друг другу, обнялись.

Войдя в дом, спросил Фэт-Фрумос фею, сколь силен ее муж-дракон и где он теперь обретается.

Отвечает фея, что дракон, мол, в это время на охоте бывает, а когда возвращается, за шесть верст от дома палицу свою боевую кидает, в ворота попадает, из ворот палица в дверь летит, а из двери прямо на свой гвоздь и висит там. Тогда обед готов должен быть — ни горячий, ни холодный, а как раз в самый раз, чтобы есть можно.

Едва проговорила все это фея, слышат они — палица в ворота влетает, из ворот — в дверь, а из двери на свой гвоздь и повисла там.

Испугалась фея!

— Ох, Фэт-Фрумос! Коли застанет тебя здесь дракон — на тысячи кусков порубит!

— Это я его изрублю на куски, как изрубил уже брата его, собаку! — ответил Фэт-Фрумос.

Снял с гвоздя палицу драконову, вынес во двор и швырнул, откуда прилетела, на двенадцать верст. Потом вышел навстречу дракону и укрылся, под серебряным мостом, что ко дворцовым воротам ведет.

Увидел дракон, что назад летит его палица, мощной рукою пущенная, вздохнул и говорит сам себе:

— Трудненько мне будет справиться с гостями, какие, должно, в моем доме собрались!.. Вон как они мою палицу назад отправили!..

Вернулся он за палицей, поднял ее и домой направился.

Подойдя к серебряному мосту, захрапел драконов конь, на дыбы встал, попятился.

Рассердился дракон, пришпорил коня:

— Ах ты, кляча глупая! Чтоб твое мясо вороны склевали, а кости волки сожрали!.. Чего испугался? Я-то ведь знаю — нет здесь Фэт-Фрумоса, Сына Кобылицы!

— Поищешь хорошенько, так и здесь найдешь! — отозвался Фэт-Фрумос, выходя из-под моста. — Вот ты и попался мне в руки, собака, дракон паршивый! Выходи на бой! Я тебя научу, как чужих жен красть!..

— Как будем — бороться или на саблях рубиться? — дракон спрашивает.

— Бороться! Оно справедливее... — ответил Фэт-Фрумос.

Схватились они и боролись два дня подряд. В конце второго дня, когда уже солнце зашло, одолел Фэт-Фрумос дракона, на мелкие куски изрубил его, коня и все остальное и в две кучи сложил.

Потом вошел в дом, сказал фее, что избавил ее от собаки-дракона и чтобы к его возвращению была она готова в путь-дорогу, а он идет свою жену от старшего дракона спасать.

Указала ему фея, куда идти надобно, чтобы поскорее младшую сестру разыскать, и Фэт-Фрумос, долго не мешкая, распрощался с ней и пошел, куда было сказано.

Шел он, шел и к обеду видит — дворец стоит, краше тех, что ему до сих пор попадались.

Остановился он возле дворца, а его любимая женушка как раз у колодца холсты отбеливает.

Как завидели они друг друга, обнялись-расцеловались, расплакались.

Войдя в дом, спросил Фэт-Фрумос фею, сколь силен ее муж-дракон и где он теперь обретается.

Отвечает фея, что дракон, мол, в это время на охоте бывает, а когда возвращается, за двенадцать верст от дома палицу свою боевую кидает, в ворота попадает, из ворот палица в дверь летит, а из двери — на свой гвоздь и висит там. А тогда обед должен быть готов — ни горячий, ни холодный, а как раз в самый раз, чтобы есть можно.

Едва договорила фея, слышат они — палица в ворота влетает, из ворот в дверь, из двери на свой гвоздь и повисла там.

Перепугалась фея. Обняла Фэт-Фрумоса и говорит:

— Что же нам делать?.. Коли найдет тебя здесь дракон — погубит!

— Да я сам его погублю, как погубил уже обоих собак-драконов, братьев его.

Снял он палицу с гвоздя и зашвырнул, откуда прилетела, на двадцать четыре версты. Потом вышел навстречу дракону и укрылся под мостом золотым, что ко дворцовым воротам ведет.

Встревожился дракон, увидев, что назад летит его палица, столь мощною рукою пущенная, и говорит сам себе:

— Эх, трудненько мне будет с гостями справиться, что собрались, должно, в моем доме! Вон как они мою палицу назад отправили!..

Вернулся он за палицей, поднял ее и домой направился. Как подъехал к мосту золотому, взвился на дыбы его конь, захрапел, назад попытился.

Пришпорил дракон коня и говорит:

— Ах ты, кляча глупая! Чтоб твое мясо вороны склевали, а кости волки сожрали! Я-то ведь знаю, что нет здесь Фэт-Фрумоса, Сына Кобылицы!..

— Поищешь хорошенько, так и здесь найдешь! — отозвался Фэт-Фрумос, выходя из-под моста. — Вот ты и попался мне в руки, собака, дракон паршивый! Выходи на бой! Я тебя научу, как чужих жен красть!..

— Как будем — бороться или на саблях рубиться? — дракон спрашивает.

— Бороться. Оно справедливее...

Схватились они и бились три дня подряд и три ночи. На исходе третьего дня, когда солнце совсем уже закатилось, все еще продолжалась схватка. Совсем запалились борцы, задыхаться стали. Изо рта Фэт-Фрумоса зеленое пламя вырвалось, из пасти дракона — красное.

В это время над ними орел пролетал.

Увидел дракон орла, закричал:

— Орел-орленочек! Лети скорей да принеси две капли молока — холодную и горячую! Холодной на меня капнешь, а горячей на этого пса — Фэт-Фрумоса! А я тебе за это целую кучу падали скормлю!..

Тогда закричал и Фэт-Фрумос:

— Орел-орленочек! Лети скорей да принеси две капли молока — холодную и горячую! Холодной на меня капни, а горячей на этого пса — дракона! А я тебе за это шесть куч падали скормлю!..

Услышал орел эти слова, быстро-быстро полетел и тут же вернулся с двумя каплями молока. Холодной на Фэт-Фрумоса капнул, и освежел Фэт-Фрумос. А горячую каплю на дракона вылил. Еще больше запалился дракон, и тогда одолел его витязь. Выхватил меч, разрубил на мелкие кусочки дракона, коня и все остальное и сложил в две кучи.

Потом в дом вошел. Сказал жене, что избавил ее от дракона. Взял с собой жену и за ее сестрами отправился. Собрал всех троих и повел к Пасти адовой.

Веревка была спущена, и Фэт-Фрумос сильно дернул ее, чтобы дать знать побратимам своим, что пришел.

Обвязал Фэт-Фрумос веревкой фей, и побратимы их наружу вытащили.

Подошел черед Фэт-Фрумосу вылезать. А он ведь волшебник был и догадался, что побратимы погубить его хотят. Потому вместо себя привязал он к веревке большое бревно. Стали побратимы вытаскивать бревно наружу — до полпути подняли и бросили веревку. Они думали, что с этих пор навсегда от Фэт-Фрумоса избавились.

.



ПИСЬМА



К Василе Конта

Дорогой друг,

Ты не представляешь себе, как мы, твои яские друзья, радовались успеху твоего выступления в Палате.

А я, меня-то ты хорошо знаешь, чуть не обалдел от восторга, и, быть может, я глуп, но сердце у меня большое. Я взял да и устроил у себя дома сбор. Были Рэчану, Енэкеску, Мишу Никсой, и мы провозгласили тебя величайшим нашим оратором. Слава тебе, потому как ты прославляешь наши Яссы, забытые и проклятые богом и людьми!

Брат Конта, не забывай нас и черкни, когда собираешься приехать.

*С любовью,
Ион Крянгэ.*

К Михаю Еминеску
Яссы, 1877, декабрь

Брат мой Михай,

Вот вы и покинули Яссы, оставив в душе моей много тоски и горечи.

Дай бог, чтобы вам было лучше там, но я в это не верю. Валах — чертов брат, и из одной монеты делает две; впрочем, может, я кривлю душой, когда говорю о том, что наш брат породнился с чертом вместо бога.

Уж извините вы меня, но дружба, которая так тесно связала нас, не может оборваться без огорчений для того, кто остается одиноким. Послание это я пишу на терраске, где столько раз мы бывали вместе, где вы, глядя на полное чудес небо, рассказывали мне столько прекрасных вещей.

И великовозрастное дитя, каким я являюсь, вспоминая те времена, заплакало... Брат мой Михай, не забыть мне те бессонные ночи, когда мы с вами бродили по Чирику и Ароняну, просветленные, с великой любовью к нашим Яссам, всеми забытым и покинутым.

И утра, когда мы возвращались в наше гнездо, где всепрощающая Тинка кропила нас святой водой и устраивала нам такую шумную встречу, будто мы черт те что натворили.

Я написал бы вам побольше, но пришел Енэксу, и я вынужден пойти с ним в типографию.

*Со всей любовью,
Ионикэ.*

11

Брат мой Михай,

Чем тебя околдовал Бухарест, что ты вконец позабыл наши бедные Яссы?..

Небось прелести тамошней холостяцкой жизни. Однако не следует уж совсем забывать о нас.

Сегодня заходила ко мне Вероника и сказала, что и с ней ты поступил так же, как и со мной. Почему? Что плохого мы тебе сделали?

На рождество ждем тебя.

Тинка наготовила всякого добра, особенно твоих любимых голубцов, а я, чудак, начал, великий боже, сочинять комедию. Когда закончу ее, не знаю. Одно знаю: фабула списана (ты хорошо знаешь, что это-то я умею делать) из жизни предместья, где проживаю с той поры, как покинул Хумулешты.

Встречал брата Конту.

Нынешней ночью в Яссах идет снег, да такой обильный, что уже сделался санный путь.

Чирик будто стал еще красивее.

Приезжай, брат Михай, приезжай, потому что без тебя я чужой в этом мире.

Целую тебя в лоб.

Ион Крянгэ.

12

Брат мой Михай,

Благодарение богу, наконец-то получил от тебя весточку.

Тебя я уже посчитал умершим. И с тоски погружался в воспоминания о тех временах, когда вы были со мной, ты, проклятый Авгур, Конта и другие, которые красуются теперь в столице вместе со всякими мироедами, чтоб их собаки грызли, потому как они сыны Скараоского, а вам счастья и удачи.

Зачем ты заставляешь Веронику терзаться? Мы ожидали, что ты на рождество приедешь... А ты, такой-сякой, немазанный-сухой, хоть караул кричи, слова, как дым из печи, а нет чтоб приехать.

Здорово. А мы, т. е. Енэксу, Рэчану и другие охотники сладко поесть и хорошо выпить, устроили такой турецкий сабантуй с греческим вином из Амира! Потом на санях поехали за город, а там — снова за стол! И на другой день то же самое. И только на третий день мы, как воробьи, разлетелись по домам. Теперь сижу у печки с моими кошками и навожу порядок в записях.

А ты-то воюешь с политиками из «Тимпул». Что с тобой произошло, что ты стал таким воинственным?

Здоровья тебе и благополучия,

Ионикэ.

13

К Титу Майореску
Яссы, ноября 10 числа, 1870 г.

Высокопочтимый господин Майореску,

Прошу Вас выслать мой рассказ «Мош Никифор», дабы отдал я его в печать. Ясская «Жунимья» на одном своем заседании, будучи, как принято, уже сонной, — дело было за полночь, — голосовала за то, чтобы его напечатали, быть может, скорее всего для поднятия моего духа. Или бог весть... возможно, ради П. А. Кэлеску...

Вы, полагаю, посмеетесь и надо мной, и над ней — и по праву. Ведь детская это забава, накаляканная скорее старым человеком, нежели молодым. Хорошо же или плохо — одному богу известно. А я только одно и знаю, что написал длинно, потому что некогда было писать коротко. Но что написано и как написано — написано, и все тут...

Не знаю, видели ли вы *Наставление для чтения и письма*, которое я составил и напечатал по вашему совету. Что и говорить — неважная работа. Но получила она по заслугам, возвращенная уважаемым нынешним министерством, почивает в тиши на чердаке у отца Енэеску, товарища моего по несчастью. Убыток 30—40 золотых — не так уж и много! Один экземпляр все же продал г-ну Сигаре, адвокату, который выказал желание заниматься также дидактикой. Училась старая кляча скакать!

Нам же все нипочем. Обштопали его и выручили полторы монеты — и на том слава богу!

Теперь же пускай просвещается, как знает и может.

Простите, пожалуйста, мою смелость!

Ваш во всем покорный слуга,

И. Крянгэ.

14

Яссы, июня 11 числа, 1881 г.

Высокопочтимый господин Майореску,

Нет нужды описывать церковь Благовещения в Яссах, поскольку Вы, по велению божию оставивши там ценный дар, хорошо ее знаете.

Дьякону этой церкви, а именно Василе Василеску, мало было той нищеты, в которой вообще прозябает наше духовенство, и ужасной болезни, которой он мучается уже десять месяцев (так что теперь находится в больнице святого Спиридона еле живой, и своей профессией, даже при самом счастливом исходе, уже не сможет прокормиться, хоть человек он молодой, умный и самого лучшего поведения), понадобились ему еще и жена и четверо детей, которые помирают дома с голоду. К ним я покорнейше призываю Ваше сочувствие.

Кланяюсь с глубоким уважением,

И. Крянгэ.

Яссы, июня 17 числа, 1881 г.

Высокочтимый господин Майореску,

Ежели уж я осмелился прибегнуть к Вашему великодушию ради несчастного дьякона из Благовещенской церкви, то знал, к какому сердцу обращаюсь. Даже совсем немного денег достаточно для бедной и несчастной семьи, чтобы как-то перебиваться со дня на день. То, что вы даете от сердца, «взаймы господу богу», можете переслать досточтимому отцу Александру Гаврилеску, священнику Благовещенской церкви, который единственный уже 10-й месяц поддерживает семью вышеупомянутого дьякона благодаря доброте некоторых прихожан, знающих его.

Господь, украсивший Вас такими добродетелями, воздаст Вам сторицей. А в том, что касается меня, то Ваш поступок дает мне право считать себя последним учеником Лумэнэрики.

Кланяюсь Вам с глубоким уважением,

И. Крянгэ.

Яссы, декабря 16 числа, 1881 г.

Высокочтимый господин Майореску,

Прознал, что Вы соблаговолили взяться перевести несколько из написанных мною сказок.

Хочу кое-что в них исправить: некоторые пропущенные типографские ошибки и другие несуразности.

К «Свекрови с тремя невестками»:

«Ой, ты, ягода-свекровь.
 Все невесткам портишь кровь.
 Хоть ты зрей и хоть не зрей,
 С каждым днем ты все кислей.
 Зрей ты год и зрей ты два, —
 Все полынь да кислота.
 Входишь в дом, как гром,
 Сядешь в угол, как пугало,
 Постоянно ищешь свары».

К «Белому Арапу»: ¹

«В этом мире, как на грех,
 Все идет ногами вверх.
 Лишь немногим суждено
 Молоть на мельнице зерно».

Кланяюсь Вам с глубоким уважением,

И. Крянгэ.

¹ Перевод Г. Перова.

Яссы, ноября 13 числа, 1882 г.

Высокопочтимый господин Майореску,

Только что, в 6 часов утра, поставил последнюю точку под юмореской для «Ромыния Жунэ» и высылаю ее Вам с утренней почтой.

Очень большое было у меня желание повидать Вас, когда Вы приезжали на юбилей общества «Жунимя», но я себя неважно чувствовал, не был даже в состоянии закончить то, что начал писать для «Ромыния Жунэ», и буквально бесился со злости. Спаси, господи, глупого человека, когда он берется что-то делать, потому как сам не ведает, что творит, и только случай может вывести его из затруднения. Вот таков и я, и в подобном затруднении находился в канун юбилея, лицом к лицу с данным Вам обещанием кое-что послать в Вену. Именно в день юбилея меня озарило несколько мыслей, и чтоб не растерять их, я вынужден был отказаться от самого веселого празднества и от возможности увидеть Вас, самого милого учителя и самого большого доброжелателя, какой был в моей жизни.

Поэтому умоляю простить меня, и хотя я Вас не повидал, мысленно и сердцем, поверьте мне, всегда Вас вижу и скучаю.

Побывал у г-на Ламбриора, и он передал мне Ваши слова. От души благодарю Вас, господин Майореску, за внимание к моему дитяти; и если Вы полагаете, что из него может что-то получиться, прошу, не откажите ему в совете и поддержке.

Кланяюсь Вам с глубоким уважением и желаю счастья и радости.

И. Крянгэ.

Бедняга Ламбриор, не ступил ли он по следам Конты? Очень мне его жаль, бедняжку! Вот к чему приводит чрезмерный труд!

Яссы, мая 25 числа, 1883 г.

Высокопочтимый господин Майореску,

21 числа сего месяца преподавательский состав Ясс вновь оказал мне честь, избрав в число тех трех..., из которых, как вам известно, по воле министра, только один предназначен участвовать в заседаниях Генерального совета по народному образованию.

Таковы обстоятельства, и будучи уверенным, что в прошлый раз не доставил какого-либо неудовольствия тем, что мирно дремал в составе этого совета, смею просить Вас замолвить где надо словечко, дабы меня назначили членом и на сей раз. Мое стремление еще раз повидать Бухарест происходит не из амбиции или из каких-либо личных интересов.

Во-первых, хочется еще повидать моего мальчика; во-вторых, людей уважаемых и любимых, к которым тяготею; в-третьих, может быть, благодаря этому случаю, я напечатаю у Сочека немногочисленные мои писания и сам их откорректирую; и в-четвертых, по глупости своей полагаю, что тот, кто хоть сколько-нибудь знает суть какого-либо дела, ока-

жется все же более полезным, нежели тот, кто пожелает все экспериментировать по-новому, только потому, что ему так хочется, и ничто другое тут не примешано.

От всего сердца приветствую Вас и желаю счастья и радости.

И. Крянгэ.

N.B. Остальные двое избранных: Ропалэ, гречонок, но неплохой малый, и Хрисосколеу, который вместе с Сэвеску и некоторыми другими порядком меня покусывал, за исключением г-на Дарзеу, который являет собой образец порядочного человека в полном смысле слова.

19

Сентября, 19 числа, 1887 г.

Уважаемый и горячо любимый г-н Майореску,

Ежели Вы давно не смеялись над глупостью какого-нибудь дурачка, над которой только в бозе почившей «Жунимя» можно было всласть посмеяться, то извольте, прошу вас, похочите сейчас. Уж простите меня, но с тех пор, как мне посчастливилось познакомиться с Вами, много глупостей и раза два-три даже грубостей посмел я наговорить Вам, однако не со злости, а по скудоумию: сболтнул по недомыслию.

Но ведь не может быть такого, чтобы Вы не понимали моей души. Простите меня, пожалуйста, за все глупости и позвольте сказать Вам еще одну.

В хибарке, в которой проживаю я и в эту пору, то есть с 18 на 19 сентября, сплю во дворе. Ежели у Вас хватит терпения, а доброты у Вас всегда хватало, то вы, возможно, спросите — а где находится эта моя хибарка? Я Вам уважительно отвечу: в предместье Цикэу, которое называют еще и Долиной плача, по улице Верхний Цикэу, номер 4 (если, конечно, можно назвать улицей этот глухой закоулок, где грязь по колено, когда идут большие и долгие дожди, называемые здесь гнилыми, а в сушь она тонет в пыли). А хибарка, в которой проживаю уже восемнадцать лет, саманная и наверно развалилась бы давно, если б не 24 дубовых подпорки, поддерживающие ее, хотя и те гнилые. Зимой сплю в комнатенке-развалюхе, а летом на терраске, начиная с мая и кончая уже в октябре, ежели стоит хорошая погода, как теперь. Так уж я привык. Покойные Конта и Ламбриор знали мой домик. Также и Помпилиу, г-н Ника и особенно бедняга Еминеску.

Ну, вот, в минувшую пятницу, с 18 на 19, я снова по привычке лег во дворе и в каком часу уснул — не знаю, а знаю только, что уснул, с большим сожалением думая об обществе «Жунимя» и о том, во что оно превратилось теперь, о бедном Еминеску и о том, что с ним сейчас! И о Георге Скелети, Ламбриоре, Конте — где они теперь!

20

К Михаилу Когэлничану
Яссы, ноября 7 числа, 1888 года

Глубокоуважаемый государь мой Михалаке,

Перво-наперво почтительно поздравляю Вас с днем ангела, желаю, чтоб бог послал Вам здоровья — потому как лучшего не придумаешь! А

святых архангелов Михаила и Гавриила молю, чтоб многие годы были Вам подмогой, многие и хорошие годы ради славы и счастья дорогой нашей отчизны!

Во-вторых, почтительно пересылаю Вам как письмо дяди моего, отца Георге Крянгэ, так и список книг отца Старицула, и от души желаю, чтобы это письмо застало Вас здоровым и веселым!

Ваш покорный слуга,

И. Крянгэ.

N.B. Прошу извинить меня за задержку, но и я был болен моей хворью.

21

К Якобу Негруци
Яссы, февраля 22 числа, 1885 года

Уважаемый г-н Негруци,

В газете «Воинца националэ» за вчера, четверг, 21, опубликовано «министерское решение», довольно жесткое и, кажется, беспристрастное в том, что касается учебников, пока что по наукам, согласно докладу комиссии, которой было поручено изучить некоторые такие книги.

Несомненно, что вскоре подобное чистилище пройдут и учебники по словесности. Вместе с моими коллегами Рэчану, Енэеску и Григореску еще с 1868 года мы начали издавать такие книжонки, а именно: 1) «Новая метода письма и чтения для 1 класса», 2) «Детский учитель, книга для чтения в начальных классах», 3) «География Ясского уезда», 4) Карта Ясского уезда, 5) «Букварь по чтению и письму», 6) Грамматика румынского языка для II класса начальной школы, составленная г-ном Т. Майореску и переизданная мною с согласия автора.

«Новая метода» и «Детский учитель» одобрены королевским декретом еще со времени г-на Майореску. Остальные одобрены еще и министерским решением. Нам, ученикам г-на Майореску и литературного общества «Жунимя», как будто нечего опасаться, что наши труды будут с презрением выброшены из школы, ежели назначенная комиссия не будет судить по-валашски... Как говорит дождевой червь: «Спасите меня от кур, а собаки мне не страшны».

Горя нетерпением знать, какой будет судьба наших книг, почтительно просим Вас разузнать через ваших друзей, чего нам следует ждать касательно вышеуказанных книг.

Умоляем простить нашу дерзость, с которой мы докучаем Вам, и примите от нас заверения в постоянном уважении и почтении.

И. Крянгэ.

22

Яссы, мая 15 числа, 1885 года

Дорогой и многоуважаемый г-н Негруци!

Ознакомившись с содержимым Вашего письма от 12 сего месяца, я глубоко задумался.

Видимо, Вы не верите, что я болен и если еще не полностью, то почти слабоумный. Поверьте, что 30 часов занятий в неделю в началь-

ной школе плюс ходьба туда и обратно два раза в день бог весть откуда, в дождь и в грязь, в стужу и в зной, как уж случится, не слишком простое дело для человека малоподвижного и в годах. Кроме того, приближается также экзамен, связанный с выполнением немалого числа формальностей.

Несмотря на это, ободренный Вами, я еще попробую кое-что написать. Время же, когда будет готово, я назвать не могу, поскольку Вы сами прекрасно знаете, что это дело творчества, а не прилежания.

С уважением приветствую Вас, желаю здоровья и радости.

И. Крянгэ.

23

К Иону Славичу
Яссы, октября 21 числа, 1878 года

Глубокочтимый господин и брат Славич,

Благодарю от души за брошюру, которую Вы мне прислали.

Как человек из народа, я полностью разделяю Ваше мнение. Я не мог удержаться от слез при виде несчастий, которые угрожают будущему страны и ее сынов! Тем более я чувствую это, потому что еще ребенком я увидел хитрость этого племени... упрямого и разрушающего все, к чему бы ни прикасалось...

А наши государственные люди!.. У них есть глаза, но они не видят, есть уши, но не слышат, всегда они загребали жар руками несчастного крестьянина, который в довершение ко всему еще и платил штрафы. Как говорится: «Коза воздух портит, а овца позор терпит». Если бы быки из стада знали, что за подлая рука гонит их на бойню! Не ведает несчастная скотина и потому молчит и терпит. Взвалила на спину все заботы и кормит негодяев, которые над ней еще и потешаются. Коли нет пастухов, отсутствуют и собаки. Известно, что в селе, где нет собак, злодеи разгуливают без палки!..

Мы испытали горькие последствия того, что презирали творящих беззакония и не присоединились к их приближенным, дабы выдрать хлеб изо рта детей и бросить его собакам.

Полагаю, что и одной дубины хватило бы на целый воз горшков.

Уважаемый брат Славич, как раз теперь я пишу в лавке одного честного ясского торговца, Николая Иоана, хотелось бы, чтобы именно таких в Яссах было хотя бы тысяч десять — но где они?

Господин Николай Иоан сказал мне, чтобы Вы на первых порах прислали ему двести-триста брошюр и что после их продажи деньги верные; если Вы мне не доверяете, то можете справиться о порядочности г-на Николая Иоана у друзей — молдаван, живущих в Бухаресте. Адрес: Николай Иоан, Яссы, Страда Маре.

С любовью приветствую Вас и ждем на юбилее общества «Жунимя». Поклон г-ну Еминеску. Передайте, пожалуйста, г-ну Майореску и его семье заверения в моем уважении. А лично Вас благодарю тысячу раз и прошу по-прежнему наставлять мое дитя, которое, знаю, порой беспокоит Вас.

Ваш душой и сердцем

И. Крянгэ.

Н. В. В отношении скидки, решите сами, сколько можете предложить г-ну Николаю Иоану. Оплатите почтовые расходы, поступите, в конце концов, как Вам будет удобнее.

Не ведаю, занимается ли мой Крянгэ или баклуши бьет?

24

Яссы, февраля 8 числа, 1882 года

Глубокопочтимый господин Славич,

Сегодняшней почтой я отправил письмо г-ну книгопродавцу Сочеку с просьбой ответить, соблаговолит ли он принять в продажу наши учебники: «Новая метода», «Детский учитель», «Грамматика румынского языка Майореску» и т. д., предложив ему с тысячи экземпляров и выше скидку в 35 процентов и расходы по пересылке за его счет.

Мы были бы рады провести и эту операцию (хотя и без какой-либо выгоды), имея в виду большие возможности, особенно теперь, когда мы сидим над корректурой первого листа XVI издания и можно было бы без труда выпустить большее количество экземпляров.

Прошу Вас, значит, не в службу, а в дружбу, зайдите походя, дорогой г-н Славич, к Сочеку, поговорите с ним об этом деле, попросите, чтобы он ответил — да или нет, и одновременно сообщите и нам результат.

Приветствую Вас от всего сердца.

Передайте привет и поцелуй от меня г-ам Еминеску, Нике, Гастеру и т. д. и т. д.

И. Крянгэ.

Год назад я лично разговаривал с Сочekom и он оставил нам 40%. Он может оставить нам даже 35%. В общем, так или иначе все это оставляем на Ваше рассмотрение. Товар, что и говорить, плоховат, но мы видали, что он продавал и похуже, если везло...

И. К.

25

К (Виктору Захаровски)
Яссы, 8/20 октября, 1886 года

Дорогие собратья,

Из «народных сказок», написанных мною, можете перепечатать любую, какую вы сочтете подходящей для достижения преследуемой вами цели. И я весьма польщен и горд честью, которую вы мне оказали, числа и такого, как я, среди «наиболее известных наших писателей». Да будет так, как вы говорите!..

Вежливость хорошо воспитанных людей не знает границ.

Приветствую вас от всего сердца и по-братски обнимаю!

Ион Крянгэ.

Н.В. Сердечно благодарю вас за те три брошюры!

ПРИМЕЧАНИЯ

Ион Крянгэ начал свою литературную деятельность, опубликовав несколько сказок. Неустанный труд на педагогическом поприще, работа по составлению учебников для начальных школ, живой интерес к актуальным проблемам, глубокое знание устного народного творчества — в полной мере способствовали раскрытию его таланта рассказчика. По совету своего большого друга Михаила Еминеску, Крянгэ решается издать свои первые сказки, переплавив в горниле своего дарования сокровища фольклора. Он обогащает народные сказки и повести глубокой жизненной концепцией, придает им самобытную выразительность.

Тяжкая доля молдавских крестьян с ее большими бедами и малыми радостями, их обычаи и стремления к свободной, счастливой жизни, их сила сопротивления и протеста против социального и национального гнета приобретают живое художественное воплощение. Общественный и семейный уклад, естественная среда, природа рассматриваются сквозь призму необычайного, невероятного. Но фантастика, чудеса перевоплощаются в реальные образы. Богатое воображение писателя, художественный вымысел играют решающую роль. Крестьянство социально дифференцировано, оно обрисовано во взаимосвязи с другими классами и прослойками общества.

Имея в своей основе жизненную концепцию народа, концепция писателя глубоко оптимистична. Одной из ее отличительных черт является юмористическая, сатирическая направленность. Художественные образы отмечены глубоким реализмом, автор обращается к самым тонким выразительным средствам.

Большинство современников считало И. Крянгэ обыкновенным народным сказителем, отождествляло его со скромными фольклористами того времени. Его великое искусство надолго остается тайной его творческого гения, которому нравилась маска показного безразличия. Немало смеялись его «мужицким штучкам», особенно в литературном кружке «Жунимия» («Юность»), где его все же ценили за удивительный дар рассказчика. Для писателя же умные остроты или «мужицкие обороты», которыми он сам развлекался, были не чем иным, как способом подчеркнуть свою тесную связь с крестьянскими массами, верным выразителем дум которых он был всю жизнь.

Среди немногочисленных выдающихся личностей того времени только Еминеску сумел оценить по достоинству талант Крянгэ, его подлинно народную сущность. Гениальный поэт восторженно встретил его первые произведения и перепечатал их в газете «Куриерул де Яшь» («Ясский курьер»). В статье «Народный собиратель», опубликованной в той же газете (1877 г.), Еминеску раскрыл не только народные мотивы, но и великое мастерство рассказчика, которого он ставит в пример другим: «По правде говоря, в Пятре, горном районе, столь богатом легендами, пословицами, изречениями, а также историческими местами, «Собиратель» не нашел бы что собирать. Ион Крянгэ — ведь тоже горец, рожденный в краю Нямц. Читали ли когда-либо Собиратели «Данилу Препеляка», «Свекровь с тремя невестками» и др., чтобы посмотреть, какими должны быть источники, откуда можно черпать вдохновение, и как говорят и ходят жители Нямцкого края?» Несколько десятилетий спустя критик-демократ Г. Ибрэилану высказался в том же духе, отметив реалистическую основу творчества Крянгэ. В исследовании «Повести Крянгэ» (1920 г.) он заявляет:

«Сказки Крянгэ — куски жизни молдавского народа. Свекровь и ее невестки, бывалый Стан («Стан пэцитул»), дядя Ипате и др. — живые люди, крестьяне из Хумулешт, крестьяне из горного района Нямцкого уезда. И всем знакомые колдуньи: Обьедала, Опивала, Птицелов, Ширий-Верзила и Морозила — это парни — балагуры и «чертовски хитрые» и забавники, как и дьячки Могороджя, Трэсня и другие из «Воспоминаний», только эпически осмысленные. И даже коза со своими козлятами — это соседи сына Штефана Петри, вдова горемычная со своими тремя детьми. Подставьте вместо козы женское имя, вместо козлят — детей и вместо волка — жестокого крестьянина, и вы получите рассказ из жизни крестьян».

Сказки и повести Крянгэ — произведения большого художника, чье дарование способно вызывать самые глубокие чувства и эстетические эмоции: любовь к прекрасному, хорошее настроение, иронию, смех и т. д.

И хотя нива, питающая его вдохновение, не так уж обширна, способы художественного воплощения многочисленны и разнообразны, а отдельные из них встречаются только у великих классиков мировой литературы.

Писатель-гуманист, прекрасно знающий фольклор, Крянгэ поднял в своих произведениях самые острые социальные, нравственно-этические и другие проблемы, создав сложный, законченный, со своими характерными особенностями, мир. Популярность и все более глубокое проникновение в этот мир искусства растут по мере роста интеллектуального и эстетического уровня читателей.

С К А З К И

ПРЕДИСЛОВИЕ К МОИМ СКАЗКАМ...

Написано незадолго до смерти писателя, следившего за подготовкой к печати первого тома своих произведений «Повешть» («Сказки»). «Префацэ» (Предисловие) вышло как факсимиле в Яском издании, том I, 1890 г. Прекрасно зная цену своему мастерству, автор занимает несколько ироническую позицию по отношению к тем, кто, возможно, приуменьшит значение его сказок, приглашая их написать нечто подобное.

СВЕКРОВЬ С ТРЕМЯ НЕВЕСТКАМИ

Была опубликована в яском журнале «Конворбирь литераре» («Литературные беседы»), IX, 7 октября 1875 г. Сюжет сказки — семейная драма из крестьянской жизни; если говорить обобщенно — это извечный конфликт между добром и злом, а в историческом плане — это борьба между старым и новым. В очень сжатой форме автор рисует несколько эпизодов из жизни одной крестьянской семьи, где до появления самой молодой невестки патриархальные устои казались незыблемыми. Рассказчик включает живой диалог, прибегает к иронии и гротеску. Он всецело на стороне представительницы нового веяния, организатора расправы с деспотичной свекровью. Здесь высмеяны и решительно осуждены злость, скардность, безделье старухи. Из богатейшего фольклора Крянгэ черпает пословицы и поговорки, изречения, стихотворные сатирические куплеты и др. В письме Т. Майореску (1881 г.) он настаивает на сохранении стихотворной формы народной сатирической песни о свекрови. Такие его пожелания почти всегда выполнялись, так как произведения Крянгэ отличались тесной, органической связью с устной народной поэзией.

КОЗА С ТРЕМЯ КОЗЛЯТАМИ

Была опубликована в «Конворбирь литераре», IX, 9, 1 декабря 1875 г. с подзаголовком «Сказка», как и «Свекровь с тремя невестками».

В аллегорической форме здесь обрисован социальный конфликт в крестьянской среде. Диалог между козой и волком во время возвращения из леса, полный

иронических намеков, говорит о глубоком проникновении в психологию персонажей, о реалистической окраске их речи и жестов. Встречаются здесь и антирелигиозные мотивы. Расправа с коварным волком празднуется очень пышно, как полное торжество добра над злом. Автор ненавидит зло, хитрость и лицемерие. Сказка-басня напоминает новеллу из сельской жизни.

КОШЕЛЕК С ДВУМЯ ДЕНЕЖКАМИ

Под той же рубрикой «Литература популярэ» («Народная литература») сказка выходит в «Конворбирь литераре», IX, 10, 1 января 1876 г. Это пронизанная социальными мотивами обширная аллегория об отношении крестьянства к своему классовому врагу — ненасытному, продажному помещику. Преодолев своей волшебной силой все тяжкие испытания, чтобы вернуть себе похищенный кошелек с двумя денежками, петух старика жестоко мстит своему противнику, лишив его всего состояния.

Исход этой нелегкой борьбы, когда тот, кто чинит несправедливость, терпит поражение, вызывает глубокое моральное удовлетворение. Помещичья жадность и жестокость получают заслуженную кару. Юмор, едкая ирония создают в сказке атмосферу жизнерадостности и веселья. Острой насмешке подвергаются и помещичьи слуги.

ДАНИЛА ПРЕПЕЛЯК

Рассматриваемая по праву как вершина повествовательного гения И. Крянгэ, сказка выходит в «Конворбирь литераре», IX, 12, 1 марта 1876 г. Это — первое произведение из серии сказок с чертями на древние и распространенные у разных народов мотивы. Крянгэ особенно нравятся эти мотивы. Данила Препеляк, бедный крестьянин, обремененный огромной семьей, у которого всего-то и осталось, что пара волов, бьется всю жизнь, чтобы выбраться из нужды.

Человек непутевый, в основном из-за хронической нищеты и невезучести, Препеляк действует, казалось бы, против всякой логики, производит ряд крайне невыгодных для себя операций — меняет волов на подводу, подводу — на козу, козу — на гуся, смеясь над стремлением людей, не страдающих от укора совести, к наживе. Нанесенный ему материальный ущерб в какой-то мере обогащает его жизненный опыт, придает ему моральное превосходство над теми, кто хитростями и лицемерием старается воспользоваться его наивностью, простодушием. Конфликт Данилы Препеляка с чертями, присвоившими себе лес, озеро и все на свете, становится по этой причине особенно острым. Черти — существа бестолковые, подлые, воплощение сил зла и тьмы — наделены человеческими, сугубо индивидуальными чертами. Они попадают в самые нелепые ситуации и в конце концов теряют не только богатство, но и власть. Победа Данилы — это победа разума над силами зла. Тупость чертей — повод для развлечения.

СКАЗКА О ПОРОСЕНКЕ

Выходит в «Конворбирь литераре», X, 3, 1 июня 1868 г. Автор прибегает к мифическим, сказочным персонажам, рисуя их сатирически. Короля он рассматривает с позиции крестьянина. Тот говорит и рассуждает, как крестьянин, но ведет себя сурово и заносчиво с маленькими людьми. Объявляя, что выдаст дочь замуж только за того, кто сумеет построить от своего дома до дворца золотой мост, усеянный драгоценными камнями, король подвергает многих королевичей тяжелым испытаниям, которые приводят их к гибели. Фэт-Фрумос, превращенный злой ведьмой в поросенка, обладает волшебной силой, благодаря которой может исполнить желание короля. Противопоставление двух миров — реального и фантастического — определяет глубокую нравственную сущность сказки, в основе которой лежит стремление к некоему идеалу счастья. Сближение древних, архаических мотивов с

мифическими персонажами, претерпевающими различные превращения, соединение этих мотивов с реалистическими сценами и наблюдениями подчеркивают глубину поэтических раздумий. В основе идеи возмездия за причиненное зло и восстановления справедливости — мораль широких народных масс.

СКАЗКА О СТАНЕ, ЧЕЛОВЕКЕ БЫВАЛОМ

Опубликованная в «Конворбирь литере», XI, I, 1 апреля 1877 г., сказка (рассказ) подвергалась некоторой правке при перепечатке в других периодических изданиях. Это сказка с чертями. На сей раз речь идет не о прямом конфликте, а о заключенном в фаустовском духе договоре между героем и чертом, мотив, широко распространенный в фольклоре и в литературе средних веков. Из олицетворения зла черт превращается в «прирученное» существо, помогающее человеку. Кстати, черти, подобно другим животным, были неотъемлемой частью жизни сельского человека, его речи, суеверий и эпического творчества. Чертей не очень-то боялись, иной раз не прочь были воспользоваться их помощью. Как сказано в поговорке: «Дружи с чертом, пока мост перейдешь».

У Крянгэ черт, переодетый мальчиком, нанимается батраком к одному крестьянину; он глубоко человечен и свою огромную силу хранит про запас. Автор прославляет труд, сноровку, проворность — все, что составляет материальные и нравственные ценности. В аллегорической форме здесь выражено стремление крестьянства к плодотворному труду, к изобилию, к честному распределению благ между теми, кто трудится. Экспроприация помещика — изъятие у него урожая, иронические характеристики доставляют большое удовольствие Стану, излюбленному герою автора. Пословицы, поговорки, изречения, заимствованные из сокровищницы народной мудрости, этнографические подробности способствуют индивидуализации персонажей, чередованию различных эпизодических сцен, созданию истинных эстетических ценностей.

СКАЗКА ПРО БЕЛОГО АРАПА

Опубликованная в «Конворбирь литере», XI, 5, 1 августа 1877, сказка про Белого Арапа создает широкую фреску, где переплетаются мотивы большого социально-политического, этико-эстетического, философского и сатирического звучания. Здесь, возможно, больше, чем в любом другом произведении Крянгэ, встречаются мифические, сказочные мотивы и персонажи. Народный быт питает развитие действия, поляризацию персонажей, исследования жизненного опыта, отсюда берет автор сравнения, пословицы и поговорки, идиоматические выражения огромной художественной выразительности. Исходя из предпосылки, что мир, существующее общественное устройство далеки от совершенства и что очень немногих балует удача, автор ведет своего героя — крестьянского сына в облики царевича — по трудным и запутанным дорогам жизни, прославляя смелость, честь, добродетель, чувство правды и справедливости, настойчивость, упорство в достижении высокого морально-этического идеала. Большими усилиями один за другим побеждены все трудности и враждебные, зловещие силы. Земные великаны — Морозила, Обьедала, Опивала, Одноглазый, Птицелов, Ширай-Верзила, представляющие широкие олицетворения природы, социальные определения, — сопровождают Белого Арапа в его нелегком странствовании, в которое он отправился, чтобы заполучить дочь Рыжего царя.

Живой диалог, полный намеков и хитроумных тонкостей, комические ситуации, пронизанные юмором и запоминающимися репликами, переносят темные стороны мифа и фантастического в реальную действительность, с ее живой плотью и реальными человеческими чертами. В приключенческом сказе с широко эпическим сюжетом Крянгэ кристаллизует величайшие эстетические ценности, феерический мир брызжущего реализма, полный поэзии и гуманности. Этот сказочный мир предвзвешивает «Воспоминания детства», основной труд писателя.

Покоряющие картины детства и юности, возрожденные ретроспективно, являются естественным завершением этого пленительного мира, описанного в «Сказке про Белого Арапа» чарующими, ослепительными красками.

ДОЧЬ СТАРУХИ И ДОЧЬ СТАРИКА

Напечатанная в «Конворбирь литераре», XI, 6, 1 сентября 1877 г., эта сказка основывается на древнем мотиве о злой мачехе и покорной, трудолюбивой падчерице, противостоящие друг другу характеристики, контрастные действия выявляют морализирующую направленность, пропасть, разделяющую положительных и отрицательных героев. Верный этике народных масс, автор опять-таки пользуется случаем показать в живых реалистических образах победу положительных персонажей. Дочь старика — красивая и добрая, благодаря своему трудолюбию, старанию добивается счастливой жизни, в то время как дочь старухи, уродливую, ленивую, вздорную и злую, отлынивающую от заботы и стремящуюся к незаслуженному благополучию, и ее мать убивают дикие звери. Как в большинстве народных сказок, отрицательный персонаж получает заслуженную кару, добро торжествует над злом.

Гиперболизация, гротескные краски, которыми пользуется автор при описании старухи и ее избалованной дочери, усиливают наслаждение от общеизвестного факта.

ИВАН ТУРБИНКА

Опубликованная в «Конворбирь литераре», XII, I, 1 апреля 1878 г., сказка вызвала живой отклик и впоследствии перепечатывалась с некоторыми изменениями в различных периодических изданиях.

Крянгэ с большой симпатией рисует образ русского солдата, простого и щедрого, который по исполнению своего воинского долга возвращается домой.

Появление этой сказки, основанной на очень распространенных в русском и украинском фольклоре мотивах, следует связать и с русско-турецкой войной 1877—1878 гг., заставившей весь балканский мир заговорить о доблести русской армии.

Мифический колорит сказки обусловлен библейским мотивом. Встреча Ивана с богом и святым Петром, прикинувшимися словоохотливыми стариками-крестьянами, происходит в конкретно-объективной обстановке. Их беседа отражает крестьянское видение реального мира. Встреча с чертями в доме помещика, после того как бог за доброту благословил его торбу, а затем — и в аду, передана комическими, впечатляющими красками, вызывающими веселый смех. Здесь проявляются и элементы атеизма. Догмы христианской религии, вера в бога, святых и чертей, в загробную жизнь и т. и. ставятся под сомнение или же полностью отрицаются. Ад напоминает большую сельскую корчму, где играют скрипачи, а народ пьет и веселится, пользуясь всюю радостями материальной жизни. По сравнению с адом рай предстает пресным, лишенным всякого интереса. Смерть, которую встречает Иван у врат рая, — олицетворение старости и злости, а попытка Ивана спасти человечество от гибели раскрывает принципы целой философии, глубоко уходящей корнями в жизненные концепции крестьян. Возвращение к реальной действительности, с ее большими и малыми противоречиями, вызывает горькие раздумья над смыслом существования. Как гуманист Крянгэ не лишает излюбленного героя выхода из положения. Стремление к познанию, к радости жизни, желание раздвинуть границы существования и через столетия кажутся вполне приемлемыми, тем более что они зиждятся на мудрости народа, на его тяготении к абсолютному, к вечной жизни. Наряду с гиперболой, гротеском играет решающую роль диалог, и можно сказать, что сказка «Иван Турбинка» напоминает комедию этико-философского содержания, пронизанную элементами острой сатиры.

СКАЗКА

Переиздавалась без подписи в «Ынвэцэторул копиилор» («Учитель детей»). Составители К. Григореску, И. Крянгэ и В. Рэчану. Яссы (с 1874 по 1886 г.).

Сказка имеет, главным образом, дидактический, нравоучительный характер. Рецензируя учебник (6-е издание 1879 г.), Еминеску отметил, что «среди отрывков для чтения есть народные произведения определенной ценности... Сказка эта будто написана Крянгэ. Что в ней оригинально? Мотивы? Они по сути своей народные, встречаются и у других народов, у немецкого, например. Сокровище народных сказок и анекдотов по объему невелико. Сюжеты их часто сходны, прототипы — общие. Почти все наши народные сказки, которые собраны или еще не собраны, встречаются в зародыше или в законченном виде в Скандинавии и в Германии и в других местах. Ряд из них, например сказки о Пэкале, можно найти у Андерсена и в других собраниях. То, что оригинально в форме их изложения... так это местные видоизменения, близкие по духу и нашим традициям. «Учителя детей» можно рекомендовать не только детям, но и многим взрослым (Библиографические заметки в «Тимпул», 1880 г.).

СКАЗКА ПРО ЛЕНТЯЯ

Опубликованная в «Конворбирь литераре», XII, 7, 1 октября 1878 г., сказка характеризуется сугубо нравоучительными тенденциями. Жители села решили избавиться от одного лентяя, чтобы тот не стал примером для других. Когда его вели к месту наказания, случилось, что в его защиту выступила барыня. Таким образом, сказка не лишена также сатирических элементов.

ПЯТЬ ХЛЕБОВ

С подзаголовком «Анекдот». Это был из судебной практики, появилась в «Конворбирь литераре», XVI, 12, 1 января 1883 г. Автор придает ей нравоучительный характер и своим острием направляет ее против судей-взяточников, о чем говорится в заключении.

РАССКАЗЫ

Сочиняя сказки на мотивы устного народного творчества, Крянгэ ощущает необходимость черпать вдохновение в реальной исторической действительности. Его рассказы — «Мош Никифор Коцкарул», «Мош Ион Роатэ и Объединение», «Отец Духу» и «Мош Ион Роатэ и Водэ Куза» — по-новому раскрывают социальные, политические и эстетические воззрения писателя. Сатирические, социально-критические и антиклерикальные ноты становятся более значительными, звучат с большей силой.

По сравнению со «Сказками», отдельные из которых по праву считаются подлинными новеллами, «Рассказы» не являются более высокой степенью в развитии художественного мастерства Крянгэ. Разница разве в том только, что в «Сказках» преобладает фантастический мир, которому автор придает вполне реальные, «человеченные» черты, тогда как в «Рассказах» реальное почти полностью заслоняет художественный вымысел. Крянгэ отдает здесь предпочтение изображению человеческого типа в конкретной жизненной обстановке, созданию реалистической «физиологии» человеческого характера; физический и моральный портрет персонажа, психологическая интроспекция осуществляются также посредством монолога и диалога. Автор занимает объективную позицию, вторгаясь в действия и характеристики своих героев только отдельными насмешливыми, саркастическими замечаниями или комментариями. Обычно он дает своим героям возможность самим полностью проявить себя. Впрочем, рассказы Крянгэ продолжают плодотворный

процесс развития мемуарной литературы и жанра путевых заметок, физиологического очерка четкой юмористической и сатирической направленности. Они являются также реалистическим синтезом существенных жизненных явлений.

МОШ НИКИФОР КОЦКАРУЛ

Был опубликован в «Конворбирь литераре», X, 10, 1 января 1877 г., то есть в том же году, что и «Повесть о Стане, человеке бывалом» (1 апреля) и «Сказка о Белом Арапе» (1 августа). Тогда же рассказ выходит отдельной книжкой под заголовком «Мош Никифор Коцкарул». Это рассказ в стиле Ренессанса, близкий к новеллам Боккаччо, в котором высмеиваются нравы духовенства. Главный герой — Мош Никифор, крестьянин Нямцкого края, который словно сошел со страниц истории и живет на самом деле. Он принадлежит к категории обездоленных, лишенных земли крестьян и вынужден зарабатывать себе на жизнь извозом. Мош Никифор — живой хранитель народных традиций и обычаев, человек практичный, наделенный острым чувством прекрасного, остроумный, но, конечно, не без недостатков. Рассказчик передает очень смешно портрет мош Никифора и его поездку о красавицей Малкой, невесткой бакалейщика Струля, молодой, недавно вышедшей замуж женщиной, которая едет к своему мужу, торговцу из Пятры.

Сюжет заставил Майореску высказаться против опубликования рассказа. Журнистский критик не понял истинного значения этой новеллы, написанной с высоким художественным мастерством, с большим чувством меры, в которую очень удачно вплетались тонкие реплики и намеки.

Когда автор прочитал новеллу в кружке «Жуния», она всем понравилась именно своим анекдотическим сюжетом. Но ее художественную ценность постиг один лишь Еминеску, знавший по рассказам Крянгэ содержание еще до того, как она была написана. Считая дарование рассказчика окончательно определившимся, видя, что он прекрасно владеет художественными средствами, поэт посоветовал ему немедленно написать рассказ. Когда все было готово, Еминеску решил, что не нужно никакого редактирования. Автор же внес некоторые поправки, о чем свидетельствует критик Г. Кэлинеску в своей монографии об Ионе Крянгэ. Прелесть этого единственного художественного рассказа состоит в законченности образа мош Никифора как типичного представителя сельской среды, в брызжущем юморе автора. Описание дорожного происшествия связано с реально существовавшими персонажами. Дед Никифор открыто выражает свое ироническое отношение к нравам святош, к духовенству и его занятиям, носившим по сути более мирской, чем религиозный характер. Приключение с Малкой в такой же мере смешно, как и трогательно. Не впадая в пошлость, автор блестяще мотивирует поведение героев. Это произведение отвечает самому тонкому читательскому вкусу, давая в то же время простор различным суждениям о его художественной значимости.

МОШ ИОН РОАТЭ И ОБЪЕДИНЕНИЕ

Этот рассказ на историческую тему, опубликованный в «Албумул мачедо-ромын» («Македоно-румынский альбом». Бухарест, 1880 г.), описывает один из политических эпизодов накануне объединения княжеств, главным героем которого является крестьянин мош Ион Роатэ, реально существовавшая личность. Автор выражает здесь без обиняков свои политические взгляды, беспощадно разоблачая демагогию и абстрактные идеи бояр-либералов. Крестьянство скептически относится к обещаниям помещиков, к социальным преобразованиям, предусмотренным их программой в связи с объединением.

Отношения между крестьянами и боярами носят явный классовый характер, и все симпатии автора на стороне тех, кто трудится и борется за социальную справедливость.

МОШ ИОН РОАТЭ И ВОДЭ КУЗА

Впервые напечатан в Альманахе академического социально-литературного общества «Ромыния жунэ» («Молодая Румыния») в Вене в 1883 г., затем в «Конворбирь литераре», XVII, 3, 1 июня 1882 г., с подзаголовком «Анекдот». Защищая дело угнетенных и униженных, Крянгэ описывает неприятности, постигшие деда Иона по возвращении домой, издевательства, которым он подвергался со стороны крупного помещика. Критика социальных устоев здесь выражена в самой острой форме. Мош Ион говорит о вековых страданиях крестьянства, раскрывает всю свою ненависть к эксплуатации со стороны помещиков, от имени сельских труженников высказывает свое возмущение и негодование.

ОТЕЦ ДУХУ

Опубликован в «Конворбирь литераре», XV, 8, 1 ноября 1881 г., затем в яском издании, том 11, 1892 г., с изменениями и поправками. Крянгэ воссоздает литературный портрет своего бывшего преподавателя в Господарской школе Тыргу-Нямц Исаяи Теодореску, священника-просветителя, ярого противника руководящих духовных лиц.

К служителям церкви Крянгэ относился так же критически, с такой же уничтожающей иронией, как и к боярам.

Крянгэ не доходил до полного отрицания роли духовенства в обществе, признавая его просветительскую деятельность, направленную на распространение грамоты, особенно на селе. Он начисто отрицал одно только монашество. Свое двойственное отношение к религии и духовенству Крянгэ выразил в статье «Миссия священника на селе», опубликованной в 1872 г. в «Ноул куриер ромын» («Новый румынский курьер») и перепечатанной в журнале Б. П. Хаждеу «Колумна луй Траян» («Траянов столб»). Желая в какой-то мере реабилитировать себя, бывший дьякон, которому не разрешили даже учительствовать, писал в этой статье: «Чтобы священник мог с достоинством выполнять свою миссию на селе, он должен быть в первую очередь хорошим дьяконом, старательным и трудолюбивым, обладающим также тремя необходимыми для наставника качествами: быть хорошим и добросовестным учителем, врачом — бесребренником и нелицеприятным судьей». (Ион Крянгэ, «Произведения», том 11, 1970 г., стр. 91).

Священник Исаяи Теодореску завоевал симпатии Крянгэ именно своей просветительской деятельностью, он старался давать своим ученикам полезные знания, а по отношению к высшим духовным чинам выказывал жгучую ненависть, презируя их ханжество и лень, стремление к роскоши и богатству. Критика духовных лиц становится тем более острой, что она принадлежит представителю духовенства, который стремился к служению крестьянским массам, из среды которых он вышел, больше, чем к восхождению по иерархической лестнице церковников. Отдельные замечания с легким налетом юмора высказаны и в адрес Исаяи Теодореску, прозванного из-за беспокойного характера, не признававшего никакого конформизма, «Отцом Духу».

ВОСПОМИНАНИЯ ДЕТСТВА

Это основной труд художественного гения Крянгэ, который в возрасте сорока лет начинает описывать незабываемые, столь дорогие его сердцу картины детства, родных мест.

«Воспоминания» можно считать не только данью любви и уважения к родному краю; это как бы придуманный автором способ еще раз пережить счастливые минуты прошлого, чтобы забыться, отключиться от мрачной действительности, становившейся все тягостней под гнетом буржуазно-помещичьего строя. Вспомним, что этот уникальный по притягательной силе труд создавался в период, когда появляется сатирическая феерия В. Александри «Сынзана и Пепеля», когда Еминеску

сочиняет свои «Послания» — поэтические сатиры, направленные против современной ему действительности.

В водовороте тяжелой борьбы с невзгодами, с социальной несправедливостью Крянгэ все больше привлекают воспоминания детства, в которых он находит большое утешение. Пока он еще здоров и может долго думать над тем, в какую форму облечь свои мысли, чтобы сконцентрировать в широкой фреске тот огромный жизненный материал, который хранил в памяти. Он задумал написать повесть о детстве в четырех частях, тесно связанных между собой не столько хронологией изложения фактов и событий, сколько внутренней логикой их этической и эстетической сущности. «Воспоминания» — это не совсем обычное произведение чисто биографического характера, как их часто рассматривали в прошлом. Прежде всего следует подчеркнуть их художественное значение, поскольку автор рассказывает не просто свою биографию, а на высоком художественном уровне обобщает события, факты, явления той среды, в которой формируется личность ребенка, разворачивается процесс познания им мира. С особым чувством меры описана психологическая реакция главного героя — мальчика Никэ — и взрослых на все происходящее.

С нежностью и глубоко реалистично воскрешая образы детства, рассказчик не перестает удивлять и волновать читателя. Действительность описана очень точно, краски естественны; однако, когда речь идет об отрицательных явлениях, персонажах или о людях, наделенных отдельными пороками, автор несколько сгущает краски, обращается к гиперболе. Строгим отбором и обобщением явлений жизни Крянгэ как бы воссоздает историю ребенка вообще. Впечатление настолько сильное, что, читая воспоминания, каждый из нас переживает какую-то часть, отрезок своего существования. Но верно также и то, что рассказчик тесно связан с определенной конкретно-исторической действительностью, с той крестьянской средой, в которой он вырос, и его психология — это психология писателя-крестьянина, чьи герои живут не только в своей среде, но и в мире эпоса.

Родина рассказчика, село Хумулешты, находится в центре его внимания. Информация, которой он нас снабжает, имеет особое мемуарное, документальное значение. В то же время она, эта информация, получает художественное воплощение, впечатляя своими образами, своим нравственным и эстетическим смыслом. Крянгэ вводит в текст факты и данные из области истории, этнографии, народной медицины, устного народного творчества, социологии, психологии, этики, морали и т. п., он обогащает содержание описанием народных традиций, обычаев.

Среди молдавских писателей отдельные эпизоды детства описывали К. Негруци, А. Руссо и В. Александри. Такие отрывки мемуарного характера, написанные до Крянгэ, относятся в основном к биографии данных писателей. Но автор «Воспоминаний» значительно расширяет объем исследования своей среды. Он предлагает всеобъемлющую картину, обширное видение мира, и то, что «Воспоминания» кажутся незаконченным произведением, производит одновременно впечатление продолжения во времени и в пространстве счастливой поры детства и юности. Благодаря своему огромному эпическому таланту Крянгэ удается как бы синтезировать достижения мемуарной литературы и жанра путевых заметок в целостное произведение искусства, которое по-настоящему оценить можно, если только учесть специфику и особенности его составных частей, его эстетические функции, а не отдельные отрывки исторического или социально-критического содержания. Сообщения Крянгэ настолько сжаты и основательны, что они покоряют своей достоверностью. Но нельзя оставить без внимания и их эстетическую значимость, играющую исключительно важную познавательную и воспитательную роль.

Первые три главы «Воспоминаний» он пишет в сравнительно короткий срок и только четвертую не успевает подготовить к печати из-за ухудшения состояния здоровья. Видимо, ему хотелось еще раз вернуться к ней, внести кое-какие поправки и дополнения. Но в общих чертах она имеет, по всей вероятности, ту форму, которую хотел ей придать автор. Надеюсь на серьезный критический раз-

бор, Крянгэ посвящает «Воспоминания детства» Ливии Майореску, дочери жунимистского критика Титу Майореску. Следя за тем, чтобы их печатали в той форме, в какой они были написаны, и без ошибок, рассказчик поместил на первом листе первой главы, опубликованной в «Конворбирь», следующее примечание: «Если будет перепечатываться в «Тимпул» («Время»), прошу взять эту корректуру и переслать мне номера, в которых она выйдет. И. Крянгэ». (Из «Нотеле» ла «Опере» де И. Крянгэ, суб ынгрижия луй Г. Т. Кириляну. Ед. фонд. пентру лит. ши артэ, 1939, паж. 331. Из «Примечаний» к «Произведениям» И. Крянгэ под редакцией Г. Т. Кириляну. Фонд. изд. по лит. и искусству, 1939 г., стр. 331).

Часть I

Опубликована в «Конворбирь литераре», XIV, 10, 1 января 1881 г. с примечанием «Л. М. посвящается». Прочитанная в Бухаресте в тесном кругу жунимистов, она была хорошо принята за свою юмористическую направленность, о чем свидетельствует и телеграмма от 7, 11. 1881 г., посланная автору в Яссы и подписанная Гане и Майореску: «Большой успех за удовольствие и веселье при чтении «Воспоминаний», желаем еще больших удач».

В первой части «Воспоминаний» Крянгэ с любовью и нежностью вспоминает родное село, родителей и деда, первые шаги учебы в церковно-приходской школе, примитивные методы зубрежки религиозных текстов, телесные наказания, детские шалости. Подчеркнуты старания Василе научить грамоте крестьянских детей; описывается, как поймали Василе арканом и отвели в город отбывать воинскую повинность. Яркими красками изображаются народные обычаи, эпидемия холеры в 1848 г., отъезд с дедом в село Пириг, затем в Броштенскую школу, жизнь у Иринуки, у которой они квартировали, заболевание чесоткой и возвращение домой. С каждой страницей все шире раскрывается панорама детства будущего писателя.

Часть II

Выходит в «Конворбирь литераре», XV, 1, 1 апреля 1881 г. с тем же посвящением, перепечатывается в «Тимпул» от 1—9 мая 1881 г. Отдельными отрывками (24 страницы) эта часть «Воспоминаний» хранится в рукописи автора. С пленительной задумчивостью Крянгэ воссоздает картину родных мест, представляет портреты родителей, их занятия, рисует трогательный образ матери, общую атмосферу родительского дома, веселые детские игры, колядки и другие обряды. Социальные аспекты получают в этой самой важной части наиболее полное воплощение, усилились мотивы антирелигиозной критики.

Часть III

Опубликована в «Конворбирь литераре», XV, 12, 1 марта 1882 г. Возможно, находясь осенью 1881 г. в Бухаресте, писатель окончательно доработал там эту часть «Воспоминаний». Крянгэ описывает расположение Хумулешт, близлежащие населенные пункты, характеризуя обычаи и занятия жителей этих мест. Он дает портрет своего учителя Исаяи Теодореску, или «отца Духу» из Тыргул-Нямц. С большим юмором описаны методы обучения в Фолтиченском духовном училище, прозванном им «фабрикой попов». Здесь же портреты его школьных коллег, их характерные черты, кутежи на квартире у Павла Чуботару, вместе со старым народным сказителем дедом Бодрынгой и отцом Булигой, а затем у красотки-корчмарки из Резешен. Юмористические и сатирические образы становятся все острее, и такое видение мира достигает своей кульминации в описании ссоры бурсаков и приезда почты в дом Павла. Эта глава заканчивается описанием распуска училища в Фолтиценах и расставания бурсаков.

Часть IV

Напечатана впервые в Ясском издании (1892 г., том II). Фольклорист Артур Горовей сообщает, что последняя глава «Воспоминаний» была прочитана в 1888 г. автором в Яссах, в маленьком литературном кружке, перед группой молодых писателей, для которых это событие оказалось «настоящим праздником».

В четвертой части Крянгэ говорит о своей духовной связи с родными местами и о своем отчаянном сопротивлении желанию матери сделать его священником.

Расставание с родным селом Хумулешты и отъезд в Ясскую духовную семинарию Сокола вызывают у героя глубокую тоску. Наряду с этим он высказывает свою ненависть и презрение к духовной братии. Символический эпизод поездки в подводе деда Луки означает и расставание с детством и юностью, переезд в незнакомую городскую среду.

ДИДАКТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ

Печатались без подписи в школьных учебниках, которые неоднократно переиздавались в то время. Авторство Крянгэ определено на основании стилистических особенностей. К тому же известно, что Крянгэ выступал как один из составителей школьных учебников, и на его долю всегда приходилось представление литературной части.

Написанные с юмором, сочным народным языком, эти незамысловатые дидактические рассказы преследовали прежде всего нравственно-воспитательную цель. Они не лишены определенных достоинств и по праву входят в наследие писателя. Как доказано на основе скрупулезных изысканий и свидетельств современников, писательское искусство Крянгэ берет свое начало именно в этих дидактических рассказах.

ПЭКАЛЭ

Сказка появилась без подписи в «Ынвэцэторул копиилор», третье издание. Составили К. Григореску, И. Крянгэ и В. Рэчану. Яссы. 1874.

Для названной сказки характерен диалог между купцом и героем сатирических народных сказаний Пэкалэ, который, притворяясь дурачком, издевается над представителем имущих сословий.

ЛЕН И СОРОЧКА

Перепечатывался в разных изданиях «Ынвэцэторул копиилор» (с 1874 г. по 1885 г.) Своим сюжетом напоминает басню. Посредством диалога перечисляются названия, связанные с домашним ткацким ремеслом. Отмечается, что в природе все подчинено развитию и превращению, что часто видоизменяется не только форма, но и содержание предметов или явлений. К тому же внешность не всегда может определить их сути и назначения.

ИГЛА И МОЛОТ

Вместе с «Льном и Сорочкой» этот рассказ печатался в названных изданиях. Подобно «Льну», в данном рассказе главный разговор ведет «Молот», которому отведено особое место в домашнем хозяйстве, как творцу предметов первостепенной важности. При этом сопоставление предметов роскоши и предметов первой необходимости подчеркивает еще больше сосредоточение усилий людей для производства благ народного обихода. Способ преподнесения живого диалога и характеристики действующих лиц свидетельствует о проникновении писателя в сущность творчества.

ФЭТ-ФРУМОС, СЫН КОБЫЛИЦЫ

Была напечатана посмертно с авторской рукописи (незаконченной) Крянгэ в «Конворбирь литераре», Букурешть, XXXII, 3, 15 марта 1898 г. Это народная волшебная сказка о дружбе, а также о борьбе с силами зла.

ПИСЬМА

Эпистолярное наследство Крянгэ невелико по объему, но весьма важно для изучения творчества писателя, его общественно-политических и эстетических воззрений. Письма эти проливают свет на жизнь и личность писателя, на его отношение к родным и знакомым. Они являются также ярким свидетельством кровной связи Крянгэ с жизнью и чаяниями народных масс.

В книге приведены те письма, которые в первую очередь представляют литературную ценность.

Стр. 217. Василе Конта (1845—1882) — основатель первой философской системы в Румынии, пронизанной материалистическими элементами. Стоял на позициях буржуазной демократии, поддерживал капиталистический путь развития страны. В парламенте, выступая как депутат от либерально-демократической партии, Конта защищал интересы народных масс, в особенности крестьянства. Поэтому выступления его нашли столь восторженный отклик у Крянгэ и его друзей.

Стр. 217. Эта три письма Крянгэ к Еминеску (1850—1889) — яркое свидетельство той большой дружбы, которая крепкими узами связывала двух великих писателей, дружбы, основанной на родстве душ.

Осенью 1874 г., по возвращении из Германии в Яссы, Еминеску назначается директором городской библиотеки, а через год, в 1875 г., будучи школьным инспектором по Ясскому и Васлуйскому уездам, он организует для учителей педагогические конференции и высказывает свои прогрессивные мысли относительно улучшения начального обучения. В докладной, направленной им в Министерство, наряду с именем одного из лучших учителей — А. Дарзеу, директора начальной школы для мальчиков № 1 из Трей-Иерархь, — он называет и господина В. Крянгэ, учителя мужской школы № 11 из Пэкурарь, т. е. самого Иона Крянгэ («Михаил Еминеску»). Статьи и Письма. Составление и вступительная статья К. Поповича. Кишинев, 1963 г., стр. 154 — на молд. яз.). Вскоре, познакомившись поближе и убедившись в сходстве своих интересов и идеалов, Еминеску и Крянгэ становятся большими друзьями.

Еминеску искренне восхищался писательским дарованием Крянгэ и его народной основой. С большой теплотой он отзывался также о Крянгэ — составителе школьных учебников. На заседаниях литературного общества «Жуниция» их всегда можно было видеть вместе. Творец «Лучафэрула» горячо поддерживал литературные начинания Крянгэ, и после своего ухода из редакции «Куриерул де Яшь» он временно нашел приют у своего большого друга. По поводу этой искренней дружбы между двумя великими писателями Михаил Садовяну с проницательностью писал, что «в этой дружбе более счастливым оказался Еминеску, ибо впервые ему удалось услышать *Воспоминания* и *Сказки Крянгэ*; он впервые был очарован гибким и выразительным и в то же время столь простым и художественным языком великого писателя из Хумулешт».

После отъезда Еминеску из Ясс осенью 1877 г. Крянгэ глубоко переживал разлуку со своим другом. В нескольких письмах, отправленных в редакцию «Тимпул» (орган консерваторов), Крянгэ очень трогательно выражал свои чувства. Воспоминания о дружбе с поэтом и о тех счастливых днях, которые они проводили в Яссах, полны глубокого, волнующего лиризма.

Дружба Еминеску и Крянгэ, основанная на родстве душ и устремлений, оставила неизгладимый след в памяти современников, так как оба писателя представляли жизненные интересы народа, черпали свое вдохновение из жизни, истории и его духовной культуры.

Стр. 219. Титу Майореску (1840—1917) — румынский литературный критик, эстетик и политический деятель консервативного толка. Объявил себя приверженцем принципа искусства для искусства и формы без содержания в искусстве. За исключением отдельных конструктивных элементов (относительно развития литературного языка и признания некоторых талантов), его деятельность была поставлена на службу буржуазно-помещичьего строя.

Стр. 222. Основателю журнала «Дачия литерарэ» («Литературная Дакія») и бывшему лидеру буржуазно-демократического движения 1848 г. Михаилу Когэлничану (1817—1891), который хлопотал о проведении реформы, предусматривавшей передачу государству монастырских владений и наделение крестьян землей, Крянгэ посылает теплое поздравительное письмо как раз в тот момент, когда тот впал в немилость.

Стр. 223. Якоб Негруци (1873—1932) — автор мемуаров и сатирических произведений, сын К. Негруци. Наряду с Майореску — один из основателей общества «Жунимья». Долгое время занимал пост директора Ясского журнала «Конворбирь литераре». Письма Крянгэ к Т. Майореску и Я. Негруци, известным как идеологи господствующих классов, имеют в первую очередь документальное значение, но вместе с тем в них выявляется независимость рассказчика, который не стесняется открыто высказывать свое мнение по тому или иному поводу. Крянгэ зондировал почву, чтобы узнать мнение жунимистских эстетиков относительно его произведений, но всегда поступал так, как подсказывала ему собственная совесть, и никогда не шел на какие-либо в художественном отношении компромиссы. Он всегда твердо настаивал на поправках, которые вносил в свои произведения при их переиздании.

Майореску не соглашался, чтобы в «Конворбирь литераре» публиковали рассказ «Мош Никифор Коцкарул», считая его сюжет банальным. Напечатав новеллу, Крянгэ но посчитался с замечаниями критика, носившими сугубо субъективный характер: тот требовал отретушировать отдельные образы и отказаться от подробностей, напоминавших рассказ Иона Славича «Поп Танда».

В критические минуты Крянгэ обращался за помощью к Майореску и Негруци, особенно когда речь шла об утверждении Министерством школьных учебников. Писатель всегда выражал им свою признательность за помощь и моральную поддержку. Правда, такая помощь оказывалась ему от случая к случаю и не в достаточной мере. В этом отношении участь Крянгэ очень схожа с участью Еминеску, если вспомнить, как относились к ним в литературном кружке «Жунимья», и смелость и достоинство, с которыми эти двое выражали свое несогласие в идеологическом плане с остальными членами кружка.

Стр. 224. Крянгэ пишет два очень интересных письма Иону Славичу (1848—1925), прозаику из Трансильвании, другу Еминеску и Иона Луки Караджале, известному сатирику, беспощадно бичевавшему буржуазно-помещичьи нравы Румынии тех времен.

Как доброму другу, также вышедшему из низов, Хумулетский сказочник описывает страдания народных масс и тяжелое положение в стране, сообщает и некоторые подробности сугубо личного характера, затрагивает вопрос о распространении школьных учебников.

Стр. 225. Крянгэ был глубоко тронут тем, что маленькое черновицкое литературное общество, в котором состоял и священник Виктор Захаровский, намеревалось напечатать его сказки, и особенно тем, что его считали там одним «из самых знаменитых писателей». Он с радостью дает согласие на то, чтобы отдельные его произведения печатались в серии «Библиотека популярэ буковинянэ» («Буковинская народная библиотека»). Отзыв, пришедший из Буковины, был первым добрым знакомением растущей популярности великого писателя.

Из переписки мы узнаем много интересного о личности Крянгэ, об этом сложном человеке, крепко привязанном к своим родным и друзьям, общительном и отзывчивом, в чьем сердце находили глубокий отклик страдания народа и события того времени.

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
От составителя	5
В. Коробан. Ион Крянгэ. <i>Перевел С. Молдован</i>	7
Предисловие к моим сказкам	35

С К А З К И

Свекровь с тремя невестками. <i>Перевел С. Молдован</i>	37
Коза с тремя козлятами. <i>Перевел Г. Перов</i>	42
Кошелек с двумя денежками. <i>Перевела Е. Златова</i>	47
Данила Препеляк. <i>Перевел С. Молдован</i>	50
Сказка про поросенка. <i>Перевел Ю. Семенов</i>	58
Про Стана, человека бывалого. <i>Перевел Ю. Семенов</i>	68
Сказка про Белого Арапа. <i>Перевел Г. Перов</i>	81
Дочь старухи и дочь старика. <i>Перевел Ю. Семенов</i>	109
Иван Турбинка. <i>Перевел Г. Перов</i>	113
Сказка. <i>Перевел Г. Дилевский</i>	122
Сказка про лентяя. <i>Перевел Г. Перов</i>	125
Пять хлебов. <i>Перевел Г. Перов</i>	127

Р А С С К А З Ы

Мош Никифор Коцкарул. <i>Перевел Г. Перов</i>	131
Мош Ион Роатэ и Объединение. <i>Перевел Г. Перов</i>	141
Мош Ион Роатэ и Водэ Куза. <i>Перевел Г. Перов</i>	144
Отец Духу. <i>Перевел Г. Перов</i>	148

ВОСПОМИНАНИЯ ДЕТСТВА

<i>Перевела З. Шишова</i>	153
---------------------------------	-----

НРАВООУЧИТЕЛЬНЫЕ СКАЗКИ

Пэкалэ. <i>Перевел С. Молдован</i>	199
Лен и сорочка. <i>Перевел С. Молдован</i>	201
Игла и молот. <i>Перевел С. Молдован</i>	203
Как лиса медведя одурачила. <i>Перевел С. Молдован</i>	205
Фэт-Фрумос, сын Кобылицы. <i>Перевел Ю. Семенов</i>	207

П И С Ь М А

<i>Перевел С. Молдован</i>	217
Примечания. <i>Перевела Р. Перельман</i>	226

Ион
Крянгэ
Избранное

Редактор
А. ЛИСОВИЦКАЯ

Художественный редактор
И. КЫРМУ

Технические редакторы:
Г. АНДРЕЕВА
Л. МОРГУНОВА

Корректор
С. СТАРОСТЕНКО

ИБ № 489

Сдано в набор 15/X 1976 г.
Подписано к печати 24/III 1977 г.
Формат 70X108 ¹/₁₆
Бумага машинно-мелованная
Печатных листов 21,0+0,78 вкл.
Учетно-издательских листов 19,94+0,70 вкл.
Тираж 50 000 экз. Заказ № 1107.
Цена в ст. № 7 — 2 руб. 27 коп.
Цена в ст. № 5 — 1 руб. 60 коп.

*Издательство «Литература артистикэ»
Кишинев, ул. С. Лазо, 12*

*Центральная типография Госкомиздата
МССР, Кишинев, ул. Флорилор, 1.*